93783

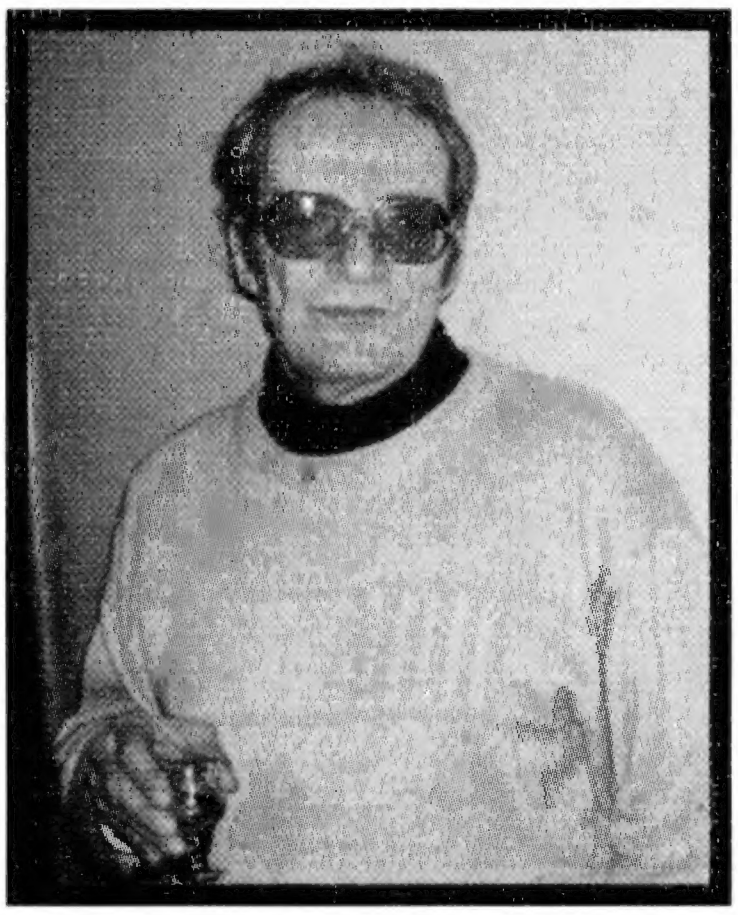
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2003

РОМАН ПАТРИКА МОДИАНО “МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО” / СТИХИ ЭНДРЮ МОУШЕНА И ЛИЗЫ МАЙЕР / РАССКАЗЫ СИМОНЫ ВИНЧИ И ЮХИ СЕППЯЛЯ / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ДЮЛЫ ИЙЕША “ГУННЫ В ПАРИЖЕ” / ДВА ЭССЕ ДЖОНА АПДАЙКА / ОТРЫВКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ НАБОКОВЫМ / ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ И ГЕННАДИЙ КИСЕЛЕВ В РУБРИКЕ “ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА”

Основан в 1891 году



Алексей Матвеевич Зверев
21.10.1939—14.06.2003

In memoriam

Леша, ты, скорее всего, меня не слышишь, и это плохо, неправильно это. Ведь говорили мы, соглашались-спорили, но слышали друг друга на протяжении, страшно сказать, сорока пяти лет. Сначала на Моховой, где даже в отдаленных проектах не было пещерного блеска супермаркетов, но зато сохранялся дух легендарного ИФЛИ. Потом в Институте мировой литературы на Воровского. Потом, и все это без перерыва, без перерыва, в редакционных комнатах "Вопросов литературы" на Пушечной. Потом... да где только не было: от Еревана до Сан-Франциско, и снова в Москве, снова в университете, в одном, другом ли, в редакциях, за круглыми, а то и совсем не круглыми, и уж точно бутылками не с одним лишь нарзаном уставленными столами.

И вот теперь все так нелепо, едва ли не в одночасье оборвалось.

Леша, ты, скорее всего, меня не слышишь, и это, может быть, к лучшему, потому что слова, которые я собираюсь сказать тебе, человеку интеллигентному, а стало быть, ироническому в том числе, и даже прежде всего по отношению к себе, — эти слова тебе не понравились бы. "О чем ты, старичок?" — недовольно отмахнулся бы ты.

И все-таки я их скажу.

С твоим уходом стало пусто вокруг.

Съежилась, обеднела профессиональная среда. Кто еще с такой же серьезностью, но без тени важности, с таким же безошибочным вкусом писал и еще наверняка написал бы об американской литературе, во всем ее объеме? Да и не только американской. Меня всегда поражало, с какой уверенной свободой, но без тени верхоглядства судил ты о творческих эпохах и творческих судьбах, далековатых, в общем, от узкой специальности и объединенных только тем, что все они принадлежат всемирной литературе. Недаром последней твоей книгой, то есть последней, при жизни свет увидевшей, стала биография Владимира Набокова, этого двукрылого, русско-американского автора. А самой последней, законченной, ту, что другие скоро прочитают, а ты уж, к несчастью, в руках не подержишь, — книга о русском литературном Париже. А самой-самой последней, еще (уже) не законченной, — книга о Толстом.

Оскудело театральное пространство. Вот странное и чудное явление — на пятидесятом или около того году жизни родился театральный критик. Родился, стремительно созрел и стал одним из самых авторитетных и проницательных ценителей сценического искусства. Если собрать под одну обложку — а сделать это надо — статьи и рецензии Алексея Зверева, написанные за последние годы, получится выразительная картина нынешней театральной жизни.

Поубавился накал света в университетских аудиториях. Вот еще один славный парадокс: в одни годы с театральным критиком, то есть по привычным меркам очень поздно, родился первоклассный педагог-профессор. Леша, я не слышал твоих лекций, но точно знаю: от двадцатилетних тебя отделяла дистанция знаний, опыта, чего угодно, но только не гелертерская назидательность. Среди студентов ты неизменно оставался *своим*. Будучи причастен университетскому преподаванию, я умею измерить цену такой близости.

Но зачем вся эта градация? Жизнь едина, культура едина.

Слишком много стало рекламы, в том числе и саморекламы, слишком много суеты, дурновкусия, амикошонства взамен благородной сдержанности, экстремы взамен мудрой терпимости. Леша, я не понаслышке знаю, как больно тебя все это задевало. И я отчетливо видел, как, человек, не склонный по природе к баррикадным боям, ты всей сутью работы, какие бы формы она ни принимала, противостоял этому напору пошлости. Правда, тут уж прошедшее время неуместно — остались книги и остались ученики.

Остались. И все равно — тебя будет не хватать. Очень не хватать.

Николай Анастасьев

[7]

2003

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Патрик Модиано. *Маленькое Чудо.* Роман.
Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой.
"Я играю с огнем..." Из интервью П. Модиано

60 Эндрю Моушен. *Стихи.* Перевод с английского и вступление М. Калинина

65 Симона Винчи. *Рассказы.* Перевод с итальянского Наталии Белкиной

79 Юха Сеппяля. *На черном острове.* Рассказ.
Перевод с финского Ольги Андриановой

89 Лиза Майер. *Стихи из книги "По крышам опять барабанит".* Перевод с немецкого Д. Белякова и Д. Кузьмина

91 Дюла Ийеш. *Гунны в Париже.* Главы из романа.
Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

Статьи, эссе

186 Джон Апдайк. *Памяти Р. К. Нарайана.* Два эссе о творчестве Нарайана. Перевод с английского и вступление Н. Демуровой

195 А. Борисенко, Н. Демурова. *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы*

208 Владимир Набоков. *"Знаете, что такое быть знаменитым писателем?.."* Из интервью 1950—1970-х годов. Составление и предисловие Н. Г. Мельникова.
Переводы с английского, французского и итальянского

Трибуна переводчика

220 Геннадий Киселев. *Ландольфи.* Слово.
Томмазо Ландольфи. *Бекас.* Новелла. Перевод с итальянского Г. Киселева

Наши интервью

228 *Полный словарь английской поэзии.* Наташа Спендер: "Стивен был потрясающе независтливым человеком". Беседует Глеб Шульпяков

Среди книг

235 Ирина Стаф. *Память культуры.* Мария Табак. *Один путь к свободе.* Дарья Бондарчук. *Спасительная близость*

Курьер "ИЛ"

250

Авторы номера

253

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

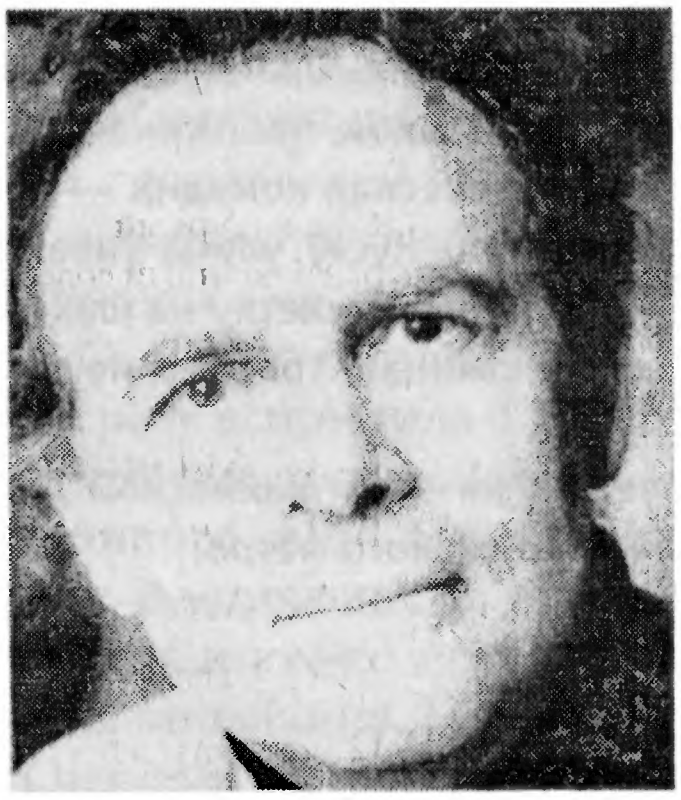
Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Патрик Модиано



Маленькое Чудо

Роман

Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой

Патрик Модиано себе верен: его проза среди переменчивого литературного потока остается, пользуясь выражением одного из персонажей "Маленького Чуда", устойчивым островком. Зыбкий и туманный пейзаж здесь неизменен, время действия почти всегда размыто, герой блуждает в поисках прошлого, которое ускользает, как галлюцинация, как фантом. Эту прозу ни с какой другой не спутаешь, ее можно было бы даже определить как особый "жанр Модиано". Законы жанра известны, а если они нарушаются, то это тоже значимо.

Слава к Модиано пришла в двадцать три года. Первая же книга "Площадь Звезды" (1968) — название подразумевает не только знаменитую парижскую площадь, но и место на груди, где евреям в период оккупации надлежало носить желтую звезду, — открыла, вместе с чередой премий, сыпавшихся на писателя всю жизнь, большой цикл будущих романов. Цикл этот выстраивался стихийно, не по задуманному плану, а по логике авторских ассоциаций, в чем-то, однако, очень последовательной. Модиано бьется не столько над новыми принципами письма, сколько над загадками общей судьбы своих современников, теряющих среди исторических встрясок нить собственной истории.

Персонажи Модиано — всё те же европейцы, которые, как написал в статье "Конец романа" О. Мандельштам, "выброшены из своих биографий, как шары из биллиардных луз". Они ищут свои биографии, словно Диоген, днем с огнем, бродят по кварталам, где когда-то давно, порой еще до их рождения, произошло нечто, определившее их дальнейшую жизнь. Почти все нити тянутся к войне, к периоду оккупации, как в "Маленьком Чуде", где это обозначено лишь с помощью

© Éditions Gallimard, 2001
© И. Кузнецова. Перевод, вступление, 2003

косвенных признаков, или к послевоенным годам. Но улицы изменились, следов нет, прояснить тайну уже невозможно.

Некоторые персонажи кочуют из книги в книгу, и каждый новый роман Модиано неизбежно воспринимается в контексте предыдущих. Французский критик Норбер Кзарни осторожно сравнивает Модиано с Бальзаком, напоминая, однако, о головокружительной разнице эпох: "Сегодня человеческая комедия — это игра теней в сероватом городе, где каждый адрес — улица Кусту, улица Кавалерийских казарм, Порт д'Орлеан — похож на черную или белую клетку на шахматной доске. В конце партии победителей нет — доска напоминает трясину, неумолимо затягивающую игроков".

Чтобы читателю легче было сориентироваться на этой шахматной доске и оценить топологию романа, ниже помещен план парижского метро.

ОДНАЖДЫ, когда меня уже лет двенадцать никто не называл Маленьким Чудом, я оказалась на станции метро "Шатле" в час пик. Я ехала в толпе по движущейся дорожке через нескончаемый коридор. На женщине впереди меня было желтое пальто. Цвет привлек мое внимание, она стояла ко мне спиной. Потом она свернула в коридор с указателем "К поездам до станции "Шато-де-Венсен". Дальше все опять стояли, притиснутые друг к другу на лестнице, дожидаясь, когда откроются дверцы[1]. Она оказалась рядом со мной. И тут я увидела ее лицо. Сходство с моей матерью поразило меня, и я решила, что это она.

Я сразу вспомнила фотографию, одну из немногих фотографий матери, что у меня сохранились. Лицо словно выхвачено из тьмы лучом направленного света. Мне всегда было не по себе, когда я смотрела на этот снимок. В моих снах он неизменно оказывался снимком из полицейской картотеки и кто-то показывал мне его — комиссар или служитель морга — для опознания. Но я молчала. Я ничего не знала о ней.

Она села на скамейку на платформе, в стороне от других пассажиров, теснившихся у края в ожидании поезда. На скамейке рядом с ней места не нашлось, и я встала чуть поодаль, прислонившись к торговому автомату. Пальто ее явно было когда-то элегантным и, благодаря желтому цвету, броским и нестандартным. Но цвет утратил яркость и посерел. Она словно не замечала ничего вокруг, и я даже подумала, не просидит ли она на этой скамейке до последнего поезда. Тот же профиль, что у моей матери, тот же своеобразный нос, с чуть вздернутым кончиком. Те же светлые глаза. Такой же высокий лоб. Волосы были короче. Нет, она мало изменилась. Цвет волос не такой светлый, но, в конце концов, я ведь не знала, натуральная ли моя мать блондинка. Горькая складка у рта. Я не сомневалась, что это она.

Она пропустила один поезд. Перрон опустел на несколько минут. Я села на скамейку рядом с ней. Потом все снова заполнилось плотной толпой. Можно было завязать разговор. Я не находила слов, и вокруг было слишком много народу.

Казалось, она вот-вот заснет сидя, но когда шум приближавшегося поезда был еще лишь далеким дрожанием, она поднялась. Я вошла в вагон вслед за ней. Нас разделяла компания мужчин, которые громко разговаривали между собой. Двери закрылись, и тут я вспомнила, что мне нужно было ехать в другую сторону. На следующей станции поток выходящих пассажиров вынес меня на платформу, я снова вошла в вагон и встала поближе к ней.

В резком освещении она выглядела старше, чем на перроне. Левый висок и часть щеки пересекал шрам. Сколько ей могло быть лет? Около пятидесяти? А сколько на фотографиях? Двадцать пять? Глаза те же, что в двадцать пять, светлые, и такой же взгляд: удивленный или чуть встревоженный и вдруг неожиданно жесткий. Случайно этот взгляд упал на меня, но она меня не увидела. Она вынула из кармана пудреницу, открыла, поднесла зеркальце к лицу и провела мизинцем по краешку века, как будто ей что-то попало в глаз. Поезд набирал скорость, нас качнуло, я ухватилась за металлический поручень, но она равновесия не потеряла. И продолжала как ни в чем не бывало смотреться в зеркальце. На станции "Бастилия" все кое-как втиснулись, двери с трудом закрылись. Она успе-

1. В пятидесятых годах и позднее в парижском метро на некоторых станциях существовали дверцы, сдерживавшие поток пассажиров при выходе на платформу. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ла убрать пудреницу до того, как люди набились в вагон. На какой станции ей сходить? Ехать ли мне за ней до конца? Надо ли это делать? Предстояло привыкнуть к мысли, что она живет со мной в одном городе. Мне сказали, что она умерла, давно, в Марокко, и я никогда не пыталась ничего больше узнать. "Она умерла в Марокко" — фраза из детства, смысл таких фраз не вполне понимаешь. Только звучание их остается в памяти, как некоторые слова песенок, вызывавшие у меня смутный страх. "Когда-то жил да был кораблик"... "Она умерла в Марокко".

В моей метрике записан год ее рождения — 1917, а во времена фотографий она говорила, что ей двадцать пять. Она, наверно, уже тогда убавляла себе возраст и пускалась на разные махинации с документами, чтобы оставаться молодой. Она подняла воротник пальто, как будто озябла, хотя вагон был переполнен и все стояли вплотную друг к другу. Я заметила, что отделка по краям воротника совершенно вытерта. Сколько лет она уже носит это пальто? Со времен фотографий? Тогда неудивительно, что оно выцвело. Мы доедем до конечной, а там, наверно, пересядем на автобус, который повезет нас на какую-нибудь далекую окраину. Тут я с ней и заговорю. На "Лионском вокзале" много народу вышло. Ее взгляд снова упал на меня, но это был взгляд, каким люди машинально смотрят на соседей по вагону. "Помните, вы меня звали Маленькое Чудо? Вы тоже в те годы жили под чужой фамилией. И даже под чужим именем — Ольга".

Теперь мы сидели напротив друг друга у самых дверей. "Я разыскивала вас по телефонному справочнику и даже звонила нескольким людям, носившим вашу настоящую фамилию, но они никогда о вас не слыхали. Я решила, что надо съездить в Марокко. Это единственный способ проверить, действительно ли вы умерли".

После станции "Насьон" в вагоне стало совсем свободно, но она по-прежнему сидела напротив меня сжав руки, и в рукавах сероватого пальто виднелись ее запястья. Голые руки, без единого кольца, без браслетов, обветренные. На фотографиях она в браслетах и кольцах — массивных, как тогда было модно. А теперь — ничего. Она закрыла глаза. Еще три станции, и конечная, "Шато-де-Венсен". Я встану очень тихо, оставив ее спать в вагоне. И сяду на другой поезд, который идет обратно, в сторону "Пон-де-Нёйи", как и поступила бы, если б не заметила это желтое пальто в переходе.

Состав медленно затормозил на станции "Беро". Она открыла глаза, в которых снова появился жесткий блеск. Посмотрела на перрон и поднялась. Я снова шла за ней по длинному коридору, но сейчас мы были одни. Я заметила, что на ней трикотажные гетры, похожие на длинные носки, — они назывались "панчос", — и это подчеркивало ее балетную походку.

Широкий проспект с большими домами на границе Венсена и Сен-Манде. Темнело. Она перешла на другую сторону и вошла в телефонную будку. Я постояла, переждав дважды или трижды красный свет, и тоже перешла. В будке она долго искала в карманах монетку или жетон. Я сделала вид, что рассматриваю витрину аптеки, где висел плакат, так пугавший меня в детстве: дьявол изрыгает из пасти огонь. Я оглянулась. Она набирала номер, медленно, будто впервые. Потом ждала, двумя руками прижав трубку к уху. Но номер не отвечал. Она повесила трубку на рычаг, вытащила из кармана пальто клочок бумаги и принялась снова крутить диск, не отрывая глаз от бумажки. И я вдруг подумала, а есть ли у нее вообще где-нибудь дом.

На сей раз ей кто-то ответил. Сквозь стекло было видно, как она шевелит губами. Она по-прежнему держала трубку обеими руками и время от времени легонько кивала, как бы стараясь сосредоточиться. Судя по движению губ, она говорила все быстрее и быстрее, но потом ее горячность понемногу улеглась. Кому, интересно, она звонила? Среди немногих оставшихся от нее вещей, хранившихся в железной коробке из-под печенья, были ежедневник и записная книжка, они относились к поре фотографий, когда меня звали Маленькое Чудо. Много лет у меня не возникало мысли заглянуть в ежедневник и книжку, но с недавних пор я по вечерам их листала. Фамилии. Номера телефонов. Я знала, что набирать их нет смысла. Да мне и не хотелось.

Она продолжала говорить по телефону. Она была так поглощена разговором, что я могла бы подойти совсем близко и она не заметила бы моего присутствия. Или сделать вид, будто я жду очереди позвонить, и попытаться разобрать сквозь стекло какие-то слова, которые помогли бы мне понять, как живет теперь эта женщина в пончос и желтом пальто. Но ничего не было слышно. Возможно, она звонила кому-то, чей номер записан в той книжке, последнему, кого не потеряла из виду и кто остался жив. Случается, что какой-нибудь человек остается при вас всю жизнь и вам не удается его оттолкнуть. Он знал вас в благополучные времена, но не отстает от вас и в бедности и все так же восхищается вами, единственный, кто вам еще доверяет, или, как говорится, слепо в вас верит. Неудачник, как и вы. Старый верный пес. Вечный козел отпущения. Я пыталась представить себе, как выглядит тот мужчина — или та женщина — на другом конце провода.

Она вышла из будки. Скользнула по мне равнодушным взглядом, таким же, как в метро. Я открыла стеклянную дверь. Не опуская жетона, набрала наугад, просто так, какой-то номер, дожидаясь, пока она немного отойдет. Я держала трубку, там даже не было гудка. Тишина. Я никак не могла решиться нажать на рычаг.

Она вошла в кафе рядом с аптекой. Я колебалась, входить или не входить, но решила, что она все равно меня не заметит. Кто мы такие? Женщина неопределенного возраста и молодая девушка, затерянные в толпе пассажиров метро. Никто не сумел бы выделить нас из этой толпы. А когда мы вышли на улицу, то оказались неотличимы от тысяч и тысяч людей, которые вечерами возвращаются домой в пригороды.

Она сидела за столиком, в глубине. Толстощекий блондин-официант принес ей кир[1]. Надо проверить, может, она приходит сюда каждый вечер, в одно и то же время. Я дала себе слово запомнить название кафе. "Кальсия", авеню де Пари, 96. Название было написано на дверном стекле — полукругом, белыми буквами. В метро на обратном пути я твердила про себя название и адрес, чтобы записать, как только приду домой. Люди не умирают в Марокко. Они продолжают жить тайной жизнью после жизни. Пьют по вечерам кир в кафе "Кальсия". Завсегдатаи в конце концов привыкли к этой женщине в желтом пальто. Никто не задавал ей вопросов.

Я села за другой столик, недалеко от нее. И тоже заказала кир, громко, чтобы она слышала, надеясь, что это послужит знаком к сближению. Но она не прореагировала. Взгляд у нее был жесткий и задумчивый одновременно, она чуть склонила голову набок и сидела скрестив руки на столе, в той же позе, что и на картине. Что сталось с этой кар-

1. Аперитив из белого вина и черносмородинного ликера.

тиной? Она следовала за мной повсюду все детство. Висела у меня в комнате в Фоссомброн-ла-Форе. Мне сказали: "Это портрет твоей матери". Человек, которого звали Толя Сунгуров, написал ее в Париже. Подпись и слово "Париж" стояли внизу, с левой стороны. Руки у нее там сложены как сейчас, с той лишь разницей, что на одном из запястий был тяжелый браслет-цепочка с крупными звеньями. Хороший предлог, чтобы завязать разговор. "Вы похожи на одну женщину, я видела на днях ее портрет на блошином рынке, возле Порт-де-Клиньянкур. Художника звали Толя Сунгуров". Но я не находила в себе сил встать и подойти к ней. Предположим даже, что я сумею произнести без запинки: "Художника звали Толя Сунгуров, а вас — Ольга, но это не настоящее ваше имя. Настоящее то, которое записано у меня в метрике, — Сюзанна". Да, предположим, фраза произнесена, что дальше? Она сделает вид, будто не понимает, о чем речь, или слова вдруг хлынут из нее сумбурно и беспорядочно, потому что она давно ни с кем не говорила. Но она станет лгать, запутывать следы, как поступала во времена картины и фотографий, когда скрывала свой возраст и жила под чужим именем. И под чужой фамилией. И даже с чужим дворянским титулом. Она всячески давала понять, что родилась в семье ирландских аристократов. Полагаю, какой-нибудь ирландец встретился ей на жизненном пути, иначе ей бы не пришло такое в голову. Ирландец. Возможно, мой отец, которого наверняка очень трудно отыскать и которого она, скорее всего, забыла. Она, скорее всего, забыла и все остальное и очень удивится, если я про это заговорю. То было с другим человеком, не с ней. Обман с годами рассеялся. Но тогда — я знала наверняка — она в этот обман верила.

Толстощекий блондин принес ей второй кир. У стойки теперь собралось много народу. Все столики были заняты. Мы и не расслышали бы друг друга в таком шуме. Мне казалось, будто я все еще сижу в вагоне метро. Или даже в зале ожидания на вокзале, и не знаю, какого поезда жду. Но для нее поезда уже не будет. Она оттягивала момент возвращения домой. Видно, жила где-то неподалеку. Интересно где. Мне не хотелось с ней говорить, она не вызывала во мне никаких особых чувств. Обстоятельства сложились так, что между нами не было, что называется, человеческой близости. Единственное, что меня занимало, — где она осела через двенадцать лет после своей смерти в Марокко.

Это оказалась маленькая улочка вблизи замка или крепости. Я плохо понимаю разницу. По сторонам тянулись низкие домики, гаражи и даже конюшни. Она, впрочем, и называлась улица Кавалерийских казарм. В середине, справа, чернела громада большого кирпичного здания. Было темно, когда мы свернули на эту улицу. Тогда я еще отставала от желтого пальто на несколько метров, но понемногу стала сокращать расстояние. Я знала: если я даже пойду с ней рядом, она меня не заметит. Я потом возвращалась на эту улицу днем. Оказалось, если обойти кирпичное здание, то позади него ничего нет, пустота. Небо было тогда чистое. А в конце улицы лежал пустырь, за которым раскинулся широкий луг. Надпись гласила: "Поле для маневров". Дальше начинался Венсенский лес. Но в темноте эта улица мало чем отличалась от улиц любого другого пригорода: Аньера, Исси-ле-Мулино, Левалуа... Она шла медленно, походкой бывшей балерины. Это, наверно, было нелегко в панчос.

Кирпичное здание своей черной массой придавило к земле все остальные постройки. Хотелось спросить, зачем и почему его здесь пост-

роили. На первом этаже — продуктовый магазин, который уже закрывался. Неоновый свет погасили, горела только лампа возле кассы. Я видела через стекло, как она взяла с полки банку консервов, потом еще одну. И черный пакетик. Кофе? Цикорий? Она прижимала банки и пакетик к себе, но, подходя к кассе, сделала неловкое движение. Консервы и черный пакетик посыпались на пол. Кассир их поднял. Он ей улыбался. Их губы шевелились, и мне было любопытно, как он ее называет. Настоящей девичьей фамилией? Она вышла, по-прежнему прижимая к пальто консервы и пакет, словно новорожденного ребенка. Я чуть не предложила ей помочь, но мне вдруг показалось, что эта улица Кавалерийских казарм страшно далеко от Парижа, что она затеряна где-то в провинции, в гарнизонном городке. Скоро все закроется, и я опоздаю на метро.

Она вошла в ворота. Когда я еще только увидела издали эту мрачную черную глыбу, у меня возникло предчувствие, что она живет именно там. Она шла через двор, в глубине которого высилось несколько корпусов, точно таких же, как тот, что был виден с улицы. Она шла все медленнее, будто боялась опять уронить продукты. Со спины казалось, что она несет тяжелую ношу, которая ей не по силам, и сама в любую минуту может упасть.

Она вошла в один из корпусов в самой глубине, слева. Над каждой дверью висели таблички: "Подъезд A", "Подъезд B", "Подъезд C", "Подъезд D". На ее двери было написано "Подъезд A". Я некоторое время стояла и ждала, когда засветится какое-нибудь окно. Но я ждала напрасно. Я раздумывала, есть ли там лифт. И представляла себе, как она поднимается по лестнице, прижимая к пальто консервы. Эта картина не оставляла меня даже в метро на обратном пути.

Я проделывала тот же путь в следующие вечера. Ровно в тот же час, когда я встретила ее впервые, я ждала на скамейке в метро "Шатле". Высматривала желтое пальто. Выход к поездам для новых пассажиров открывается лишь после того, как уезжает очередной состав. Толпа выплескивается на перрон. Приходит следующий поезд, и все набиваются в вагоны. Перрон пустеет, потом снова заполняется людьми, внимание притупляется. Все сливается, и уже ничего толком не различить в этом мелькании, даже желтое пальто. Мощная волна подхватывает вас и вносит в вагон. Помню, тогда на всех станциях была одна и та же реклама. Супружеская пара с тремя белокурыми детьми сидят за столом, вечером, в горном шале. Их лица освещены лампой. За окном идет снег. Понятно, что это Рождество. А наверху написано: "ПЮПЬЕ", СЕМЕЙНЫЙ ШОКОЛАД.

В первую неделю я ездила в Венсен всего один раз. Во вторую — два раза. Потом еще два раза. В кафе около семи всегда слишком людно, чтобы меня могли заметить. На второй раз я отважилась спросить у щекастого белобрысого официанта, который подавал напитки, не придет ли сегодня дама в желтом пальто. Он сдвинул брови, явно не понимая, о ком речь. Его позвали с соседнего столика. По-моему, он вообще не расслышал, что я спросила. Но он бы все равно не успел мне ответить. Для него это тоже был час пик. Может, она вовсе и не была здесь постоянной посетительницей. И не жила в этом районе. Человек, которому она звонила из автомата, жил в кирпичном доме, и в тот вечер она приехала его навестить. Купила для него консервы. А потом снова села на метро и поехала назад, как и я, и вернулась туда, где живет, по адресу, которого я

никогда не узнаю. Единственная зацепка для меня — это подъезд А. Но придется стучать во все двери на каждой площадке и спрашивать у тех, кто пожелает открыть, не знают ли они женщину лет пятидесяти в желтом пальто, со шрамом на лице. Она приходила сюда вечером на прошлой неделе, купив внизу в магазине две банки консервов и пачку кофе. Что они могут сказать? Мне все это приснилось.

Но в конце концов она все-таки появилась, на пятую неделю. Выходя из метро, я увидела ее в автомате. На ней было желтое пальто. Я подумала, что она, наверно, тоже только что вышла из метро. Значит, в ее жизни есть некий распорядок и она куда-то ездит в одни и те же часы... Мне трудно было вообразить ее где-то ежедневно работающей, как все, кто в это время возвращается домой на метро. Станция "Шатле". Это слишком неопределенно, чтобы строить какие-то предположения. Десятки, сотни тысяч людей стекаются около шести вечера на станцию "Шатле", чтобы сделать пересадку и разъехаться в разные стороны. Их следы пересекаются, запутываются и теряются окончательно. В этом потоке есть устойчивые островки. Напрасно я просто сидела и ждала на перронной скамейке. Надо было подолгу бродить возле касс, газетных киосков, в длинном коридоре с движущейся дорожкой и в других переходах. Люди проводят там целые дни, но замечаешь их не сразу, а лишь через какое-то время, когда освоишься. Клошары. Бродячие музыканты. Карманники. Пропащие, которые уже никогда больше не поднимутся на поверхность. Может быть, и она тоже не покидает метро "Шатле" весь день. Она стояла в телефонной будке, а я наблюдала за ней. Как и в прошлый раз, она дозвонилась не сразу. И снова набрала номер. Она что-то говорила, но это длилось не так долго, как в первый вечер. Потом резко повесила трубку. Вышла из кабины. Не завернула в кафе. Она шла по авеню де Пари все той же балетной походкой. Мы приближались к метро "Шато-де-Венсен". Почему же она не ездила сразу до этой станции, до конечной? Из-за телефона-автомата и кафе, где любила выпить кир перед возвращением домой? А в другие вечера, когда я была здесь и не видела ее? Ну конечно же, она выходила в эти вечера на "Шато-де-Венсен". Нужно с ней заговорить, иначе она в конце концов заметит, что за ней кто-то следит. Я подыскивала фразу как можно короче. Я скажу: "Вы называли меня Маленькое Чудо. Вы не можете не помнить..." Мы были уже совсем близко от кирпичного дома, и, как в первый вечер, я не нашла в себе сил к ней подойти. Наоборот, я даже отстала, чувствуя какую-то свинцовую тяжесть в ногах. И одновременно облегчение — по мере того как она удалялась. На этот раз она не пошла в магазин покупать консервы. Она пересекла двор, а я осталась за оградой. Двор был освещен одной-единственной лампочкой над дверью подъезда А. В этом освещении пальто снова становилось желтым. Она слегка сутулилась и шла к подъезду А еле-еле, почти плелась. Мне вспомнилось название книжки, которую я читала, когда меня звали Маленькое Чудо: "Старая цирковая лошадь".

Когда она скрылась в доме, я вошла в ворота. Слева на стеклянной двери висела дощечка. Список жильцов в алфавитном порядке — фамилия и подъезд. За стеклом горел свет. Я постучала. Дверь приоткрылась, и появилось женское лицо — с черными, коротко стриженными волосами, довольно молодое. Я сказала, что ищу даму, которая живет в этом доме. Одинокую, в желтом пальто.

Вместо того чтобы захлопнуть передо мной дверь, консьержка сдвинула брови, словно пытаясь сообразить.

— Это, наверно, мадам Боре. Подъезд А... забыла, какой этаж.

Она провела пальцем по списку. Показала фамилию. Боре. Подъезд А. Этаж 5. Я пошла через двор. Когда я услышала, что у консьержки закрылась дверь, я повернула назад и выскользнула на улицу.

***

В тот вечер в метро всю дорогу обратно я была уверена, что помню эту фамилию. Боре. Да, похоже на фамилию человека, который, как я понимала когда-то, был братом моей матери, некий Жан Боран. Он брал меня по четвергам[1] к себе в гараж. Совпадение? Однако фамилия матери, указанная у меня в метрике, Шовьер. А О'Дойе – фамилия вымышленная, нечто вроде сценического псевдонима. Он относится к тому времени, когда и меня звали Маленькое Чудо... У себя в комнате я снова стала рассматривать фотографии, открыла ежедневник и записную книжку, лежавшие в старой коробке из-под печенья, и в середине ежедневника наткнулась на листочек бумаги, вырванный из школьной тетрадки, – хорошо мне знакомый. Запись сделана синими чернилами, очень мелко, чужим почерком. Сверху имя: ОЛЬГА ШОВЬЕР. Под ним черта. И дальше строчки, забегающие за поля.

Несостоявшееся свидание. Несчастна в сентябре. Ссора с блондинкой. Опасная склонность к легким решениям. Что потеряешь, не найдешь. Увлечение иностранцем. Перемены в ближайшие месяцы. Берегись конца июля. Визит незнакомца. Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно.

Она ходила к гадалке, и та предсказала ей судьбу по картам или по руке. Думаю, она была не уверена в своем будущем. Опасная склонность к легким решениям. Ей вдруг стало страшно, как на этом аттракционе, который называется "американские горы" или "русские горки". Выскочить уже нельзя, поздно. Тележка набирает скорость, и невольно думаешь, не слетишь ли. Она предчувствовала, что резко покатится вниз. Несчастна в сентябре. Наверняка после того лета, когда я внезапно оказалась одна в деревне. Поезд был переполнен. У меня на шее висела записка с адресом. Что потеряешь, не найдешь. Немного спустя мне в деревню пришла открытка. Она на самом дне коробки. Касабланка. Площадь Франции. "Крепко тебя целую". Даже подписи нет. Крупный почерк, как в ежедневнике и в записной книжке. Когда-то девочек возраста моей матери учили писать очень крупно. Увлечение иностранцем. Но кем именно? В записной книжке много иностранных фамилий. Берегись конца июля. Как раз в июле меня отправили в деревню, в Фоссомброн-ла-Форе. В моей комнате повесили картину Толи Сунгурова, и каждое утро, просыпаясь, я видела устремленный на меня взгляд матери. После той открытки я больше не получала ничего. Мне остался от нее только этот взгляд по утрам и еще по вечерам, когда я читала в постели или когда лежала больная. Через какое-то время я обнаружила, что взгляд устремлен не на меня, а в пустоту.

Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно. Слова, которые твердишь себе в темноте, чтобы успокоиться. Она, наверно, уже знала, когда ходила к гадалке, что уедет в Марокко. Так или иначе, но гадалка все равно это узнала по картам или по

1. Четверг во французских школах был раньше свободным днем.

линиям руки. Путешествие. Она уехала позже, чем я, потому что она провожала меня на Аустерлицкий вокзал. Помню, как мы ехали на машине вдоль Сены. Вокзал был рядом с набережной. Много лет спустя я заметила, что стоит мне оказаться поблизости от Аустерлицкого вокзала, как происходит что-то странное. Вокруг сразу делается холоднее и темнее.

Я не знала, где теперь эта картина. Осталась в моей комнате в Фоссомброн-ла-Форе? Или после стольких лет попала, как мне и представлялось, на блошиный рынок у одного из въездов в Париж? В книжке матери есть адрес художника, который написал ее, Толи Сунгурова. Первая фамилия на букву С. Чернила другого цвета, и почерк мельче, как будто она очень старалась. Вероятно, Толя Сунгуров — один из первых, с кем она познакомилась в Париже. Она приехала однажды вечером, еще девочкой, на Аустерлицкий вокзал, в этом я была почти уверена. Путешествие кончится благополучно. Видимо, гадалка ошиблась, а может, говорила не всю правду, чтобы не огорчать клиентов. Интересно, во что мать была одета в тот день, когда приехала в Париж, на Аустерлицкий вокзал? Уж точно не в желтое пальто. И еще я пожалела, что пропала книжка с картинками, которая называлась "Старая цирковая лошадь". Мне подарили ее в деревне, в Фоссомброн-ла-Форе. Нет, я путаю... По-моему, она уже была у меня в парижской квартире. Да и картина тоже висела там в одной из комнат — огромной, с тремя ступеньками, покрытыми белым плюшем. На обложке выделялась черная лошадь. Она делала круг по арене, судя по всему в последний раз, опустив голову, с изможденным видом, словно вот-вот упадет. Да, когда она шла через двор, эта черная лошадь всплыла у меня в памяти. Лошадь бежала по арене, и казалось, ей тяжела ее сбруя. Сбруя была такого же цвета, как пальто. Желтая.

Еще до того вечера, когда мне показалось, что я узнала в метро свою мать, я познакомилась с человеком, которого звали Моро или Бадмаев. Это произошло в книжном магазине "Маттеи", на бульваре Клиши. Он закрывался очень поздно. Я искала себе детектив. В полночь мы были там единственными покупателями, и он посоветовал мне одну книжку из "Черной серии". Потом мы с ним шли по бульвару и разговаривали. У него иногда появлялись странные интонации, и я подумала, что, наверно, он иностранец. Позднее он объяснил мне, что эта фамилия — Бадмаев — досталась ему от отца, которого он почти не знал. Отец был русский. А мать француженка. На листке бумаги, где он записал мне свой адрес в тот первый день, я прочла: Моро-Бадмаев.

Мы болтали обо всем и ни о чем. В тот вечер он почти не говорил о себе, сказал только, что живет рядом с Порт-д'Орлеан и очутился в наших краях случайно. Но что это счастливая случайность, ведь он познакомился со мной. Он интересовался, читаю ли я что-то еще кроме детективов. Я дошла с ним до метро "Пигаль". Он спросил, можем ли мы еще встретиться. И сказал улыбаясь:

— Тогда и попробуем разобраться.

Эта фраза меня поразила. Как будто он читал мои мысли. Да. Для меня наступил тот период жизни, когда хочется разобраться.

Все казалось мне таким запутанным с самого начала, с самых первых детских воспоминаний... Иногда они осаждали меня около пяти утра, в опасный час, когда уже не можешь больше заснуть. И я дожидалась открытия первых кафе, чтобы выйти из дома. Я отлично знала, что эти воспоминания рассеются, как дурной сон, стоит мне оказаться на улице.

В любое время года. Зимним утром, когда еще темно, зябко, зажженные лампы и первые посетители, собравшиеся, как заговорщики, у стойки, создают ощущение, что наступающий день будет новым приключением. И это ощущение живет в вас всю первую половину дня. Летом, когда день обещает быть очень жарким и машин на улице еще мало, я усаживалась на террасе первого же открывшегося кафе и представляла себе, что если спуститься по улице Бланш, то окажешься на пляже. В такие утра все скверные воспоминания мигом улетучивались.

Моро-Бадмаев назначил мне свидание около Порт-д'Орлеан, в кафе под названием "Ле Корантен". Я пришла первая. Уже стемнело. Было семь часов вечера. Он сказал, что не может раньше, потому что ходит на службу. Я увидела в дверях парня лет двадцати пяти, высокого, темноволосого, в кожаной куртке. Он сразу меня заметил, подошел и сел напротив. Я опасалась, что он забыл, как я выгляжу. Он никогда не узнает, что меня звали Маленькое Чудо. Да и кто теперь это знает, кроме меня? И моей матери. На днях, наверно, надо будет ему сказать. Чтобы попробовать разобраться.

Он улыбнулся мне. Сообщил, что боялся опоздать на нашу встречу. Его сегодня задержали на работе дольше обычного. А вообще присутственные часы у него бывают в разное время. Эту неделю днем, на следующей — с десяти вечера до семи утра. Я спросила, что у него за работа. Он слушает радиопередачи на иностранных языках, переводит и пишет краткое изложение. Для какого-то учреждения, про которое я толком не поняла, состоит оно при агентстве новостей или при каком-то министерстве. Его взяли туда, потому что он знает чуть ли не двадцать языков. Я была потрясена, потому что сама знала только французский. Но он мне сказал, что это не так уж трудно. Когда два-три языка выучишь, дальше все уже идет по накатанному. Это может каждый. А я чем занимаюсь? Ну, сейчас я живу случайными заработками, но надеюсь со временем найти что-нибудь более устойчивое. Мне это очень нужно — чтобы войти в колею.

Он наклонился ко мне и спросил очень тихо:

— Почему? Вы выбиты из колеи?

Мне не показалось это бестактным. Мы были едва знакомы, но он вызывал у меня полное доверие.

— А что вы вообще ищете в жизни?

Он словно извинялся за столь расплывчатый и высокопарный вопрос. Его светлые глаза пристально смотрели на меня, и я увидела, что они голубые с серым отливом. Руки тоже были очень красивые.

— Что я ищу в жизни...

Я поняла, что надо собраться. И срочно что-то ответить. Такой человек, как он, знающий двадцать языков, не поймет, если я не найду что сказать.

— Я ищу... общения с людьми.

Судя по всему, я не разочаровала его. Взгляд светлых глаз уже снова обволакивал меня, заставляя опустить ресницы. И красивые руки на столе, с длинными, тонкими пальцами, которые я представляла себе бегущими по клавишам рояля... Для меня так важны были всегда глаза и руки... Он сказал:

— Вы только что произнесли одно слово, которое меня поразило... слово "устойчивое"...

Я уже этого не помнила. Но было приятно, что он придает значение каким-то моим словам. Совершенно банальным.

— Проблема действительно в том, чтобы отыскать нечто устойчивое...

В этот момент, несмотря на всю его невозмутимость и тихий голос, мне показалось, что внутренне он так же неспокоен, как и я. И действительно, он спросил, бывает ли у меня противное чувство, будто меня подхватило течение и куда-то несет, а уцепиться не за что.

Да, примерно это самое я и ощущала. Дни сменялись, неотличимые друг от друга, их размеренный ход напоминал движущуюся дорожку на станции "Шатле". Меня несло по нескончаемому коридору без всякого моего участия, не нужно было даже самой идти. И вместе с тем мне предстояло увидеть там очень скоро, в один из ближайших вечеров, желтое пальто. В этой толпе незнакомцев, в которой я потихоньку растворялась, вспыхнет яркое цветовое пятно, и мне нельзя будет потерять его из виду, если я хочу узнать о себе чуть побольше.

— Поэтому и нужно найти устойчивый островок, чтобы жизнь перестала быть непрерывным потоком, уносящим нас против нашей воли. — Он улыбался, словно хотел смягчить серьезность своих слов. — И как только мы его отыщем, все сразу пойдет куда лучше. Вы не согласны?

Я поняла, что он не может вспомнить моего имени. Меня подмывало объявить ему: "Меня звали Маленькое Чудо". И выложить все, с самого начала. Но я просто сказала:

— Меня зовут Тереза.

Той ночью, на бульваре, я спросила, как его имя. Он ответил: "Имя ни к чему. Называйте меня просто Бадмаев. Или Моро, если вам больше нравится". Я удивилась, а потом подумала, что это просто желание себя обезопасить, сохранить дистанцию. Он избегал слишком тесного сближения с людьми. А может, что-то скрывал.

Бадмаев предложил зайти к нему. Он даст мне почитать одну книжку. Он жил в большом новом квартале напротив кафе "Ле Корантен", на другой стороне бульвара Журдан. Кирпичные корпуса, наподобие того, в Венсене, где через несколько дней я буду стоять и смотреть, как моя мать пересекает двор. Мы шли вдоль фасадов, совершенно одинаковых. В доме номер 11 по улице Монтичелли поднялись по лестнице на пятый этаж. Дверь вела в коридор с темно-красным линолеумом. Его комната была в конце коридора. На полу матрас без ножек, стопки книг вдоль стен. Он предложил мне сесть на единственный стул у окна.

— Пока я не забыл... Надо дать вам книжку...

Он нагнулся и долго рассматривал каждую стопку, одну за другой. Наконец вытащил книгу, которая выделялась среди других красным переплетом. Он протянул мне ее. Я открыла, посмотрела титульный лист: "На окраинах жизни".

У него был извиняющийся вид. Он сказал еще:

— Если скучно, не читайте, это совсем не обязательно.

Он сел на край постели. Комнату освещала лишь голая лампочка, закрепленная на высоком штативе. Лампочка была очень маленькая и слабая. Рядом с матрасом, вместо ночного столика, огромный радиоприемник, обтянутый спереди материей. Я помню такой в Фоссомброн-ла-Форе. Он перехватил мой взгляд.

— Я очень люблю этот приемник, — сказал он. — Иногда пользуюсь им для работы. Когда работаю дома.

Он наклонился и повернул ручку. Зажегся зеленый огонек.

Раздался глуховатый голос, говоривший на каком-то иностранном языке.

— Хотите посмотреть, как я работаю?

Он взял большой блокнот с отрывными листами и шариковую ручку, лежавшие на приемнике, и начал записывать, слушая голос.

— Ничего сложного... я все стенографирую.

Он подошел ко мне и протянул листок. С того вечера я всегда храню этот листок при себе.

После стенографических знаков, чуть пониже, было написано:

"Niet lang geleden slaagden matrozen er in de sirenen, enkele mijlen zuidelijd van de Azoren, te vangen".

И перевод: "Недавно матросам удалось поймать сирен в нескольких милях к югу от Азорских островов."

— Это по-голландски. Но он читал с легким фламандским акцентом жителя Антверпена.

Бадмаев повернул ручку, чтобы голоса было не слышно. Но оставил зеленый огонек. Вот, такая у него работа. Ему дают список передач, которые надо прослушать, днем или ночью, и он должен назавтра сделать перевод.

— Иногда эти передачи приходят с другого конца земли... дикторы говорят на удивительных языках.

Он слушает их ночью у себя в комнате, для тренировки. Я представила себе, как он лежит в темноте, пробитой этим зеленым огоньком.

Он снова сел на край матраса. Сказал мне, что с тех пор, как поселился в этой квартире, почти не пользуется кухней. Тут есть еще одна комната, но она пустая и он никогда туда не заходит. К тому же, слушая без конца иностранные передачи, он уже и сам толком не понимает, в какой стране живет.

Окно выходило в большой двор и на соседние здания, где тоже на каждом этаже светились окна. Позднее, когда я в первый раз дошла вслед за матерью до ее дома, я была уверена, что из ее комнаты вид точно такой же, как от Моро-Бадмаева. Я посмотрела адресный справочник в надежде отыскать ее фамилию, и меня поразило, сколько же людей живет с ней в одном доме. Человек пятьдесят, и среди них около десятка одиноких женщин. Но ее девичьей фамилии я там не нашла, как не нашла и другой, вымышленной, которую она когда-то себе взяла. Это было до того, как консьержка показала мне ее фамилию в списке — Боре. А потом мне опять пришлось смотреть справочник — по названиям улиц. Я потеряла номер телефона Моро-Бадмаева. По его адресу я обнаружила не меньше фамилий, чем в доме моей матери. Да, жилые корпуса в Венсене и возле Порт-д'Орлеан мало чем отличались друг от друга. Его фамилия — Моро-Бадмаев — фигурировала в справочнике. Значит, мне все это не приснилось.

В тот вечер он сказал мне, когда я смотрела в окно, что вид здесь мрачноватый. В первое время у него было ощущение, что он в этой квартире задыхается. Слышен каждый звук — и от соседей по этажу, и сверху, и снизу. Какое-то непрерывное гудение, как в тюрьмах. Ему казалось, что отныне он навсегда заперт в камере, а вокруг сотни других таких же камер, занятых семьями или одинокими людьми, как он. Он тогда вернулся из долгого путешествия в Иран, где успел отвыкнуть от Парижа и вообще от больших городов. Он туда ездил, чтобы попробовать освоить новый язык, степной фарси.

Учителей по этому языку нет, даже в Школе восточных языков. Пришлось изучать его самому, на месте. Это было в прошлом году. Возвращение в Париж, на Порт-д'Орлеан, далось ему нелегко, но теперь шум от

соседей его больше не беспокоит. Достаточно включить радио и медленно поворачивать ручку. И он снова оказывается очень далеко. Ему даже не нужно для этого путешествовать. Достаточно, чтобы зажегся зеленый огонек.

— Хотите, научу вас степному фарси?

Он пошутил, но его фраза запала мне в душу из-за слова "степной". Я подумала, что скоро уеду из этого города, что у меня нет серьезных причин считать себя узницей чего бы то ни было. Передо мной открыты все горизонты, степи без конца и без края, за которыми лежит море. Я только хотела собрать напоследок кое-какие скудные воспоминания, отыскать следы своего детства, как путешественник, до конца таскающий в кармане просроченное удостоверение личности. Да мне и нечего почти собирать.

Было девять часов. Я сказала, что мне пора домой. В следующий раз он пригласит меня поужинать, если я не против. И мы будем изучать степной фарси. Он проводил меня до метро. Я не узнавала Порт-д'Орлеан, хотя до шестнадцати лет проезжала здесь всякий раз по пути в Париж. Тогда автобус из Фоссомброн-ла-Форе шел до кафе "Ротонда".

Он продолжал рассказывать мне про степной фарси. Этот язык, говорил он, похож на финский. Такой же приятный на слух. В нем слышится ласковый шелест ветра в высоких травах и плеск водопадов.

В первое время я чувствовала странный запах на лестнице. Он шел от красной ковровой дорожки. Видимо, она потихоньку гнила. Кое-где уже просвечивали деревянные ступеньки. Столько людей поднималось по этим ступенькам, спускалось по ним в те годы, когда дом служил гостиницей... Лестница была крутая и начиналась прямо от входа. Я знала, что моя мать какое-то время жила в этой гостинице. Адрес был записан у меня в метрике. Однажды в поисках комнаты я читала объявления насчет аренды жилья и вдруг с изумлением обнаружила этот адрес в разделе "Однокомнатные квартиры и студии".

Я пришла в назначенный час. Краснолицый человек лет пятидесяти ждал меня на тротуаре. Он показал мне комнату на втором этаже, с крохотной ванной. Потребовал плату за три месяца вперед наличными. К счастью, у меня как раз оставалась примерно эта сумма. Он повел меня в кафе на углу бульвара Клиши, чтобы заполнить и подписать бумаги. Он объяснил, что гостиница закрылась и номера превращены в студии.

— В этой гостинице жила моя мать...

Я услышала, как произношу эту фразу, очень медленно, и сама поразилась. Какая муха меня укусила? Он сказал рассеянно: "Да? Ваша мать?" По возрасту он мог ее помнить. Я спросила, не ему ли принадлежала гостиница. Нет. Они с партнерами купили ее в прошлом году и отремонтировали.

— Знаете, — сказал он, — гостиница была довольно захудалая.

Весь первый вечер я думала, что моя мать, возможно, жила как раз в этой самой комнате. Выходит, именно вечером того дня, когда я в поисках жилья увидела в газете адрес — улица Кусту, 11, — и произошел щелчок. Правда, к тому времени я уже начала заглядывать иногда в старую коробку из-под печенья, листать ежедневник и записную книжку, рассматривать фотографии... Прежде, должна признаться, я почти никогда не открывала эту коробку, а если и открывала, у меня не возникало желания читать какие-то старые бумажки. Я с детства привыкла к ней, она сопровождала меня всюду, как картина Толи Сунгурова, всегда была под рукой. Я даже хранила там какие-то дешевые побрякушки. На вещи,

которые давно при вас, внимания не обращаешь. И если они вдруг пропадают, то выясняется, что некоторых мелочей вы не замечали. Так, я уже не помнила, как выглядела рама у картины Толи Сунгурова. И если бы я потеряла коробку из-под печенья, то не помнила бы, что на крышке была полуоторванная этикетка, где еще сохранилась надпись: LEFEVRE-UTILE. Поэтому не стоит полностью доверять так называемым свидетелям.

Получалось, что я вернулась к исходной точке, поскольку этот адрес значился в моей метрике как адрес матери. И наверняка я тоже жила здесь в раннем детстве. Однажды вечером, когда Моро-Бадмаев провожал меня домой, я рассказала ему все это, и он заключил:

— Итак, вы вернулись в старое родовое гнездо.

Мы оба расхохотались. Портал увит жимолостью, он так давно закрыт, что за ним выросла трава и уже невозможно его открыть, чтобы проскользнуть между створками. В глубине степей, под луной — замок нашего детства. А вон там, слева, по-прежнему растет старый кедр. И вот мы входим в замок. С канделябром пересекаем голубую гостиную, идем через галерею, где висят портреты предков. Ничего не изменилось, все вещи на своих местах, под толстым слоем пыли. Мы поднимаемся по парадной лестнице. Проходим коридор, и вот наконец-то детская. Так развлекался Моро-Бадмаев, описывая мое возвращение в родовой замок, как оно происходило бы в другой жизни. Но за моим окном лежала маленькая улочка Пюже, еще уже, чем улица Кусту, с которой она составляла почти правильный треугольник. Вершиной треугольника была моя комната. И ни ставен, ни занавесок. Ночью мерцающая вывеска гаража, чуть ниже, на улице Кусту, отбрасывала на стену возле моей кровати красные и зеленые отсветы. Меня это не раздражало. Наоборот, скорее успокаивало. Кто-то не забывал меня. Может быть, красные и зеленые сигналы приходили издалека, из той поры, когда моя мать жила здесь и, как я, лежа на этой же кровати, пыталась уснуть. Они зажигались, гасли, зажигались, убаюкивали меня, и я соскальзывала в сон. Зачем я сняла эту комнату, когда могла бы найти себе что-то в другом районе[1]? Но там не было бы этих красно-зеленых сигналов, ритмичных, как биение сердца, и которые, как я постепенно поняла, остались для меня единственными следами прошлого.

По будням я должна была ездить в район Булонского леса к богатым людям присматривать за их дочкой. Я нашла эту работу как-то днем, обратившись от безысходности в агентство по найму, выбранное наугад по справочнику. Агентство Тейлора.

Рыжий господин с усами, в клетчатом костюме принял меня в кабинете с темными деревянными панелями. Он предложил мне сесть. Я решилась сказать ему, что впервые обращаюсь за такого рода работой.

— Вы хотите бросить учебу?

Я удивилась. И ответила, что не учусь.

— Когда вы вошли, я подумал, что вы студентка.

Он произнес это слово с таким почтением, что я заинтересовалась, какой такой чудесный смысл он вкладывает в него, и искренне пожалела, что я не студентка.

— Пожалуй, у меня найдется для вас кое-что... три часа в день... сидеть с ребенком.

1. Район площади Пигаль и Бланш, расположенный в северной части Парижа, традиционно считается пристанищем бедноты, иммигрантов и проституток.

Мне вдруг показалось, что в агентство Тейлора давным-давно уже никто не обращается и этот рыжий господин проводит долгие часы в одиночестве, мечтая о студентках. На стене слева висело большое панно, где были изображены, очень тщательно, мужчины в костюмах метрдотелей и шоферов и женщины в форменной одежде нянь и медсестер — так, во всяком случае, я подумала. А внизу большими черными буквами выведено: АГЕНТСТВО АНДРЕ ТЕЙЛОРА.

Он улыбнулся мне. Сказал, что панно относится ко временам его отца и я могу не волноваться, форма мне не потребуется. Люди, у которых мне предстояло работать, жили в районе Нёйи и искали кого-нибудь присматривать за дочкой во второй половине дня.

Когда я пошла туда в первый раз, был дождливый день, в ноябре. Я не спала всю ночь, думая о том, как меня примут. Человек из агентства сказал, что родители довольно молодые, и дал мне листочек с их фамилией и адресом: Валадье, бульвар Мориса Барреса, 70. Дождь, который не прекращался с утра, вызывал у меня желание бежать прочь из этого города. Как только будет немного денег, уеду куда-нибудь на юг Франции или даже еще дальше, в жаркие страны. Я цеплялась за эту мысль, чтобы не пойти ко дну окончательно. Нужно было удержаться на плаву, набраться еще немного терпения. И то, что я обратилась в агентство Тейлора — так это сработал в последний момент инстинкт самосохранения. Иначе в один прекрасный день у меня просто не хватило бы сил встать с кровати и выйти на улицу. Я еще помнила панно, висевшее на стене в агентстве. Рыжий господин очень удивился бы, скажи я ему, что ничего не имею против формы няни и тем более медсестры. Форма помогла бы мне взять себя в руки, как корсет, заставляющий при любых обстоятельствах держаться прямо. Впрочем, у меня все равно не было выбора. До этого мне дважды удавалось устроиться продавщицей, правда временно: один раз в магазин "Труа Картье", второй — в парфюмерию на Больших бульварах. Но в агентстве Тейлора мне предложили место, вероятно, более надежное. Я не строила иллюзий относительно своих возможностей. Я не артистка, как моя мать. В Фоссомброн-ла-Форе я работала в "Зеленом трактире", на главной улице. Там останавливалось много народу, в том числе и парижане. Работа была нетрудная. В баре, в столовой, иногда у стойки, где записывают приезжих. Зимой я разжигала по вечерам огонь в маленькой гостиной рядом с баром, обшитой деревом, где можно было почитать газету или поиграть в карты. Я проработала там до шестнадцати лет.

Дождь кончился, когда я дошла до метро на площади Бланш. Я доехала до станции "Порт-Майо", поднялась наверх, и у меня перехватило дыхание: я знала эти места. Я решила, что ночью мне, наверно, снилась первая поездка к новым хозяевам и теперь я переживаю свой сон наяву — весь путь, сначала на метро, потом по улице до их дома, — оттого и возникает ощущение, что я все это уже видела. Я шла по бульвару вдоль Булонского леса, и чем дальше, тем острее становилось это ощущение, я даже испугалась. И стала думать, что, может, мне, наоборот, сейчас все снится. Ущипнула себя за руку, похлопала по лбу, пробуя себя разбудить. Иногда во сне я знала, что опасность, которая мне угрожает, не так страшна, потому что это сон и я с минуты на минуту могу проснуться. Однажды меня даже приговорили во сне к смертной казни — в Англии — и назавтра должны были повесить. Тюремщики отвели меня в камеру, но я была спокойна, я им улыбалась, прекрасно зная, что они останутся ни с чем, а я проснусь в своей комнате на улице Кусту.

Я вошла в ворота, за ними была аллея, посыпанная гравием. Наконец я позвонила у дверей дома номер 70, который выглядел как особняк. Мне открыла светловолосая женщина и сказала, что ее зовут мадам Валадье. Она слегка замялась, произнося слово "мадам", как будто оно было неуместным по отношению к ней, но следовало пользоваться им на людях. Потом, когда рыжий тип из агентства Тейлора меня спросил: "Ну, как вам понравились месье и мадам Валадье?", я сказала: "Красивая пара". Он, кажется, удивился.

Им было обоим лет по тридцать пять. Он — высокий брюнет, довольно элегантный, с очень приятным голосом, она — пепельная блондинка. Они сидели рядышком на диване, смущенные не меньше меня. Мне показалось любопытным, что они вели себя как временные постояльцы в огромной гостиной на втором этаже, где кроме дивана и кресла не было никакой мебели. И ни одной картины на белых стенах.

В тот день мы совершили небольшую прогулку, девочка и я, по аллеям вдоль Ботанического сада. Она молчала, но держалась доверчиво, как будто мы не в первый раз вместе гуляем. У меня тоже было ощущение, что я давно ее знаю и уже ходила с ней по этим аллеям.

Когда мы вернулись, она захотела показать мне свою комнату на третьем этаже, огромную, выходившую окнами на деревья Ботанического сада. Резные панели и две застекленные витрины в нишах по обе стороны камина наводили на мысль, что прежде эта комната служила гостиной или кабинетом, но уж никак не детской. Кровать тоже была не детская, очень широкая, с обитыми шелком спинками. А в одной из витрин стояло несколько шахматных фигур из слоновой кости. Наверняка кровать со спинками и шахматы были здесь, когда месье и мадам Валадье сюда въехали, как и другие вещи, которые прежние жильцы забыли или не успели увезти. Девочка не сводила с меня глаз. Ей хотелось узнать мое мнение о ее комнате. В конце концов я сказала: "Здесь у тебя просторно", и она неуверенно кивнула. К нам присоединилась ее мать. Она объяснила, что они живут в этом доме всего несколько месяцев, но не сказала, где жили до этого. Девочка ходит в школу, совсем рядом, на улице Ферм, и я должна забирать ее каждый день в 4.30. Видимо, в этот момент я и сказала: "Да, мадам". И сразу на ее лице появилась ироническая усмешка. "Не называйте меня мадам. Зовите меня... Вера". Она на секунду запнулась, словно это было вымышленное имя. Пару часов назад, когда она открыла мне дверь, я приняла ее за англичанку или американку, но теперь было ясно, что у нее парижский выговор — в старых романах это называлось "язык предместий".

— Вера — красивое имя, — сказала я.

— Вы находите?

Она зажгла лампу на ночном столике и сказала мне:

— В этой комнате маловато света.

Девочка лежала на паркетном полу возле одной из витрин и, подперев голову руками, с серьезным видом листала школьную тетрадь.

— Ей неудобно, — заметила Вера, — надо найти ей письменный стол, чтобы делать уроки.

У меня опять возникло то же ощущение, что недавно в гостиной: Валадье в этом доме временно. Она, вероятно, заметила мое недоумение и добавила:

— Не знаю, останемся ли мы здесь надолго. И вообще, муж не очень любит мебель...

Она улыбнулась мне все той же ироничной улыбкой. Спросила, а где живу я. Я сказала, что нашла комнату в бывшей гостинице.

— Правда?.. Мы тоже долгое время жили в гостинице...

Она поинтересовалась, в каком районе.

— Возле площади Бланш.

— Да это же квартал моего детства! — воскликнула она, чуть сдвинув брови. — Я жила на улице Дуэ.

В этот момент она напоминала холодных белокурых американок из детективных фильмов. Казалось, ее кто-то дублирует, как в кино, настолько странно было слышать, что она говорит по-французски.

— Когда я возвращалась из лицея Жюля Ферри я делала крюк и проходила через площадь Бланш.

Она давно не бывала в тех краях. Много лет прожила в Лондоне. Там и познакомилась со своим мужем. Девочка не обращала на нас никакого внимания. Она по-прежнему лежала на полу и что-то писала в другой тетради, не отвлекаясь, с сосредоточенным видом.

— Делает домашнее задание, — сказала Вера. — Вы увидите... в семь лет почерк у нее почти взрослый...

Стемнело, хотя еще не было пяти. Вокруг стояла тишина, такая же точно, как в этот час в Фоссомброн-ла-Форе, когда мне было столько же лет, сколько моей подопечной. Наверно, у меня тоже в ее возрасте был взрослый почерк. Меня ругали за то, что я не хотела писать перьевой ручкой, а писала шариковой. Я взглянула из любопытства, чем пишет девочка. Шариковой. У нее в школе, на улице Ферм, детям наверняка разрешают писать "биками" с черными, красными или зелеными колпачками. Получаются ли у нее прописные буквы? Во всяком случае, их теперь уже точно не учат вести линию вниз с нажимом, а вверх тоненько.

Они проводили меня вниз. Слева двустворчатая дверь была распахнута в большую пустую комнату, в глубине которой стоял письменный стол. Месье Валадье сидел на краешке и говорил по телефону. Ярко светила люстра. Он говорил на каком-то языке со странным звучанием, который мог бы понять только Моро-Бадмаев, возможно, на степном фарси. Из уголка губ торчала сигарета. Он помахал мне рукой.

— Передайте от меня привет "Мулен-Ружу", — шепнула она, не сводя с меня грустного взгляда, словно завидовала тому, что я возвращаюсь в тот район.

— До свидания, мадам.

У меня это вырвалось случайно, но она опять поправила:

— Нет. До свидания, Вера.

Я повторила:

— До свидания, Вера.

Действительно ли ее так звали или она придумала себе это имя тоскливым вечером во дворе лицея Жюля Ферри, потому что настоящее ей не нравилось?

Она шла к двери мягкой походкой холодных таинственных блондинок.

— Проводи немного мадемуазель, — сказала она дочери. — Ей это будет приятно.

Девочка кивнула и бросила на меня тревожный взгляд.

— Когда темно, я часто отправляю ее погулять, сделать кружок по кварталу... Ей нравится... Она сразу чувствует себя большой. Недавно даже захотела сделать еще один круг... Она тренируется, чтобы перестать бояться...

Издалека, из глубины комнаты, бархатный голос месье Валадье долетал до меня между очень долгими паузами — каждый раз я думала, что он уже кончил говорить.

— Скоро ты совсем перестанешь бояться темноты и больше не придется оставлять тебе на ночь свет.

Мадам Валадье открыла входную дверь. Когда я увидела, что девочка собирается выходить не одевшись, только в юбке и кофточке, я сказала:

— Тебе, наверно, надо надеть пальто...

Ее как будто удивило и одновременно успокоило, что я это сказала, и она повернулась к матери.

— Да-да... Пойди надень пальто.

Она взбежала по лестнице. Мадам Валадье пристально смотрела на меня своими светлыми глазами.

— Благодарю вас, — сказала она. — Я вижу, вы сумеете о ней позаботиться... Мы иногда бываем так рассеянны, мой муж и я...

Она продолжала смотреть на меня так, словно вот-вот заплачет. Однако лицо ее оставалось спокойным и в глазах не было ничего похожего на слезы.

***

Мы миновали прилегающие дома. Я сказала девочке:

— Наверно, тебе пора возвращаться...

Но она хотела пройтись со мной еще. Я объяснила, что должна сесть на метро.

Чем дольше мы шли по бульвару, тем явственнее я сознавала, что уже ходила когда-то этой дорогой. Деревья Булонского леса, запах прелых листьев и влажной земли мне что-то напоминали. Точно такое же чувство было у меня недавно в комнате девочки. То, что мне хотелось забыть, вернее, о чем я до сих пор старалась не вспоминать, как человек, который боится оглядываться, чтобы не закружилась голова, все это постепенно начинало всплывать, и сейчас я уже готова была взглянуть на это без страха. Мы шли по аллее вдоль Ботанического сада, и девочка взяла меня за руку, чтобы перейти улицу к площади Порт-Майо.

— Ты далеко живешь?

Она спросила так, словно надеялась, что я возьму ее с собой. Мы подходили к метро. Я чувствовала: достаточно одного моего слова, чтобы она пошла за мной, спустилась по лестнице и никогда больше не вернулась к родителям. Я хорошо ее понимала. И даже считала это в порядке вещей.

— А теперь моя очередь тебя проводить.

Ее явно огорчила перспектива возвращения домой. Но я обещала на следующей неделе покатать ее на метро. Мы шли по аллее в обратную сторону. Это было спустя недели две-три после того, как я узнала свою мать в переходе "Шатле". Я представляла себе, как она в своем желтом пальто идет через двор кирпичного дома, на другом конце Парижа. Останавливается на лестнице, на каждой площадке. Несостоявшееся свидание. Что потеряешь, не найдешь. Может быть, лет через двадцать эта девочка, как и я, найдет своих родителей вечером, в час пик, в переходах метро, где висят указатели пересадок.

В одной из застекленных дверей первого этажа, в той комнате, где месье Валадье говорил по телефону, горел свет. Я позвонила, но никто не открывал. Девочка стояла спокойно, словно для нее это была самая обычная ситуация. А еще через несколько минут сказала: "Они ушли" — и улыбнулась, пожав плечами. Я решила взять ее к себе ночевать, и она, судя по всему, угадала мои мысли. "Да... они точно ушли..." Она хотела дать мне понять, что делать тут больше нечего, но я для очистки совести подошла к стеклянной двери и заглянула внутрь. Комната была пуста. Я позвонила еще раз. Наконец кто-то стал отпирать, и, когда через приоткрывшуюся дверь на нас упал свет, лицо девочки выразило жестокое разочарование. Это оказался ее отец. Он стоял в пальто.

— Вы давно тут? — спросил он вежливо и безучастно. — Вы хотите зайти?

Он разговаривал с нами как с гостями, которые неожиданно заявились без приглашения.

Он наклонился к дочери:

— Ну как, хорошо погуляла?

Она не ответила.

— Жена уехала ужинать к друзьям, — сказал он мне, — и я как раз собирался туда же...

Девочка не спешила входить. Она последний раз подняла на меня глаза и сказала: "До завтра" — тревожным голосом, словно сомневалась, что я еще когда-нибудь приду. Месье Валадье туманно улыбнулся. Потом дверь за ними захлопнулась.

Я подождала на другой стороне бульвара, под деревьями. На третьем этаже, в комнате девочки, засветилось окно. Вскоре торопливой походкой вышел месье Валадье. Он сел в черный автомобиль. Она осталась дома одна и легла спать с зажженной лампой. Я подумала, что нам повезло: еще немного, и дверь никто бы не открыл.

В воскресенье — в конце той недели, когда я начала гулять с девочкой, или в следующее — я опять отправилась в Венсен. Я решила поехать пораньше, до того как стемнеет. Теперь уже я вышла на станции "Шато-де-Венсен". В это осеннее воскресенье светило солнце, и я, проходя мимо замка, а потом поворачивая на улицу Кавалерийских казарм, снова почувствовала себя в провинциальном городке. Вокруг, кроме меня, не было прохожих, и я слышала за стеной в начале улицы мерное постукивание копыт.

Я стала мечтать о том, что могло бы быть: после долгих-долгих лет странствий я выхожу из поезда на маленькой станции, в Родных Местах. Не помню, в какой книжке мне попалось выражение "родные места". Эти слова означают что-то действительно родное или связанное с массой воспоминаний. В конце концов, в моем детстве тоже была маленькая станция, куда я приехала из Парижа, и на шее у меня висела табличка с моим именем.

Стоило мне увидеть издали кирпичные корпуса, как мечты мгновенно рассеялись. Не было никаких родных мест, а был парижский пригород, где никто меня не ждал.

Я вошла в ворота и постучалась к консьержке.

Она высунулась, приоткрыв дверь. Похоже, она меня узнала, хотя мы говорили с ней всего один раз. Довольно молодая женщина, темноволосая, очень коротко стриженная. На ней был розовый шерстяной халат.

— Я хотела спросить кое-что насчет мадам... Боре...

Я запнулась на фамилии, боясь, что консьержка не поймет, о ком речь. Но на сей раз ей не пришлось справляться по списку жильцов, висевшему на двери.

— С пятого этажа, из подъезда А?

— Да.

Этаж я запомнила хорошо. И с тех пор мне часто представлялось, как она поднимается по ступенькам — все медленнее и медленнее. Однажды даже приснилось, что она падает в пролет, и, проснувшись, я уже не знала, было это самоубийство или несчастный случай. Или это я ее столкнула.

— Кажется, вы заходили на днях...

— Да.

Она улыбалась мне. Похоже, я вызывала у нее доверие.

— Что вам сказать... Она опять в своем репертуаре.

Консьержка произнесла это спокойно, словно от женщины из подъезда А можно ожидать чего угодно.

— Вы ее родственница?

Я побоялась ответить да. И снова навлечь на себя былое проклятие, старую проказу.

— Нет-нет!

Я все-таки успела вовремя отпрянуть от трясины. В последнюю минуту.

— Просто у меня хорошие отношения с ее семьей. И меня послали узнать, как она поживает, что новенького...

— Да что уж тут новенького... Все то же самое. — Она пожала плечами. — Теперь она со мной вообще не разговаривает. Или пользуется любым предлогом, чтоб нагрубить.

Я догадалась, что это еще мягко сказано. Передо мной после стольких лет вдруг возникло, словно всплыв из каких-то глубин, перекошенное лицо с расширенными зрачками и чуть ли не с пеной у рта. В ушах звучал хриплый голос, захлебывающийся потоками брани. Постороннему человеку трудно вообразить столь невероятную перемену в таком красивом лице. Внутри вдруг шевельнулся забытый страх.

— Вы пришли ее навестить?

— Нет.

— Передайте ее родне... Она перестала платить за квартиру.

Слова консьержки и, наверно, еще ежедневные поездки в тот квартал, где я сидела с ребенком, заставили меня вдруг ясно увидеть квартиру возле Булонского леса, которую так и не получилось забыть: огромная гостиная с тремя ступеньками, покрытыми плюшем, картина Толи Сунгурова, моя комната, такая же голая, как у девочки... Интересно, как в те времена ей удавалось платить за квартиру?

— Выселить ее будет трудно. Да и потом, она тут своя, ее все знают... У нее даже прозвище есть...

— Какое?

Мне действительно важно было это узнать. А вдруг то же самое, что двадцать лет назад?

— Фальшивая Смерть.

Она сказала это беззлобно, как будто речь шла о ласковом прозвище.

— Иногда смотришь, она вроде совсем помирает, а назавтра выходит бодрая, улыбается или, наоборот, нахамит.

Для меня в этой кличке таился другой смысл. Я ведь считала, что она умерла в Марокко, а она вдруг воскресла где-то на окраине Парижа.

— Давно она тут живет? — спросила я.

— О да! Она здесь гораздо дольше, чем я... Лет шесть точно...

Значит, она поселилась в Венсене, когда я еще жила в Фоссомброн-ла-Форе. Я вспомнила заброшенный пустырь неподалеку от церкви, поросший травой и густым кустарником. По четвергам мы там играли, соревнуясь, кто дальше заберется в эту чащобу, которую называли Поляна боша. Там нашли каску и полусгнившую гимнастерку, скорее всего брошенные каким-то солдатом в конце войны, но мы все время боялись наткнуться на его скелет. Я не понимала, что значит "бош". Фредерика, женщина, которая знала мою мать и приютила меня в своем доме, куда-то вышла, поэтому я спросила, что такое бош, у ее подруги, брюнетки с бульдожьей челюстью. Вероятно, она подумала, что это слово меня пугает, и хотела успокоить. Она ласково улыбнулась и сказала, что так называют немцев, но ничего страшного тут нет. "Твою маму тоже назвали Немка... В шутку..." Фредерика была недовольна, что ее подруга мне это рассказала, но сама ничего объяснять не стала. Она дружила с моей матерью. Видимо, они познакомились в те годы, когда мать была "балериной". Фамилия Фредерики была Шатийон. В доме в Фоссомброн-ла-Форе всегда толпились ее приятельницы, даже когда ее самой дома не было: Роз-Мари, Жанетта, Мадлен-Луи, еще несколько, не помню, как их звали, и эта, похожая на бульдога, которая тоже знала мою мать, когда та была "балериной", и не любила ее.

— Она одна живет? — спросила я у консьержки.

— Довольно долго к ней ходил мужчина... Он работал с лошадьми, здесь рядом... Брюнет североафриканского типа.

— Он больше не приходит?

— В последнее время нет.

Она уже начала поглядывать на меня подозрительно. Мне вдруг захотелось рассказать ей все. Моя мать приехала в Париж девочкой. Училась в балетной школе. Ее звали Немка. А меня — Маленькое Чудо. Трудно и долго объяснять, особенно стоя у ворот перед этим кирпичным домом.

— Дело в том, что она задолжала мне двести франков...

Я всегда носила деньги при себе, в черной холщовой сумочке на шнурке, обвязанном вокруг талии. Я порылась там. У меня оставались две купюры — сто и пятьдесят франков — и мелочь. Я протянула купюры ей, сказав, что потом занесу остальное.

— Спасибо большое.

Она быстро сунула деньги в карман халата.

Вся ее подозрительность мигом исчезла. Теперь я могла расспрашивать ее сколько угодно про Фальшивую Смерть.

— А насчет квартплаты... Обсудим в следующий раз, когда вы придете.

По правде говоря, приходить я больше не собиралась. Что тут еще узнавать? И зачем?

— Ей несколько раз отключали электричество. А я про себя думала: для нее же лучше. Она пользуется электроодеялом... Это опасно...

Я представила себе, как она втыкает в розетку вилку с проводом от электроодеяла. Она и раньше любила всякие новшества, которые поначалу кажутся последним словом техники, а потом либо выходят из употребления, либо становятся чем-то обыденным. Я вспомнила, что в более благополучные для нее времена, когда мы жили в большой квартире

у Булонского леса, кто-то принес ей ящичек, обтянутый зеленой кожей, и он работал как радиоприемник. Потом я поняла, что это был один из первых транзисторов.

— Посоветуйте ей не пользоваться электроодеялом.

Не так-то это просто. Послушалась ли она хоть раз в жизни доброго совета? Впрочем, теперь все равно поздно.

— Вы не знаете, как зовут человека, который к ней ходил?

У нее сохранилось его письмо трехмесячной давности, которое он прислал, заплатив за квартиру. В приоткрытую дверь я видела, как она роется в большой коробке с бумагами.

— Не могу найти... Все равно он, по-моему, не придет больше...

Скорее всего, ему она и звонила в тот вечер из автомата. Через двенадцать лет у нее каким-то чудом еще остался кто-то, готовый ей помогать. Но и его она ухитрилась оттолкнуть. Еще тогда, давно, когда меня звали Маленькое Чудо, она иногда целыми днями не выходила из своей комнаты, сидела там, отрезанная от мира, никого не желая видеть, даже меня, и наступал момент, когда я уже не знала, там она или бросила меня одну в этой огромной квартире.

— Какая у нее квартира?

— Две маленькие комнатки и кухня с душем.

Сто против одного, что матрас лежит прямо на полу, рядом с розеткой. Так удобнее включать электроодеяло.

— Наверно, вам стоит подняться... Будет ей сюрприз, что кто-то зашел ее проведать...

Окажись мы с ней лицом к лицу, она бы даже не поняла, кто я. Она забыла про Маленькое Чудо и про все надежды, которые связывала со мной, когда придумала так меня назвать. К ее великому разочарованию, я не стала артисткой.

— Могу я вас кое о чем попросить? — Она покопалась в коробке и протянула мне конверт. — Это повторный счет за квартиру. Я сама не хочу ей нести — опять наорет.

Я взяла конверт и пошла через двор. Входя в подъезд А, я почувствовала где-то возле сердца тяжесть, которая мешала вздохнуть. Это была лестница с бетонными ступеньками и железными поручнями, как в школе или в больнице. На каждой площадке из большого окна падал яркий свет, почти белый. Я остановилась на втором этаже. Дверь слева, дверь справа и еще одна посередине — все одинаковые, темные, деревянные, с фамилиями жильцов. Я надеялась отдышаться, но грудь сдавливало все сильнее, и я испугалась, что сейчас задохнусь. Тогда, чтобы успокоиться, я попыталась представить себе, какая фамилия написана у нее на двери. Настоящая или та, под которой она выступала? А может, просто "НЕМКА" или "ФАЛЬШИВАЯ СМЕРТЬ"? В ту пору, когда меня звали Маленькое Чудо и я возвращалась одна в дом у Булонского леса, я подолгу сидела в лифте. Он был обнесен черной решеткой, а чтобы войти, надо было распахнуть двустворчатую стеклянную дверь. Внутри был красный кожаный диванчик, окна со всех сторон, лампа под потолком. Настоящая комнатка. Именно лифт я помню лучше всего.

На третьем этаже грудь опять сдавило. Тогда я стала вспоминать ту лестницу, с толстым красным ковром и медными перилами. На каждой площадке всего одна дверь. Двустворчатая. Белая.

У меня закружилась голова. Я отошла подальше от перил, почти прижалась к стене. Но решила идти до конца. Мне вспомнилось, как мадам Валадье — нет, Вера — говорила про свою дочь: "Она гуляет в темноте,

одна... Хочет потренироваться, чтобы не бояться...” Ну вот, и я так же. Буду подниматься дальше, дойду до двери Фальшивой Смерти и начну звонить короткими звонками, пока она не откроет. А когда откроет, я возьму себя в руки и скажу безразличным тоном: “Зачем вы пользуетесь электроодеялом... Это просто идиотизм...” И буду спокойно наблюдать, как ее лицо бледнеет и искажается от ярости. Я помнила, что ей не нравилось, когда с ней разговаривают о всяких будничных вещах, но то было во времена большой квартиры, когда она хотела быть таинственной.

Я дошла до пятого этажа. И опять увидела три двери, но уже совсем облупленные, как и грязно-бежевые стены. Под потолком горела электрическая лампочка на шнуре. На левой двери висел приклеенный скотчем квадратик бумаги в клетку, на котором было написано размашистым неровным почерком черными чернилами: БОРЕ.

Мне показалось, что я не наверх по лестнице поднялась, а опустилась на дно колодца. За двенадцать лет белая двустворчатая дверь превратилась в старую и обшарпанную, а золоченая табличка, где было выгравировано ГРАФИНЯ ОЛЬГА О’ДОЙЕ, обернулась клочком тетрадного листка с заурядной фамилией БОРЕ.

Я стояла перед дверью и не звонила. Часто, когда я возвращалась одна в большую квартиру у Булонского леса и звонила в дверь, никто мне не открывал. Тогда я спускалась вниз и шла звонить в кафе, чуть дальше по улице. Хозяин смотрел на меня ласково, посетители тоже. Судя по их взглядам, они знали, кто я. Наверно, поинтересовались у соседей. Однажды кто-то сказал: “Да это же малышка из 129-го”. Денег у меня не было, и мне разрешали звонить бесплатно. Я входила в кабину. Телефон висел высоко, и мне приходилось вставать на цыпочки, чтобы набрать номер: ОТЕЙ 15-28. Но никто не отвечал у графини Ольги О’Дойе. На миг у меня возникло искушение нажать кнопку звонка. Я почти не сомневалась, что она откроет. Во-первых, квартира не так велика, чтобы трель звонка затерялась вдали, прокатившись по анфиладе комнат, как там, где был телефон ОТЕЙ 15-28. А потом, ее теперь мало кто навещает, и она наверняка ловит каждый звук, сулящий спасение от одиночества. Или еще надеется, что придет тот человек, который не приходит уже давно, — брюнет североафриканского типа... Но, может быть, приступы хандры и нелюдимости, нападавшие на нее, когда она подолгу сидела взаперти в своей комнате, усилились и участились за двенадцать лет.

Я положила конверт на коврик. Потом быстро спустилась вниз по лестнице, чувствуя, как с каждой ступенькой тает тяжесть в груди, словно я избежала страшной опасности. Во дворе я с удивлением обнаружила, что снова нормально дышу. Какое облегчение ступать по твердой земле, по безопасному тротуару... Только что, у двери, довольно было одного жеста, шага, чтобы утонуть в трясине.

***

Мне хватило мелочи на метро. В вагоне я рухнула на сиденье. Полное изнеможение и подавленность сменили эйфорию, охватившую меня, когда я вышла из подъезда А. Сколько я ни убеждала себя, что эта женщина, по прозвищу Фальшивая Смерть, не имеет ко мне больше никакого отношения и даже не узнала бы меня, столкнись мы с ней нос к носу, ощу-

щение дурноты не проходило. Я проехала станцию "Насьон", где должна была сделать пересадку, и, поскольку мне снова стало трудно дышать, вышла на улицу.

Передо мной был Лионский вокзал. Стемнело, и стрелки больших часов показывали пять. Мне захотелось сесть на поезд и проснуться завтра утром где-нибудь на юге. Выйти из кирпичного дома, не позвонив в дверь, оказалось недостаточно, чтобы спастись. Мне нужно было как можно скорей уехать из Парижа. Увы, у меня уже не было денег на билет. Я отдала консьержке последнее. Что за бредовая идея — заплатить долги Фальшивой Смерти... Но я помнила, что в большой квартире у Булонского леса она звала только меня, когда ей бывало плохо. После многодневного отсутствия она вдруг появлялась с опухшим лицом и мутными глазами. Каждый раз в одно и то же время. В пять часов вечера. И в одном и том же месте. В гостиной с тремя ступеньками, покрытыми плюшем, которые образовывали что-то вроде эстрады, где она разбросала диванные подушки. Она лежала на подушках, закрыв лицо руками. И когда слышала, что я вхожу, говорила всегда одну и ту же фразу: "Помассируй мне щиколотки". Долгое время в Фоссомброн-ла-Форе я вскакивала по ночам. Во сне хрипловатый голос говорил: "Помассируй мне щиколотки". И несколько секунд потом мне казалось, будто я все еще в большой квартире у Булонского леса. И все начинается сначала.

У меня не хватало духу снова спуститься в метро. Лучше дойти до дому пешком. Но я была поглощена своими мыслями и шла наугад. Вскоре я заметила, что кружу около вокзала, по одним и тем же улицам с большими домами. Потом, пройдя одну из них до конца, я оказалась на бульваре Дидро, откуда видна вокзальная суета и яркая вывеска кафе "Европейское".

Гостиница "Терминюс". Я подумала, что надо было снимать комнату в этом квартале. Если поселиться рядом с вокзалом, это полностью меняет жизнь. Кажется, что ты здесь проездом. Ничто не установилось навсегда. Сегодня или завтра сядешь в поезд. Такие кварталы распахнуты в будущее. Циферблат больших часов напомнил мне что-то очень давнее. Не по этим ли часам я научилась узнавать время, когда меня звали Маленькое Чудо? Я тогда уже ездила на метро. От Порт-Майо до Лионского вокзала была прямая линия. Четырнадцать остановок, которые я считала про себя, чтобы не проехать. И выходила на станции "Лионский вокзал", как сегодня. Поднявшись наверх, смотрела на часы, не опоздала ли я. Он ждал меня у выхода из метро. Или на террасе кафе "Европейское". Он был моим дядей, родным или сводным братом матери. Во всяком случае, так она утверждала. И я часто слышала, как она говорит: "Этим займется мой брат... Я пришлю к вам брата..." Когда мать выпадала из жизни, он иногда присматривал за мной. Оставался в большой квартире ночевать. Утром отводил меня в школу. Довольно скоро я стала ходить туда сама, и все реже и реже... По четвергам и воскресеньям я ездила на метро к Лионскому вокзалу, чтобы с ним встретиться. В первое время он заезжал за мной. Мать говорила, что не стоит из-за меня так утруждаться, я в состоянии доехать сама... Думаю, он не решался с ней спорить, но часто, ничего ей не сказав, ждал меня у подъезда.

Я очутилась здесь впервые за много лет. Может, он до сих пор здесь живет? Лионский вокзал оставался у нас за спиной, потом мы сворачивали налево, в одну из маленьких улочек, по которым я только что прошла. А дальше оказывались на проспекте, обсаженном деревьями. Там мы входили в гараж, всегда пустой. Поднимались по лестнице до дверей

квартиры. Пересекали прихожую и попадали в комнату, посреди которой стоял обеденный стол. Они с матерью носили разные фамилии, хотя были — вроде бы — братом и сестрой. Его звали Жан Боран. В коробке из-под печенья лежала его фотография, я по ней сразу его узнала. На обороте карандашом были написаны имя и фамилия.

Мне по-прежнему мешала дышать тяжесть в груди. Я пробовала думать о другом, не получалось. Однако Жан Боран обращался со мной ласково. И воспоминание о нем не было мучительным, как о матери. Я дошла до авеню Домениль. Очень похоже на тот проспект, где был гараж. Я шла и смотрела по сторонам, выискивая хоть подобие какого-нибудь гаража. Я спросила бы, дома ли "месье Жан Боран". Я была уверена, что он, тот, каким я его помню, принял бы меня хорошо, как когда-то. Наверно, он не узнал бы меня. Но не мог же он меня совсем забыть. Действительно ли он мне дядя? Во всяком случае, только он способен ответить на мои вопросы. К несчастью, сколько я ни вглядывалась в фасады по обе стороны улицы, я не узнавала ничего. Нет гаража. Ни малейших признаков. Однажды вечером он повел меня в кино — куда-то недалеко, возле Лионского вокзала. Прежде я никогда в кино не была. Зал показался мне огромным, шел "Перекресток Стрелков", фильм, где я снималась в крохотной роли вместе с матерью. Я не узнала себя на экране, а уж когда услышала свой голос, решила, что Маленькое Чудо вовсе не я, а другая девочка.

Да, лучше б я не вспоминала ни о чем, даже о Жане Боране. Он не виноват, но он тоже часть того периода моей жизни. И нельзя было в это воскресное утро подниматься по лестнице к двери, за которой живет Немка, или Фальшивая Смерть. Я по-прежнему брела наугад, рассчитывая выйти к площади Бастилии и сесть на метро. Я пыталась успокоить себя. Скоро я буду в своей комнате в гостинице и сразу же пойду позвоню Моро-Бадмаеву. Он наверняка дома в воскресенье вечером. Предложу ему поужинать где-нибудь в кафе на площади Бланш. И все ему расскажу — про мать, про Жана Борана, про квартиру у Булонского леса и про Маленькое Чудо. Я ведь не изменилась с тех пор, как будто Маленькое Чудо пролежало все эти годы в полной сохранности под толщей льда. Тот же панический страх охватывает меня на улице и заставляет просыпаться в холодном поту в пять утра. Впрочем, бывали и долгие периоды покоя, когда мне удавалось про все забыть. Но теперь, узнав, что моя мать вовсе не умерла, я внезапно потеряла ориентиры. На синей табличке я прочла: "Проспект Ледрю-Роллен". Он пересекал какую-то улицу, в конце которой я снова увидела громаду Лионского вокзала и светящийся циферблат часов. Я опять сделала круг и вернулась к исходной точке. Вокзал притягивал меня как магнит, я увидела в этом знак судьбы. Я должна сесть в поезд, прямо сейчас, и СЖЕЧЬ ЗА СОБОЙ МОСТЫ. Эти слова вдруг ворвались в мое сознание, и я уже не могла их прогнать. К тому же они придавали мне чуть-чуть бодрости. Да, пора СЖЕЧЬ ЗА СОБОЙ МОСТЫ. Но вместо того чтобы повернуть к вокзалу, я все шла и шла по проспекту Ледрю-Роллен. Прежде чем сжечь мосты, надо дойти до конца, хотя я сама не вполне понимала, что значит "до конца". На тротуарах не было ни одного прохожего, что нормально в воскресный вечер, но чем дальше я шла, тем улица становилась темнее, как будто я надела солнечные очки. Я даже подумала, не слепну ли я. Впереди, на левой стороне, светилась вывеска аптеки. Я не сводила с нее глаз, боясь очутиться в полной тьме. Пока горел впереди этот зеленый огонек, я еще надеялась найти доро-

гу. Хоть бы он не погас раньше, чем я до него дойду. Дежурная аптека на проспекте Ледрю-Роллен. Было так темно, что я потеряла представление о времени и мне казалось, что уже глубокая ночь. За стеклом сидела у прилавка темноволосая женщина. В белом халате, со строгим пучком, так не вязавшимся с ее нежным лицом. Она разбирала стопку бумаг и что-то записывала шариковой ручкой с зеленым колпачком. Рано или поздно она заметит, что я на нее смотрю, но я не могла оторваться. Ее лицо было так не похоже на Фальшивую Смерть, какой она предстала передо мной в метро или виделась перед закрытой дверью на пятом этаже... Такое лицо не могло исказиться от злобы, рот не мог искривиться, извергая потоки брани... Она выглядела настолько спокойной, настолько милой в этом умиротворяющем свете, теплом, как тот, что был в моей жизни в Фоссомброн-ла-Форе... Да был ли? Я толкнула стеклянную дверь. Легкий, хрустальный звон колокольчика. Она подняла голову. Я направилась к ней, но не знала, что сказать.

— Вам плохо?

Но я не могла произнести ни звука. И еще эта гнетущая удушливая тяжесть в груди. Она подошла ко мне.

— Вы такая бледная...

Она взяла меня за руку. Наверно, я напугала ее. Однако она крепко держала мою руку.

— Пойдемте-ка, садитесь сюда...

Она повела меня за прилавок, в комнату, где стояло старое кожаное кресло. Я села в кресло, и она положила мне руку на лоб.

— Температуры нет... Но руки у вас ледяные... Что-то не так?

Много лет я ничего никому не говорила. Все держала в себе.

— Слишком сложно объяснить, — ответила я.

— Почему? Все можно объяснить...

Я разрыдалась. Такого со мной не случалось ни разу после смерти моей собаки. Тому уже лет двенадцать.

— Вы пережили недавно какой-то шок? — спросила она тихо.

— Я встретила человека, которого считала умершим.

— Это очень близкий вам человек?

— Это даже не так важно, — заявила я, силясь улыбнуться. — Я просто устала...

Она вышла. Я слышала, как она выдвинула и задвинула ящичек в аптечном зале. Я по-прежнему сидела в кресле, и мне не хотелось шевелиться.

Аптекарша вернулась. Она успела снять белый халат и осталась в юбке и темно-сером пуловере. Она протянула мне стакан воды, на дне которого пузырилась красная таблетка. И присела рядом на подлокотник кресла.

— Подождите, пока растворится.

Я не в силах была оторвать взгляд от красной пенящейся воды. Она искрилась.

— Что это? — спросила я.

— То, что вам сейчас нужно. — Она снова взяла меня за руку. — У вас всегда такие холодные руки?

То, как она сказала “холодные”, с ударением на этом слове, напомнило мне вдруг название книги, откуда Фредерика в Фоссомброне читала мне по нескольку страниц каждый вечер, когда я уже лежала в постели: “Дети холодов”.

Я залпом выпила весь стакан. Вкус был горький. Но в детстве мне приходилось пробовать и куда более горькое питье.

Она принесла табуретку и подставила мне под ноги, чтобы я могла их вытянуть.

— Отдохните. По-моему, вы не умеете расслабляться.

Она помогла мне снять плащ. Потом расстегнула молнию на сапогах и осторожно стянула их. Снова присела на подлокотник и стала щупать пульс. Прикосновение ее руки, сжимавшей мое запястье, наполнило меня ощущением покоя и безопасности. Я чувствовала, что засыпаю, и от этой мысли мне было хорошо, как в тот вечер, когда монашки усыпили меня эфиром.

Это случилось незадолго до начала нашей жизни в большой квартире у Булонского леса. Я училась в пансионе и, не знаю почему, ждала в тот день на тротуаре. Никто за мной не пришел. Я решила перебежать улицу, и меня сбил пикап. Оказалось, что повреждена щиколотка. Они уложили меня в кузов, под брезент, и отвезли в какое-то здание неподалеку. Я открыла глаза на кровати. Вокруг толпились монашки, одна из них склонилась надо мной. На ней был белый чепец, и она дала мне понюхать эфира.

— Вы живете где-то поблизости?

Я ответила, что живу около площади Клиши и собиралась ехать домой на метро, когда мне вдруг стало плохо. Еще чуть-чуть, и я бы рассказала ей про поездку в Венсен к Фальшивой Смерти, но, чтобы все объяснить, пришлось бы забираться далеко в прошлое, может быть даже начать с того дня, когда я ждала у дверей пансиона — интересно, где же он находился? Скоро все разойдутся по домам, тротуар опустел, пансион заперт. Я все жду, но никто за мной не приходит. Благодаря эфиру боль из ноги ушла, и я сама не заметила, как уснула. Спустя год или два в одной из ванных комнат большой квартиры я обнаружила флакон эфира. Меня завораживал его темно-синий цвет, цвет ночного неба. Каждый раз, когда мать, во время своих приступов, не желала никого видеть и просила меня принести ей еду в комнату или помассировать щиколотки, я нюхала флакон, чтобы набраться храбрости. Это действительно быстро не объяснишь. Я предпочитала просто молча сидеть вытянув ноги.

— Вам лучше?

Я никогда не встречала ни у одного человека столько доброты и твердости. Надо бы рассказать ей все. Умерла или не умерла моя мать в Марокко? Сомнение закрадывалось постепенно, по мере того как я изучала содержимое коробки из-под печенья. Мое теперешнее состояние спровоцировали фотографии. Особенно та, где я снята, по желанию матери, в студии возле Елисейских Полей. Она попросила фотографа, которому только что позировала. Я очень четко помню тот день. Я сидела в студии с самого начала. И теперь узнала на фотографии какие-то вещи и детали, которые врезались в мою память, впечатались в нее, можно сказать, как КЛЕЙМО.

Широкое тюлевое платье матери, присобранное на талии, очень тугой бархатный лиф и газовая накидка, придающая ей в этом белом освещении вид мнимой феи. И я, в своем платьице, мнимый чудо-ребенок, несчастная цирковая собачка. Пудель. По прошествии стольких лет, разглядывая снимки, я поняла, что, стремясь вытолкнуть меня на арену, она мечтала создать себе иллюзию, будто сама начинает все с нуля. Да, у нее не получилось, но зато теперь я должна стать ЗВЕЗДОЙ. Умерла или не

умерла? Опасность еще не миновала. Но теперь я не одна, мне повезло, и рядом со мной есть человек, которому я все объясню. Не нужно даже ничего говорить. Я просто покажу фотографии.

Я поднялась с кресла. Пора было что-то сказать, но я не знала, с чего начать.

— Вы уверены, что держитесь на ногах?

Все тот же внимательный взгляд, спокойный голос. Мы вышли из задней комнаты в аптечный зал.

— Вам нужно пойти к врачу. У вас, видимо, анемия.

Она смотрела мне прямо в глаза, с улыбкой.

— Врач вам пропишет уколы витамина B12... Но я пока вам его не даю... Вы зайдете ко мне еще...

Я продолжала стоять перед ней. Пыталась оттянуть момент, когда выйду из аптеки и опять окажусь одна.

— Вы как поедете?

— На метро.

В этот час в метро должно быть много народу. Люди возвращаются домой из кино или с прогулки по Большим бульварам. Я чувствовала, что не в состоянии выдержать дорогу на метро до гостиницы. Я боялась потеряться окончательно. И еще меня пугала пересадка на "Шатле": ни за что на свете я не хотела бы наткнуться снова на желтое пальто. Тогда все пойдет по кругу и будет повторяться — в тех же местах, в те же часы — до конца. Меня затянуло в механизм старой машины.

— Я провожу вас.

Аптекарша спасла мне жизнь, в последний момент.

Она погасила в зале свет и заперла дверь. Вывеска горела по-прежнему. Мы шли рядом, я настолько к этому не привыкла, что мне даже не верилось и я боялась с минуты на минуту проснуться у себя в комнате. Она сунула руки в карманы мехового пальто. Мне хотелось взять ее под руку. Она была выше меня.

— О чем вы думаете? — спросила она. И сама взяла меня под руку.

Мы миновали перекресток, где я недавно очутилась, и шли теперь по той улице, в конце которой я увидела Лионский вокзал и часы.

— Я думаю, что вы очень добры и теряете из-за меня массу времени.

Она повернулась ко мне. Меховой воротник коснулся ее щеки.

— Ничего подобного, я вовсе не теряю время.

Она замялась на секунду, потом сказала:

— У вас есть родители?

Я ответила, что есть мать, которая живет в пригороде.

— А отец?

Отец? Он тоже, наверно, обретается в каком-нибудь пригороде, или в Париже, или где-то очень далеко в большом мире. Или давно умер.

— Отец неизвестен.

Я сказала это непринужденно, чтобы она не смутилась. А потом, я не привыкла откровенничать.

Она молчала. Я расстроила ее своими невеселыми и малоинтересными ответами. И теперь искала, чем бы их скрасить.

— К счастью, меня воспитывал дядя, который меня любил.

И это почти не было враньем. В течение года или двух Жан Боран забирал меня к себе каждый четверг. Один раз он повел меня, неподалеку от его дома, на Тронную ярмарку. Дядя? А может, он на самом деле мой отец? Мать заметала следы и так ловко приукрашивала факты во время квартиры у Булонского леса?.. Однажды она мне сказала, что "не лю-

бит ничего вульгарного", и я не поняла, что она имела в виду. В ту пору, когда мы жили в большой квартире, ее звали уже не Сюзанна Шовьер. Она именовалась графиня Ольга О'Дойе.

— Не хочу утомлять вас своими семейными сложностями.

Она по-прежнему держала меня под руку. Мы уже были у Лионского вокзала, возле метро. Все, конец. Сейчас она оставит меня у лестниц и уйдет.

— Я отвезу вас на такси.

Она потянула меня к вокзалу. Я так удивилась и обрадовалась, что не знала, как благодарить. Вдоль тротуара выстроилась вереница такси. Шофер ждал, чтобы я сказала, куда ехать. В конце концов я выдавила из себя:

— Площадь Бланш.

Она спросила, давно ли я живу в том районе. Нет, всего несколько месяцев. Комната на маленькой улочке. Бывшая гостиница. Недорого. К тому же я нашла работу... Такси ехало по набережным и пустым воскресным улицам.

— Но у вас же, наверно, есть друзья?

В "Труа-Картье" одна из продавщиц, Мюриель, с которой мы вместе работали, познакомила меня со своими приятелями, она проводила с ними все субботние вечера. Некоторое время я была в их компании. Они ходили в рестораны и на дискотеки. Продавщицы, парни, недавно начавшие работать — кто на бирже, кто в ювелирной лавке, кто у автомобильных дилеров. Заведующие отделами в магазинах. Один из них показался мне интереснее остальных, и я встречалась с ним отдельно. Он приглашал меня в ресторан и в "Студио-28", кинотеатр на Монмартре, где крутили старые американские фильмы. Однажды вечером после кино он повел меня в гостиницу возле "Шатле", и я не противилась. Обо всех этих молодых людях и проведенных с ними вечерах у меня осталось весьма смутное воспоминание. Они мало для меня значили. Я даже забыла имя того парня. Помнила только фамилию: Вурлицер.

— Друзей почти не осталось.

— Нельзя сидеть все время одной... Иначе вам трудно будет сладить с мрачными мыслями.

Она повернулась ко мне и смотрела с улыбкой, в которой мелькнуло что-то лукавое. Я не решалась спросить, сколько ей лет. Вероятно, лет на десять-пятнадцать больше, чем мне, примерно столько же, сколько было моей матери в период большой квартиры и этих двух фотографий, ее и моей. Что за странная идея все-таки отправиться умирать в Марокко! "Она была незлая, — сказала мне Фредерика как-то вечером, когда мы говорили с ней о матери. — Просто ей не повезло..." Она приехала в Париж совсем девочкой учиться классическому танцу в балетной школе при Опере. Больше ничто на свете ее не интересовало. Потом у нее произошел несчастный случай со щиколотками, и балет пришлось бросить. В двадцать лет она работала танцовщицей, но в каких-то малоизвестных ревю: у Феррари, в "Прелюдиях", в "Мулен-Блё" — все эти названия я часто слышала, когда они говорили между собой, от брюнетки, которая не любила мою мать и тоже работала в этих местах. "Понимаешь, — сказала мне Фредерика, — из-за истории со щиколотками она оказалась все равно что скаковая лошадь, у которой повреждены ноги и ее отправляют на бойню".

Аптекарша наклонилась ко мне: "Постарайтесь прогнать хандру. Закройте глаза и вспомните о чем-нибудь приятном". Мы выехали на ули-

цу Риволи, не там, где Лувр, а в другом конце, и остановились на красный свет, хотя вокруг не было ни машин, ни пешеходов. Справа горела неоновая вывеска джаз-клуба, затерянная среди глухих черных фасадов. Некоторые буквы потухли, и название невозможно было прочесть. Я ходила туда однажды в воскресенье вместе с остальными. Мы сидели внизу, в погребке, где играл старый оркестр. Если бы не мы, им, скорее всего, не для кого было бы играть в тот вечер. Около полуночи, когда мы поднялись из погребка вместе с парнем по фамилии Вурлицер, я ощутила вдруг очень остро свое одиночество. Пустынная улица Риволи, январский холод... Он предложил пойти в гостиницу. Я уже знала эту гостиницу с крутой лестницей и сладковатым запахом гнили. Мне пришло в голову, что в подобных гостиницах оказывалась, вероятно, и моя мать такими же воскресными вечерами, когда ей было столько же лет, сколько мне, и ее звали Сюзанна Шовьер. Я не хотела, чтобы все повторилось. И бросилась бежать. Я бежала под аркадами.

***

Я попросила шофера остановиться на бульваре Клиши, возле моей улицы. Пора было прощаться. Я повернулась к аптекарше:

— Спасибо, что вы меня довезли.

Я искала предлог, чтобы ее задержать. В конце концов, время не такое уж позднее. Можно поужинать вместе в кафе на площади Бланш. Но она сама сказала:

— Мне хочется посмотреть, как вы живете.

Мы вылезли из такси, и, сворачивая на улицу Кусту, я вдруг ощутила странную легкость. Впервые я шла по этой улице с кем-то. Вечерами, когда я возвращалась одна и подходила к улице Кусту, мне начинало казаться, будто я из настоящего попадаю куда-то, где время остановилось. И меня охватывал страх, что я не смогу больше пересечь эту границу и снова очутиться на площади Бланш, где жизнь продолжается. Я говорила себе, что навсегда останусь пленницей этой крохотной улицы и этой комнаты, как Спящая красавица. Но сегодня я шла не одна, и все вокруг было просто безобидной декорацией из папье-маше. Мы шли по правой стороне. Теперь уже я сама взяла ее под руку. Она, похоже, нисколько не удивлялась, что ее сюда занесло. Мы миновали длинное здание в начале улицы, потом кабаре с коридором, уходившим в полумрак. Она подняла голову и посмотрела на черную вывеску над дверью: “Небытие”.

— Вы были там?

Я ответила, что нет.

— Вряд ли там очень весело.

Вечерами, по пути домой, я всегда боялась, вдруг меня затянет в этот коридор, засосет, как будто законы земного притяжения там уже не действуют. И я из суеверия старалась ходить по другой стороне улицы. На прошлой неделе мне приснилось, что я вошла в “Небытие”. Темнота. Загорается прожектор, и его абсолютно белый, холодный свет озаряет маленькую сцену и зал, где я сижу за круглым столиком. За другими столиками я вижу неподвижных мужчин и женщин и понимаю, что это мертвецы. Я проснулась в ужасе. Кажется, от собственного крика.

Мы дошли до дома одиннадцать.

— Вы увидите... Тут не очень уютно. Боюсь, у меня беспорядок...

— Какие пустяки...

Кто-то взял меня наконец под защиту. Мне больше не надо ничего бояться или стыдиться. Я шла впереди нее по лестнице, потом по коридору, она ничего не говорила. Просто следовала за мной, совершенно невозмутимо, как будто не в первый раз.

Я открыла дверь и зажгла свет. Слава богу, кровать застелена, а одежда убрана в шкаф. Только мое пальто висело на ручке окна.

Она сразу направилась к окну. И сказала все так же спокойно:

— Тут у вас не слишком шумно?

— Нет-нет.

Внизу лежал перекресток с коротенькой улицей Пюже, по которой я часто ходила напрямик к площади Бланш. Там был бар, "Кантер", с желтым деревянным фасадом. Однажды вечером, очень поздно, я зашла туда купить сигарет. У стойки сидели двое черноволосых парней и женщина. В глубине за столиком несколько человек играли в карты в тяжелом молчании. Мне сказали, что я должна что-нибудь заказать, иначе мне не продадут сигареты, и один из парней заказал для меня стакан виски, который я выпила залпом, чтобы побыстрей с этим покончить. Он спросил, живу ли я с родителями. Какая-то непонятная там была обстановка.

Она прижалась лбом к стеклу. Я сказала, что вид отсюда не ахти. Ее удивило отсутствие ставен и занавесок. Это не мешает мне спать? Нет. Я прекрасно обхожусь без занавесок. Единственное, чего действительно недостает, так это кресла или хотя бы стула. Но до сих пор сюда ко мне ни разу не приходили гости.

Она села на край кровати. Спросила, не лучше ли мне. Да, конечно, намного лучше, чем когда я увидела издали вывеску аптеки. Если бы не этот маяк, не знаю, что бы со мною сталось.

Я хотела предложить ей поужинать вместе в кафе на площади Бланш. Но чтобы пригласить ее, мне не хватало денег. Сейчас она уйдет, и я останусь тут одна. Это было еще страшнее, чем когда я думала, что она высадит меня из такси и уедет.

— А как у вас с работой? Все в порядке?

Может быть, я обольщалась, но, по-моему, она и в самом деле беспокоилась за меня.

— Я работаю с одним моим другом, — ответила я. — Мы переводим передачи иностранных радиостанций.

Как бы отнесся Моро-Бадмаев к такому вранью? Но мне не хотелось сейчас рассказывать про агентство Тейлора, Веру Валадье, ее мужа и дочку. Все это вызывало у меня безотчетный страх.

— Вы знаете много языков?

Я прочла в ее глазах уважение. Как мне хотелось, чтобы моя выдумка оказалась правдой!

— Не столько я, сколько мой друг... Я пока просто студентка, учусь в Школе восточных языков...

Студентка. Это слово всегда меня волновало и звучало как нечто недосягаемое. Полагаю, у Немки не было даже аттестата об окончании средней школы. Она писала с ошибками, которых никто не замечал из-за ее размашистого почерка. Я тоже бросила школу в четырнадцать лет.

— Так вы студентка?

Похоже, она успокоилась на мой счет. Я хотела успокоить ее окончательно. И сказала:

— Это дядя посоветовал мне поступить в Школу восточных языков. Он сам профессор.

Мне представилась квартира в университетском районе, плохо мне знакомом и расположенном, по моим соображениям, вокруг Пантеона. И мой дядя за письменным столом, под лампой, склонившийся над древней книгой.

— Профессор чего?

Она улыбалась. Верила ли она тому, что я наплела?

— Философии.

Я подумала об этом человеке, с которым проводила четверги во времена квартиры у Булонского леса, о моем дяде — как мать его называла — по имени Жан Боран. Мы с ним развлекались, слушая эхо в большом пустом гараже. Он был молодой, с парижским выговором. Водил меня на "Перекресток Стрелков". И на Тронную ярмарку, недалеко от гаража. Всегда носил галстук с булавкой и цепочку на правом запястье — говорил, что это подарок моей матери. Он ее называл "Сюзанна". Он не одобрил бы меня, когда я сказала, будто он профессор философии. Зачем врать? Тем более этой женщине, которая так явно ко мне расположена.

— Ну, не буду мешать вам спать...

— А вы не могли бы остаться у меня ночевать?

Как будто кто-то произнес это за меня. Я сама поразилась. И мне стало стыдно. Но она и бровью не повела.

— Вы боитесь остаться одна?

Она села на кровать рядом со мной. Посмотрела мне прямо в глаза, и этот взгляд, в отличие от взгляда моей матери на картине Толи Сунгурова, был ласковый.

— Хорошо, я останусь, если вам так спокойнее...

И привычным усталым жестом сбросила туфли. Как будто каждый день в это время сбрасывала туфли в этой самой комнате. Она легла на кровать, не снимая пальто. Я продолжала сидеть неподвижно.

— Ложитесь... Вам нужно поспать...

Я легла рядом с ней. Я не знала, что ей сказать, вернее, боялась, что малейшее мое слово может прозвучать фальшиво, и тогда она передумает, встанет и уйдет. Она тоже молчала. Я услышала музыку где-то очень близко, прямо под окнами. Кто-то играл на ксилофоне, извлекая из него чистые, печальные звуки.

— Как вы думаете, это из "Небытия"? — спросила она. И рассмеялась.

Все, что приводило меня в ужас, мучило, внушало мысль, будто надо мной с детства тяготеет проклятие, вдруг показалось нестрашным. Музыкант с тонкими напомаженными усиками стучал молоточками по ксилофону. И мне представилась сцена "Небытия" в абсолютно белом свете прожектора. Человек в форме форейтора щелкает кнутом и объявляет глуховатым голосом:

— А теперь, дамы и господа, Фальшивая Смерть!

Свет почти гаснет. И вдруг во вновь вспыхнувшем луче прожектора появляется женщина в желтом пальто, такая, какой я увидела ее в метро. Она медленно идет к краю сцены. Ксилофонист с напомаженными усиками бешено стучит молоточками. Она поднимает вверх руку, приветствуя публику. Но никакой публики нет. Есть лишь несколько мертвецов за столиками, набальзамированных и недвижных.

— Да, — сказала я. — Скорее всего, из "Небытия".

Она спросила, можно ли потушить лампу, стоявшую с ее стороны на тумбочке.

Неоновая вывеска гаража отбрасывала на стену над нами привычные отсветы. Я закашлялась. Она придвинулась ко мне. Я положила голову ей на плечо. От прикосновения к мягкому, нежному меху тревога и черные мысли отхлынули. Маленькое Чудо, Фальшивая Смерть, Немка, желтое пальто... Вся эта жалкая бутафория относилась к чьей-то чужой жизни. Я отшвырнула ее прочь, как слишком тяжелые доспехи, которые долго и не по своей воле носила и в которых задыхалась. Она коснулась губами моего лба.

— Мне не нравится ваш кашель, — сказала она тихо. — Вы, наверно, простыли в этой комнате.

Так оно и было. Надвигалась зима, а еще не включили центральное отопление.

Она ушла рано утром. В тот день я должна была ехать в Нёйи сидеть с девочкой. Около трех часов я позвонила у дверей дома Валадье. Мне открыла Вера. Она явно удивилась, увидев меня. У нее был такой вид, словно я ее разбудила и она одевалась наспех.

— Я не знала, что вы приходите по четвергам тоже.

А когда я спросила, дома ли малышка, она ответила, что нет. Еще не вернулась из школы. Хотя был четверг и школа не работала. Она объяснила, что пансионерки по четвергам играют днем в школьном дворе и она с ними. Я обратила внимание, что Вера Валадье никогда не называла дочь по имени, как и ее муж. Говорили про нее "она". А когда хотели к ней обратиться, просто спрашивали: "Ты где? Чем ты занята?" Не произнося имени. После стольких лет и я уже не могла бы сказать, как ее звали. Я забыла и теперь сама не уверена, знала ли это когда-нибудь.

Она провела меня в комнату на первом этаже, где месье Валадье обычно говорил по телефону, сидя на краешке стола. Почему она оставила дочку в школе с пансионерками в свободный день? Я не удержалась и задала этот вопрос.

— Но ей нравится играть там по четвергам...

В свое время моя мать тоже говорила нечто подобное, и как правило в тех случаях, когда я бывала в таком отчаянии, что хотелось понюхать эфира.

— Вы можете сходить за ней сейчас... А если нет, то она прекрасно дойдет сама... Извините, ничего, если я покину вас на минутку?

Ее лицо и голос выдавали смятение. Она быстро вышла, оставив меня в комнате без единого стула. У меня возникло искушение сесть, как месье Валадье, на его стол. Массивный письменный стол светлого дерева, с кожаным покрытием и выдвижными ящиками, по два с каждой стороны. Сверху ни одного листочка бумаги, ни одного карандаша. Только телефон. Вероятно, месье Валадье убирал все свои бумаги в ящики. Я не смогла победить любопытство и стала выдвигать ящик за ящиком. Они были пусты, все, кроме последнего, где валялось несколько визитных карточек на имя Мишеля Валадье, но адрес там стоял совсем другой.

С лестницы донесся шум ссоры. Я узнала голос мадам Валадье и была поражена, что она говорит такие грубости, хотя тон ее временами звучал жалобно. Ей отвечал мужчина. Они прошли мимо в дверном проеме. Интонации мадам Валадье смягчились. Теперь они разговаривали в вестибюле, очень тихо. Потом хлопнула входная дверь, и из окна я увидела удаляющегося молодого человека, темноволосого, невысокого, в замшевой куртке и шейном платке. Она вернулась в кабинет.

— Извините, что оставила вас одну...

Она подошла ближе, и я поняла по ее взгляду, что она хочет о чем-то меня попросить.

— Вы не могли бы помочь мне прибрать?

Она повела меня к лестнице, и я поднялась следом за ней на второй этаж. Мы вошли в огромную комнату, в глубине которой стояла очень широкая низкая кровать. И никакой другой мебели. Кровать была не застелена, на ночном столике поднос с двумя фужерами и откупоренной бутылкой шампанского. Пробка лежала посреди комнаты на сером паласе. Сбившееся одеяло свисало на пол в ногах кровати. Простыни были скомканы, подушки раскиданы, среди них валялись чулки, комбинация и мужской шелковый халат темно-синего цвета. На полу пепельница, полная окурков.

Мадам Валадье распахнула оба окна. В комнате стоял тяжелый неприятный запах — смесь курева и духов, запах людей, которые много времени провели в закрытом помещении, лежа в постели.

Она схватила синий халат, сказав:

— Это надо убрать в шкаф к мужу.

Потом вернулась и спросила, не помогу ли я ей застелить постель. Она так порывисто и торопливо расправляла простыни и одеяло, словно боялась быть застигнутой врасплох, я едва поспевала за ней. Она засунула чулки и комбинацию под подушку. Наконец мы натянули покрывало, и взгляд ее упал на поднос.

— Забыла...

Она взяла бутылку с фужерами и открыла стенной шкаф, где стояла обувь. Я никогда не видела столько обуви сразу: лодочки всех цветов, мягкие туфли без каблука, сапоги... Она задвинула бутылку и фужеры в верхнее отделение и закрыла шкаф. Как человек, к которому вот-вот нагрянет полиция и он спешно прячет улики. Остались пепельница и пробка от шампанского. Я подняла их с пола. Она взяла у меня и то и другое и направилась в ванную, оставив дверь открытой. Послышался шум спускаемой воды.

Она странно смотрела на меня. Явно хотела что-то сказать, но не успела. В открытые окна мы услышали шум мотора. Она высунулась. Я стояла прямо у нее за спиной. Внизу месье Валадье вылезал из такси. В руках у него был саквояж и черный кожаный портфель.

Когда мы спустились его встретить, он уже говорил по телефону, сидя на письменном столе, и помахал нам рукой. Потом повесил трубку. Мадам Валадье спросила, как он съездил.

— Не то чтоб очень хорошо, Вера.

Она задумчиво кивнула.

— Но все-таки ты успокоился?

— В целом да, но кое-что меня смущает.

Он повернулся ко мне и улыбнулся.

— У нее нет занятий сегодня?

Он говорил о дочери, но, по моему ощущению, его это совершенно не интересовало, он спрашивал из вежливости по отношению ко мне.

— Я оставила ее в школе с пансионерками, — сказала мадам Валадье.

Месье Валадье снял темно-синее пальто и бросил на саквояж, стоявший на полу у письменного стола. Жена сообщила ему, что я хочу сходить за девочкой в школу.

— Знаете, она прекрасно может и сама дойти...

Голос его звучал мягко, и он продолжал улыбаться. В общем, он смотрел на вещи так же, как его жена.

— Мы собирались поговорить с вами насчет нашей дочери, — сказала мадам Валадье. — Она хочет собаку.

Месье Валадье по-прежнему сидел на столе. Он качал ногой. Интересно, на чем сидели посетители, которых он принимал в этом кабинете? Может, он ставил для них раскладные стулья? Но у меня было впечатление, что сюда никто никогда не приходил.

— Вы должны объяснить ей, что это невозможно, — сказала Вера Валадье.

Ее, совершенно очевидно, приводила в ужас перспектива появления собаки в доме.

— Вы поговорите с ней сейчас?

У нее был такой встревоженный взгляд, что мне ничего не оставалось, как сказать: "Да, мадам".

Она улыбнулась. У нее явно гора свалилась с плеч.

— Я же просила вас не называть меня мадам, а просто Вера.

Она стояла рядом с мужем, опершись на стол.

— И вообще, было бы куда проще, если бы вы звали нас обоих Вера и Мишель.

Ее муж тоже улыбался. Они смотрели на меня оба, еще такие молодые, с гладкими лицами.

Для меня давнее проклятие и мучительные воспоминания были связаны только с одним человеком — моей матерью. А их дочке, похоже, предстоит справляться с двоими, с их улыбками и гладкими лицами, какие с изумлением видишь иногда у преступников, долго остававшихся безнаказанными.

Месье Валадье достал из кармана куртки маленькую сигару и зажег ее зажигалкой. Он сделал затяжку и задумчиво выпустил дым. Потом повернулся ко мне.

— Я очень надеюсь на вас в этом деле с собакой.

***

Я сразу увидела ее. Она сидела на скамейке и читала иллюстрированный журнал. Десятка два девочек постарше рассыпались по двору. Пансионерки. Она не обращала на них ни малейшего внимания, как будто просто сидела и ждала целый день, не понимая, зачем она здесь. Она удивилась, что я появилась так рано.

Мы вышли на улицу Ферм.

— Нам не обязательно идти сразу домой, — сказала она.

Пройдя улицу до конца, мы углубились в ту часть Булонского леса, которая засажена соснами. Странно было гулять ноябрьским вечером под деревьями, напоминающими о лете и море. Мне тоже в ее возрасте не хотелось домой. Да и можно ли назвать домом огромную квартиру, где я оказалась вместе с матерью, не понимая, почему она здесь живет? Первый раз, когда она меня туда привела, я решила, что это квартира ее друзей, и удивилась, что мы остались там вечером вдвоем. "Я покажу тебе твою комнату", — объявила она. И когда я ложилась спать, мне было не по себе. В этой большущей пустой комнате, в слишком широкой для меня кровати, я все ждала, что кто-нибудь войдет и спросит, что я тут де-

лаю. Да, я как будто чувствовала, что мы не по праву занимаем это жилье.

— Ты давно живешь в этом доме? — спросила я девочку.

В начале года она уже жила здесь. Но смутно помнила, где жила раньше. Что меня поразило, когда я впервые попала в дом к Валадье, это пустые комнаты, они сразу вызвали в памяти квартиру, где я жила с матерью в том же возрасте. Помню, в кухне висел на стене щиток с маленькими лампочками и рядом белые таблички, где черными буквами было написано: "Столовая", "Кабинет", "Прихожая", "Гостиная"... И "Детская". Кто эти дети? Они же могли прийти в любую минуту и спросить, почему я расположилась в их комнате.

Темнело, но девочка всячески оттягивала возвращение. Мы довольно далеко ушли от дома ее родителей, да и их ли это дом? Кто еще знал спустя двенадцать лет, что, к примеру, моя мать тоже жила около Булонского леса, на авеню Малакофф? Квартира была не наша. Я потом догадалась, что мать поселилась там в отсутствие настоящих хозяев. Фредерика и кто-то из ее подруг говорили об этом как-то вечером в Фоссомброне, за ужином, а я сидела за столом. Некоторые слова врезаются детям в память, и даже если они не понимают их в тот момент, то поймут через двадцать лет. Это как мины, которых нас учили остерегаться в Фоссомброне. На Поляне боша наверняка осталось несколько штук с войны, и они вполне могут еще взорваться, хотя прошло столько времени.

Еще одна причина для страха. Однако мы все равно бегали на тот пустырь и играли там в прятки. Фредерика ездила в большую квартиру, чтобы, если удастся, забрать какие-то вещи, которые моя мать забыла взять уезжая.

Мы дошли до небольшого пруда, где зимой катаются на коньках. Красивые сумерки. Деревья выделялись на фоне сине-розового неба.

— Говорят, ты хочешь собаку?

Она смутилась, словно я проникла в ее тайну.

— Мне родители сказали.

Она насупилась и надула губы. Потом резко сказала:

— Они не разрешают.

— Я попробую их уговорить. Они наверняка поймут.

Она улыбнулась. Похоже, она мне доверяла. И думала, будто я в силах переубедить Веру и Мишеля Валадье. Но сама я не обольщалась. Эти двое были так же непрошибаемы, как Немка. Я сразу почувствовала. По Вериному лицу все было ясно с первого взгляда. Она жила под чужим именем. Его тоже, я уверена, звали не Мишель Валадье. И наверняка он уже не раз менял имена. А на его визитной карточке указан другой адрес. Не исключено, что он еще более хитрый и опасный человек, чем его жена.

Пора было все-таки возвращаться, и я пожалела, что дала девочке обещание заведомо невыполнимое. Мы шли по дорожкам для верховой езды к Ботаническому саду. Я твердо знала, что Вера и Мишель Валадье не дрогнут.

Дверь открыл Мишель. И, не говоря ни слова, вернулся в кабинет на первом этаже. Я услышала истерические крики. Мадам Валадье, Вера, почти визжала, но слов я разобрать не могла. Их голоса сливались, оба силились перекричать друг друга. Девочка застыла, широко раскрыв глаза. Ей было страшно, но я догадывалась, что для нее это страх привычный. Она неподвижно стояла в вестибюле, буквально замерев на ме-

сте, и мне, конечно, следовало поскорее увести ее куда-нибудь. Но куда? Потом мадам Валадье вышла из кабинета спокойная и спросила:

— Хорошо погуляли?

Сейчас она опять была похожа на таинственных холодных блондинок из старых американских фильмов. Следом появился месье Валадье. Тоже совершенно спокойный. На нем был элегантный костюм, а на щеке несколько длинных царапин, явно следы ногтей. Чьих? Веры Валадье? Они у нее длинные. Оба стояли в дверном проеме рядышком, с гладкими лицами убийц, безнаказанных по причине отсутствия улик. Казалось, они позируют, но не для полицейского фотографа, а для того, который на званых вечерах снимает входящих в зал гостей.

— Мадемуазель объяснила тебе все насчет собаки? — спросила Вера Валадье сдержанным светским тоном, совсем не тем, каким разговаривают на улице Дуэ, где, по ее словам, она жила в детстве. Под другим именем. — Собаки ужасно милые... Но от них столько грязи.

А Мишель Валадье добавил с той же интонацией, что его жена:

— Мама права... Брать в дом собаку действительно неразумно.

— Вот вырастешь и заводи себе собак сколько хочешь... Но не здесь и не теперь.

Голос Веры Валадье изменился. В нем слышалась какая-то горечь. Наверно, она подумала о том времени — годы летят быстро, — когда ее дочь вырастет, а она, Вера, будет навеки обречена бродить по переходам метро в желтом пальто.

Девочка не отвечала. Она лишь смотрела на них широко раскрытыми глазами.

— От собак можно подцепить всякую заразу, понимаешь? — сказал месье Валадье. — И потом, они кусаются.

Глаза у него теперь бегали, и он говорил торопливо, как уличный торговец-нелегал заметивший вдали полицейского.

Я с трудом промолчала. Меня подмывало встать на защиту малышки, но я боялась, что дело опять дойдет до крика и она испугается. Но все-таки я не удержалась и, глядя прямо в глаза Мишелю Валадье, сказала:

— Вы поранились, месье?

И провела пальцем по своей щеке в том месте, где у него были царапины.

— Нет... С чего вы взяли?

— Надо обязательно продезинфицировать... Это как собачий укус... Можно заразиться бешенством...

Было видно, что он опешил. Вера тоже. Они смотрели на меня с опаской. В беспощадном свете люстры они выглядели просто сомнительной парочкой, попавшейся во время облавы.

— По-моему, мы опаздываем, — обратилась Вера к мужу.

Голос ее опять звучал холодно. Мишель Валадье посмотрел на ручные часы и все с той же деланной непринужденностью ответил:

— Да, пора идти...

Она сказала дочери:

— Для тебя есть ветчина в холодильнике. Сегодня мы, наверно, вернемся не поздно...

Девочка потихоньку перебралась поближе ко мне. Она вцепилась в мою руку, как человек, который хочет, чтобы ему помогли идти в темноте.

— Вам лучше уйти, — сказала Вера Валадье. — Она должна научиться оставаться одна.

Она взяла дочь за руку и потянула к себе.

— Мадемуазель уходит. Поужинай и ложись спать.

Девочка опять посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, которые, казалось, уже ничему не удивлялись. Мишель Валадье шагнул вперед, и она стояла теперь между обоими родителями.

— До завтра, — сказала я ей.

— До завтра.

Похоже, она не очень-то в это верила.

***

Оказавшись на улице, я села на скамейку в аллее возле Ботанического сада. Я сама не знала, чего дожидаюсь. Вскоре вышли месье и мадам Валадье. Она в шубе, он в темно-синем пальто. Оба держались на расстоянии друг от друга. Дойдя до черной машины, она села назад, а он за руль, как будто был ее шофером. Машина скрылась в направлении авеню Мадрид, и я подумала, что никогда ничего не узнаю об этих людях — ни их настоящих имен, ни фамилий, ни причин беспокойства, сквозившего порой во взгляде мадам Валадье, или отсутствия стульев в кабинете месье Валадье, на чьей визитной карточке стоял чужой адрес. А девочка? Она-то загадки для меня не представляла. Я догадывалась, что она чувствует. Я была в детстве примерно такой же.

На втором этаже, в ее комнате, зажегся свет. Очень хотелось подняться и побыть с ней. Мне показалось, что в окне промелькнула ее тень. Но я не стала звонить в дверь. Мне самой было тогда так плохо, что не хватало сил помогать кому-то еще. А потом, эта история с собакой напомнила мне один эпизод моего детства.

Я направилась к Порт-Майо, с облегчением удаляясь от Булонского леса. Днем там было еще ничего, возле пруда-катка, вместе с девочкой. Но сейчас, в темноте, меня охватило ощущение пустоты, куда более страшное, чем на тротуаре улицы Кусту, у входа в "Небытие".

Справа начинался Булонский лес. Когда-то давно, ноябрьским вечером, там потерялась собака, и это будет мучить меня всю жизнь, в самые неожиданные моменты. Бессонными ночами и в дни одиночества. Но и летними днями тоже. Надо было объяснить девочке, что все эти истории с собаками совсем небезобидны.

Когда я сегодня вошла во двор и увидела ее на скамейке, я вспомнила другой школьный двор. Мне было столько же лет, сколько ей, и в том дворе тоже играли пансионерки постарше. Их обязывали заботиться о нас. По утрам они помогали нам одеваться, а вечером мыться и ложиться спать. Штопали нашу одежду. Мою старшую звали, как и меня, Тереза. Брюнетка с голубыми глазами и татуировкой у плеча. В моих воспоминаниях она чем-то похожа на аптекаршу. Другие пансионерки и даже монашки побаивались ее, но со мной она всегда была ласкова. Она воровала черный шоколад из кухонных запасов и приносила мне вечером в дортуар. Днем иногда водила меня в прачечную возле часовни, где старшие учились гладить.

Однажды за мной приехала мать. Она велела мне сесть в машину. Я села вперед, рядом с ней. Кажется, она тогда сказала, что я больше не вернусь в пансион. На заднем сиденье я увидела собаку. Машина стояла почти в том же месте, где меня незадолго до этого сбил пикап. Пансион, видимо, находился где-то недалеко от Лионского вокзала. Потому что,

когда Жан Боран по воскресеньям встречал меня у ворот, мы потом шли к нему в гараж пешком. И в тот день, когда появилась мать с собакой, мы тоже проехали мимо Лионского вокзала. Улицы в Париже были тогда совсем пустые, и мне казалось, что на автомобиле едем мы одни.

Именно в тот день я первый раз пришла с ней в большую квартиру, и она показала мне МОЮ КОМНАТУ. Раньше, в тех редких случаях, когда Жан Боран водил меня повидаться с ней, мы доезжали с ним на метро до площади Звезды, где она еще жила в гостинице. Комната у нее была даже меньше, чем у меня на улице Кусту. Я нашла в железной коробке телеграмму на ее настоящее имя и на адрес этой гостиницы: Сюзанне Шовьер, гостиница "Сан-Ремо", улица Армайе, 8. Всякий раз я испытывала облегчение, обнаруживая адреса тех мест, о которых у меня остались смутные воспоминания, но которые постоянно всплывали в моих ночных кошмарах. Если бы я знала точно, где они находятся, и могла снова посмотреть хотя бы на фасады, уверена, это прекратилось бы.

Собака. Черный пудель. С первого дня он спал у меня в комнате. Мать никогда о нем не заботилась, да и вообще, как я теперь понимаю, не способна была заботиться ни о ком — ни о собаке, ни о ребенке. Скорее всего, ей кто-то этого пуделя подарил. Он был для нее просто игрушкой и очень быстро наскучил. До сих пор для меня загадка, каким чудом мы оба, пудель и я, очутились у нее в автомобиле. Вероятно, когда она поселилась в большой квартире и стала именоваться графиней Ольгой О'Дойе, ей понадобились собака и маленькая дочка.

Я гуляла с собакой около дома, вдоль всей улицы. До площади Порт-Майо и обратно. Не помню уже, как звали собаку. Мать не дала ей никакой клички. Это все происходило в самом начале нашей жизни в большой квартире. Меня еще не отдали в частную школу Сент-Андре, и я еще не была Маленьким Чудом. Жан Боран приезжал за мной каждый четверг и забирал на целый день к себе в гараж. Пуделя я брала с собой. Я догадывалась, что мать забудет его покормить. Я сама готовила ему еду. Когда Жан Боран приезжал за мной, мы спускались в метро вместе с собакой, потихоньку. От Лионского вокзала шли до гаража пешком. Однажды я хотела снять с пуделя поводок. Он не мог попасть под машину, потому что машин на улицах не было. Но Жан Боран сказал, чтоб я этого не делала. Ведь меня саму чуть не задавил пикап около школы.

Мать отдала меня в частную школу Сент-Андре. Я ходила туда каждое утро и возвращалась вечером, в шесть часов. К несчастью, я не могла брать с собой собаку. Школа была рядом с домом, на улице Перголези. Я нашла точный адрес на листке бумаги в ежедневнике матери: школа Сент-Андре, ул. Перголези, 58. Кто порекомендовал ей отдать меня туда? Я проводила там целый день.

Однажды вечером, когда я вернулась, пуделя дома не оказалось. Я решила, что мать с ним вышла. Она мне обещала его выгуливать и кормить. На всякий случай я просила о том же самом повара-китайца, который готовил нам еду и по утрам приносил матери завтрак в спальню. Она вернулась чуть позже, без пуделя. И сказала, что потеряла его в Булонском лесу. Поводок лежал у нее в сумке, и она показала его мне как доказательство того, что это все правда. Она говорила совершенно спокойно. И нисколько не выглядела огорченной. Как будто ничего особенного не произошло. "Надо завтра дать объявление, и, может быть, нам его приведут". Она пошла за мной ко мне в комнату. Но тон у нее был такой безмятежный, такой равнодушный, что я почувствовала:

она думает о другом. Одна я думала о собаке. Никто нам ее не привел. Мне стало страшно тушить свет в своей комнате. Я ведь отвыкла оставаться одна по ночам, потому что со мной спал пудель, и теперь это было еще хуже, чем в пансионе. Я представляла себе, как он бродит в темноте посреди Булонского леса. В тот вечер мать собиралась в гости, и я до сих пор помню, в каком она была платье. Голубом, с газовой накидкой. Это платье долго снилось мне в кошмарных снах, и всякий раз оно оказывалось надето на скелет.

Я оставила свет на всю ночь и оставляла на следующие ночи. Мне все время было страшно. Я думала, что вслед за собакой придет и моя очередь.

Странные мысли бродили у меня в голове, очень смутные, понадобилось двенадцать лет, чтобы они прояснились и я смогла выразить их словами. Однажды утром, незадолго до того, как я встретила в метро эту женщину в желтом пальто, я проснулась, повторяя про себя фразу из тех, что кажутся несуразицей, ибо выхвачены из последних обрывков забытого сна: НАДО УБИТЬ НЕМКУ, ЧТОБ ОТОМСТИТЬ ЗА СОБАКУ.

Около семи вечера я вернулась в свою комнату на улице Кусту и почувствовала, что не в силах ждать до среды возвращения аптекарши. Она уехала куда-то в провинцию на два дня. Но оставила мне номер телефона на случай, если вдруг понадобится: 225, в Бар-сюр-Об.

В подвале кафе на площади Бланш я попросила гардеробщицу соединить меня с номером 225 в Бар-сюр-Об. Но когда она уже сняла трубку, я сказала: “Не надо”. Мне показалось неудобным надоедать аптекарше. Я взяла жетон, вошла в кабину и в конце концов набрала номер Моро-Бадмаева. Он слушал передачу, однако пригласил меня к себе. Мне стало легче, оттого что кто-то готов провести со мной вечер. Я не решалась ехать на метро до “Порт-д’Орлеан”. Меня пугала пересадка на станции “Монпарнас-Бьенвеню”. Коридор такой же длинный, как на “Шатле”, и без движущейся дорожки. У меня хватало денег на такси. Как только я села в первую же машину из цепочки, ждавшей перед “Мулен-Ружем”, я вдруг успокоилась, как в тот вечер, с аптекаршей.

***

Горел зеленый огонек приемника, Моро-Бадмаев сидел, опершись спиной о стену, и писал в блокноте с отрывными листами, слушая какого-то мужчину, который что-то говорил металлическим голосом на непонятном языке. На сей раз, сказал Моро-Бадмаев, нет нужды стенографировать. Он и так успевал записывать — мужчина говорил очень медленно. Сегодня он занимался этим для собственного удовольствия, а не для работы. Это был вечер поэзии. Его передавали откуда-то издалека, и голос время от времени заглушали помехи. Мужчина умолк, и кто-то заиграл на арфе. Бадмаев протянул мне листок, который я бережно храню до сих пор:

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen

Én még öszinte ember voltam,
orditottam toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra
Engem vigyen föl a padlásra[1].

Он перевел мне это стихотворение, но я не помню, о чем оно и на каком языке. Потом сделал радио потише, но зеленый огонек все равно горел.

— Мне кажется, вам не по себе.

Он посмотрел на меня так внимательно, что я расслабилась, как с аптекаршей. Мне захотелось все ему рассказать. И я рассказала про то, как мы гуляли с девочкой в Булонском лесу, про Веру и Мишеля Валадье, про возвращение на улицу Кусту. И про пуделя, который пропал навсегда почти двенадцать лет назад. Он спросил, какого цвета был пудель.

— Черный.

— А потом вы говорили об этом с матерью?

— Я больше не видела ее с того времени. Я считала, что она умерла в Марокко.

Я уже готова была рассказать ему про женщину в желтом пальто, про большой кирпичный дом в Венсене и про дверь Фальшивой Смерти, куда я так и не решилась постучать.

— У меня было странное детство...

Целый день он слушал радио и записывал в блокнот. Может же он теперь послушать меня.

— Когда мне было семь лет, меня звали Маленькое Чудо.

Он улыбнулся. Решил, конечно, что это очень милое, нежное прозвище для маленькой девочки. Его тоже, я уверена, мама называла всякими ласковыми именами, заходя поцеловать перед сном. Пушистик. Мышонок. Чижик.

— Это не то, что вы думаете, — сказала я. — У меня это был сценический псевдоним.

Он сдвинул брови. Он не понял. В тот год моя мать тоже взяла псевдоним: Ольга О'Дойе. Она отказалась через какое-то время от своего фальшивого дворянства, но медная табличка с надписью ГРАФИНЯ ОЛЬГА О'ДОЙЕ так и осталась висеть на двери квартиры.

— Сценический псевдоним?

Я задумалась, стоит ли рассказывать ему все с самого начала. Про приезд матери в Париж, про балетную школу, гостиницу на улице Кусту, потом на улице Армайе, да и мои собственные первые воспоминания: пансион, пикап, эфир — из того времени, когда меня еще не звали Маленькое Чудо. Раз уж я открыла ему свой псевдоним, лучше придерживаться периода, когда мы стали жить вместе, мать и я, в большой квартире. Мало ей было собаки, потерянной в Булонском лесу. Ей понадобилось еще одно маленькое чудо, которое можно выставлять напоказ, поэтому, наверно, она и придумала так меня называть.

Он молчал. Может, почувствовал, что мне расхотелось объяснять или что я потеряла нить своих приключений. Я не решалась на него взглянуть. И неотрывно смотрела на зеленый огонек приемника, флюоресцирующее зеленое пятнышко, которое меня успокаивало.

— Надо показать вам фотографии... Вы поймете...

1. Первые строфы стихотворения венгерского поэта Аттилы Йожефа (1905—1037) "Мама". (*Прим. ред.*)

И я попыталась описать ему эти снимки, сделанные в один и тот же день: две артистки, Ольга О'Дойе и Маленькое Чудо, сфотографировались для съемок фильма, где моей матери предложили роль — ей, которая никогда не была актрисой. Предложили почему? И кто? Она пожелала, чтобы я сыграла в фильме ее дочь. Ее собственная роль не была главной, тем не менее она настояла, чтобы я находилась при ней. Вместо собаки. Надолго ли?

— А как назывался фильм?

— "Перекресток Стрелков".

Я произнесла это не задумываясь, как нечто заученное в детстве — молитву или слова песенки, которые знаешь от начала до конца, но смысла не понимаешь.

— Вы помните съемки?

Я пришла очень рано утром в какой-то огромный ангар. Меня привез Жан Боран. Потом днем, когда я освободилась и мне разрешили уйти, он повел меня в парк Бют-Шомон, неподалеку оттуда. Было лето и очень жарко. Я сыграла свою роль и не должна была больше возвращаться в ангар. Они попросили меня лечь на кровать, потом вскочить и сказать: "Мне страшно". Очень просто. В другой день велели, лежа на кровати, листать альбом с картинками. Потом в комнату входила моя мать в голубом воздушном платье — том самом, в котором она отправилась в гости, потеряв собаку. Она садилась ко мне на постель и долго смотрела на меня большими грустными глазами. Потом гладила меня по щеке, наклонялась и целовала, и все это мы повторяли много-много раз. В обычной жизни она никогда не бывала такой ласковой.

Он внимательно меня слушал. Потом что-то записал в блокнот. Я спросила что.

— Название фильма. Забавно было бы теперь его посмотреть, правда?

За двенадцать лет мне ни разу даже в голову не пришло посмотреть этот фильм. Для меня он как будто не существовал. Я никому о нем не рассказывала.

— Вы думаете, его можно посмотреть?

— Я попрошу приятеля, он работает в фильмотеке.

Мне стало страшно. Я почувствовала себя преступницей, успевшей позабыть про свое преступление, но вдруг оказалось, что где-то существуют улики. Преступница живет под чужим именем и так переменилась внешне, что узнать ее уже невозможно. Если б меня кто-нибудь спросил: "Вас случайно не звали когда-то Маленькое Чудо?", я бы ответила нет и для меня в этом не было бы обмана. В тот июльский день, когда мать отвезла меня на Аустерлицкий вокзал и надела мне на шею картонку с надписью: "Тереза Шовьер. Фоссомброн-ла-Форе, улица Шмен дю Брео, дом мадам Шатийон", я поняла, что про Маленькое Чудо лучше забыть. К тому же мать строго-настрого наказала мне ни с кем в дороге не разговаривать и никому не говорить, где я жила в Париже. Я просто пансионерка, возвращаюсь домой на каникулы в Фоссомброн-ла-Форе, на улицу Шмен дю Брео. Поезд тронулся. Было очень много народу. Я стояла в коридоре. Хорошо, что у меня на шее висела табличка, иначе я затерялась бы среди всех этих людей. Забыла бы свое имя.

— Пожалуй, мне не очень хочется смотреть этот фильм, — сказала я.

Недавно в кафе на площади Бланш от какой-то женщины за соседним столиком я услышала выражение, которое заставило меня содрогнуться: "Скелет в шкафу". Мне хотелось спросить у Моро-Бадмаева, не портится ли от времени кинопленка, может быть, она тоже подвержена

тлению, как мертвецы. Тогда лица Ольги О'Дойе и Маленького Чуда оказались бы изъедены цвелью и голоса их стали бы неслышны.

***

Он сказал, что я очень бледная, и предложил поужинать вместе где-нибудь поблизости.

Мы дошли по левой стороне бульвара Журдан до какого-то большого кафе. Он выбрал столик на застекленной террасе.

— Видите, мы находимся прямо напротив Университетского городка.

Он указал на большой дом по другую сторону бульвара, похожий на замок.

— Студенты, которые там живут, приходят сюда, и, поскольку все они говорят на разных языках, кафе назвали "Вавилон".

Я огляделась. Было уже поздно и совсем мало народу.

— Я часто сижу здесь и слушаю, как они болтают на своих языках. Отличная тренировка. Попадаются даже студенты из Ирана, но, увы, никто из них не говорит на степном фарси.

Кухня уже не работала, и он заказал два сандвича.

— Что вы будете пить?

— Стакан виски, чистого.

Примерно в этот же час я зашла тогда ночью за сигаретами в бар "Кантер" на улице Пюже. И сейчас вспомнила, как мне было хорошо, когда я выпила виски. Я свободно дышала, тревога отпустила меня, исчезла гнетущая тяжесть в груди. Мне стало почти так же легко, как в детстве от эфира.

— Вы, наверно, получили прекрасное образование.

Я вдруг испугалась, не прозвучал ли в моем голосе оттенок зависти или горечи.

— Только аттестат и Школа восточных языков...

— Как вы думаете, я могла бы записаться в Школу восточных языков?

— Конечно.

Значит, я не совсем уж и наврала аптекарше.

— У вас есть аттестат?

Я хотела сначала ответить да, но это было бы слишком глупо — опять врать, особенно теперь, когда я столько рассказала ему.

— Нет, к сожалению.

Наверно, у меня был такой пристыженный и опечаленный вид, что он, пожав плечами, сказал:

— Ничего страшного, подумаешь! Есть масса прекрасных людей без всякого аттестата.

Я стала припоминать, в каких школах я училась. Сначала пансион, с пяти лет, где нас опекали старшие девочки. Интересно, что сталось с Терезой? У нее хоть была примета, по которой я смогла бы ее узнать: татуировка на плече. Она говорила, что это морская звезда. Потом школа Сент-Андре, во времена большой квартиры, когда я снова начала жить с матерью. Но очень скоро она дала мне это имя, Маленькое Чудо, и потребовала, чтобы я снималась вместе с ней в "Перекрестке Стрелков". Со школой Сент-Андре было покончено. Еще помню молодого человека, очень недолго служившего моим гувернером. Возможно, мать нашла

его через агентство Тейлора и через этого рыжего господина, который послал меня к Валадье. В Париже тогда стояла очень снежная зима, и он водил меня кататься на санках в парк на Трокадеро.

— У вас нет аппетита?

Я только что отхлебнула глоток виски, и он смотрел на меня с беспокойством. Я не прикоснулась к сандвичу.

— Наверно, стоит все-таки что-то съесть...

Я заставила себя откусить кусочек, но проглотила с большим трудом. Потом отпила еще виски. У меня не было привычки к спиртному. Я чувствовала горечь во рту, но постепенно виски начинало действовать.

— Часто вы пьете что-то подобное?

— Нет. Только сегодня, так легче рассказывать...

Обязательно покажу ему фотографию из "Перекрестка Стрелков", которую я засунула на самое дно железной коробки. Чтобы пореже попадалась на глаза. Я там в ночной рубашке, с широко раскрытыми глазами, в руке у меня электрический фонарик, и я брожу по коридорам замка. Я выбежала из своей комнаты, испугавшись грозы.

— Мне непонятна одна вещь. Почему ваша мать вас бросила и уехала в Марокко?

Странное ощущение, когда вам задают вопрос, который до сих пор только вы сами себе задавали... В доме в Фоссомброн-ла-Форре я ловила иногда обрывки разговоров между Фредерикой и ее приятельницами. Они думали, я не слышу или слишком мала, чтобы понять. Некоторые фразы засели у меня в голове. Однажды та брюнетка, которая знала мою мать в юности и не любила ее, сказала: "Счастье для Ольги, что она успела вовремя уехать из Парижа..." Мне было лет тринадцать, и это прозвучало для меня загадкой, но я не отважилась расспрашивать Фредерику.

— Точно не знаю, — ответила я. — Кажется, она уехала с мужчиной.

Да, какой-то мужчина увез ее или ждал там и просил приехать. Жан Боран? Вряд ли. Он захотел бы взять с собой и меня. Как-то вечером, в отсутствие Фредерики, они опять говорили о моей матери, и брюнетка сказала: "Вокруг Ольги вертелись весьма сомнительные мужики". Один из этих "мужиков" заплатил — как она утверждала, — "чтобы Ольга снялась в кино". Я догадалась, что речь о "Перекрестке Стрелков".

Как-то летом мы отправились гулять в лес с Фредерикой. Надо было дойти до конца улицы Шмен дю Брео, и там начинался лес. Я спросила, как получилось, что моя мать вдруг переехала в большую квартиру. Она познакомилась с одним человеком, и он поселил ее туда. Но как его звали, никто не знал. Это наверняка он увез ее в Марокко. Потом в моем воображении часто возникал мужчина без лица, несущий чемоданы под покровом ночи. Встречи в гостиничных холлах, на вокзальных перронах, и всегда в тусклом синеватом свете дежурной лампы. Фургоны, которые загружают в пустых гаражах вроде того, что был у Жана Борана, рядом с Лионским вокзалом. И запах прелой листвы и гнили, запах Булонского леса в тот вечер, когда она потеряла собаку.

***

Было, наверно, совсем поздно, поскольку к нам подошел официант и объявил, что кафе закрывается.

— Хотите, зайдем ко мне? — спросил Моро-Бадмаев.

Он прочел мои мысли. От страха, что сейчас я останусь одна, теперь уже на Порт-д'Орлеан, мне опять не хватало воздуха.

В квартире он предложил выпить чего-нибудь горячего. Я слышала, как он открывает и закрывает буфет на кухне, кипятит воду. Звякнула кастрюлька. Прилечь бы ненадолго, и мне стало бы лучше. Лампочка на штативе светила теплым неярким светом. Хотелось включить приемник, увидеть зеленый огонек. Я уже лежала, положив голову на подушку — более мягкую, чем та, к которой я привыкла на улице Кусту, — и у меня было ощущение, будто с меня сняли стальной корсет или гипс, сдавливавший грудь. Хорошо бы пролежать так целый день, где-нибудь далеко от Парижа, на юге Франции или в Риме, и чтоб сквозь решетчатые ставни проникали солнечные лучи... Он вошел с подносом. Я приподнялась. Мне было неловко. Он сказал: "Нет-нет, что вы, лежите" — и поставил поднос на пол перед матрасом.

Потом принес чашку. Подтянул мне под спину подушку и прислонил ее к стене, чтобы я могла на нее откинуться.

— Вы не хотите снять пальто?

Я даже забыла, что я в пальто. И в сапогах. Я поставила чашку на пол около себя. Он помог мне снять пальто и сапоги. Когда он стянул сапоги, я испытала настоящее блаженство, словно с меня сняли кандалы, какими сковывают щиколотки каторжникам и приговоренным к смерти. Я вспомнила щиколотки матери, которые должна была массировать и из-за которых ей пришлось бросить балет. Вся ее загубленная жизнь, все несчастья сосредоточились в щиколотках, и наверняка оттуда по всему телу расходилась волнами пульсирующая боль. Теперь я понимала мать лучше. Он снова подал мне чашку.

— Жасминовый чай. Надеюсь, вам понравится.

Наверно, я и правда ужасно выглядела, раз он так заботливо и тихо со мной разговаривал, почти шепотом. Я чуть не спросила, не больной ли у меня вид, но раздумала. Лучше не знать.

— Мне кажется, воспоминания детства не дают вам покоя, — сказал он.

Все началось, когда я увидела в метро женщину в желтом пальто. Прежде я почти не думала об этом.

Я отхлебнула чаю. Он был не такой горький, как виски.

Бадмаев открыл блокнот.

— Вы можете мне довериться. Я все понимаю, даже чужие языки, а ваш для меня совсем не чужой.

Он был, похоже, взволнован этим признанием. И я тоже была слегка взволнована.

— Как я понял, вы так и не узнали, кто снимал для вашей матери эту большую квартиру...

Помню, в гостиной был встроенный шкаф, в том месте, где ступеньки образовывали подобие эстрады. Мать открывала дверцу в стене и вынимала пачки денег. Я даже видела, как она однажды дала такую пачку Жану Борану, когда он зашел за мной в какой-то из четвергов. Судя по всему, сокровищница не истощалась до самого конца, до того дня, когда она отвезла меня на Аустерлицкий вокзал. И даже в тот день, перед тем как посадить меня в поезд, она сунула мне в чемодан конверт, где лежало несколько таких пачек: "Отдай это Фредерике, чтобы она позаботилась о тебе..." Я задумывалась потом не раз, откуда брались эти деньги. От того же самого человека, который снял квартиру? И чье имя осталось никому не известным? Как и лицо. Сколько я ни рылась в па-

мяти, я не помнила, чтобы какой-нибудь мужчина регулярно у нас бывал. И это точно не Жан Боран, потому что она сама давала ему деньги. В сущности, не исключено, что тот человек — мой отец. Но он не хотел показываться, хотел остаться неизвестным отцом. Он приходил, скорее всего, очень поздно, часа в три ночи, когда я спала. Часто, просыпаясь, я слышала в квартире чьи-то голоса. Моя комната находилась довольно близко от комнаты матери. Спустя двенадцать лет мне было интересно, что она испытывала в первый вечер, оказавшись в такой квартире после гостиничного номера на улице Армайе. Ощущение взятого у жизни реванша? У нее не вышло стать звездой балета, но теперь она под новым именем собиралась сниматься в кино и хотела иметь меня при себе, как дрессированную собачку. И за этот фильм, как я поняла в Фоссомброне, слушая их разговоры, тоже заплатил тот человек, чьего имени я не знала.

— Извините... Если вы не против...

Он встал, наклонился над приемником, повернул ручку. Зажегся зеленый огонек.

— Я должен сегодня ночью слушать передачу... Для работы... Но я не знаю точно, во сколько она начинается...

Он медленно крутил ручку, словно нужную станцию было очень трудно поймать. Кто-то говорил на незнакомом языке с гортанными звуками, делая длинные паузы.

— Вот... поймал...

После каждой фразы он что-то записывал в блокноте.

— Это программа ночных передач... Та, что мне нужна, будет не сейчас...

Я обрадовалась зеленому огоньку. Не знаю почему, он действовал на меня умиротворяюще, как зажженная лампа в коридоре около детской. Если дети проснутся среди ночи, то в приоткрытую дверь увидят свет...

— Ничего, если я оставлю радио? На всякий случай, чтобы не пропустить передачу...

Теперь там играла музыка, похожая на ту, что я слышала ночью на улице Кусту, с аптекаршей. Чистая и отрывистая мелодия, как будто сомнамбула идет ночью по пустынной площади или дует ветер на морской набережной в ноябре.

— Вам музыка не мешает?

— Нет.

Если бы я слушала ее одна, она вогнала бы меня в тоску, но с ним я ничего такого не чувствовала. Наоборот, она, скорее, успокаивала меня, эта музыка.

— А вы еще помните адрес большой квартиры?

На обложке записной книжки в графе, где было напечатано: "В случае угери вернуть...", я узнала ее размашистый почерк: "Графине Ольге О'Дойе, Отей 15-28".

— Я помню даже телефон, — сказала я.

Столько раз я набирала его в кафе... Кто-то из завсегдатаев даже назвал меня "малышкой из 129-го"... Это бывало обычно под вечер, когда я приходила из школы и никто мне не открывал. Ни мать, ни повар-китаец, ни его жена. Повар возвращался часам к семи, а графиня Ольга О'Дойе могла не вернуться до утра. И каждый раз я успокаивала себя тем, что она, наверно, не слышит дверного звонка. Но обязательно услышит телефон. Отей 15-28.

— Можно попробовать набрать номер, — сказал Моро-Бадмаев с улыбкой.

За двенадцать лет у меня ни разу не возникало мысли это сделать. В Фоссомброне, когда Фредерика кому-то сказала, что ездила на авеню Малакофф за вещами, оставленными моей матерью, я подумала: за какими вещами? За картиной Толи Сунгурова? Но она объяснила мне, что не смогла войти. Квартиру опечатали. Да, на двери были красные сургучные печати. В ту ночь мне снилось, что у матери на плече красное клеймо, выжженное раскаленным железом.

— Вы сказали "Отей 15-28"?

Он взял телефон около ночного столика, поставил на кровать. Передал мне наушник и набрал номер. Во времена большой квартиры мне с трудом удавалось дотянуться, чтобы разглядеть буквы и цифры на телефонном диске в кафе.

Долго шли гудки. У них был странный звук, далекий, глуховатый. Кто жил теперь в этой квартире? Настоящие владельцы, конечно. Настоящие дети — те, с таблички на кухне, — снова поселились в своей детской, которую я незаконно занимала два года. А в комнате, где спала моя мать, теперь спали настоящие родители.

— Похоже, никого нет, — сказал Моро-Бадмаев.

Я продолжала держать наушник. В конце концов сработало соединение, но никто не ответил. Голоса, голоса — близкие, далекие, мужские, женские. Они звали друг друга и пытались отвечать, наугад. Иногда я отчетливо слышала, как двое говорят между собой, и их разговор заглушал все остальные звуки.

— Номер никому не принадлежит. Люди пользуются им, чтобы знакомиться, назначать свидания. Это называется "Сеть".

А вдруг это голоса людей из записной книжки матери, тех, чьи телефоны больше не отвечают? Был еще слышен какой-то шорох — ветер в летней листве на авеню Малакофф. И я подумала, что после нашего отъезда в квартире никто больше не живет, только привидения и эти голоса. Окна остались открыты настежь, поэтому и слышен ветер. Электричество отключено, как в ночь, когда я испугалась бомбежки и прибежала к матери в гостиную. Она зажгла свечи.

К ней редко приходили гости. Две женщины бывали почаще: толстуха Мадлен-Луи и Симона Букро. Потом я снова увидела их в доме у Фредерики, в Фоссомброн-ла-Форе, но они избегали меня и явно не хотели говорить со мной о матери. Возможно, чувствовали за собой какую-то вину.

Симона Букро, блондинка с маленькой головой и личиком мумии, поражала меня своей худобой. Брюнетка как-то сказала, что Симона лечилась от наркозависимости. И еще, думая, что я поднялась к себе в комнату: "Это Симона снабжала бедную Ольгу..." Я записала ее слова на листочке бумаги. Сколько же я, начиная лет с четырнадцати, подслушала их разговоров, чтобы разобраться... Я спросила у Фредерики, что это значит. "Твоя мать принимала иногда морфий после своего несчастного случая". Я не поняла, что за несчастный случай она имеет в виду. Щиколотки? Говорят, морфий хорошо снимает боль.

Я все еще держала наушник. Голоса заглушал шум ветра в листве. Я представила себе, как от этого ветра хлопают двери и окна и в квартиру влетают охапки опавших листьев, ложась на паркет и на покрытые плюшем ступеньки. Плюш наверняка сгнил и превратился в мох, оконные стекла разбились. Сотни кошек бродят по комнатам. И черные собаки, как та, которую она потеряла в Булонском лесу.

— Вы узнали чей-то голос? — спросил Моро-Бадмаев. Он положил трубку на кровать и улыбался мне.

— Нет.

Я опустила трубку на рычаг и поставила телефон на пол.

— Мне страшно возвращаться одной, — сказала я.

— Но вы же можете остаться здесь! — Он тряхнул головой, как будто это было что-то само собой разумеющееся. — А сейчас мне надо поработать... надеюсь, радио не будет вас беспокоить...

Он вышел из комнаты, потом вернулся, неся старый абажур, и кое-как укрепил его на штативе. Свет лампочки стал еще слабее. Потом сел на край матраса, у приемника. И положил блокнот с отрывными листами на колени.

— Свет не слишком яркий?

Я ответила, что нет, все хорошо.

Я легла на другую половину постели, куда свет не падал. По радио говорил все тот же голос, с теми же гортанными звуками. С такими же паузами между фразами. Моро-Бадмаев слушал и делал записи в блокноте. Я не могла отвести глаз от зеленого огонька и незаметно заснула.

В среду аптекарша вернулась из Бар-сюр-Об. Я позвонила ей, она сказала, что может встретиться со мной вечером. И предложила приехать куда-нибудь в ее квартал, но мне было страшно входить в метро и передвигаться одной по Парижу. Поэтому я пригласила ее поужинать в кафе на площади Бланш.

Я раздумывала, чем бы заняться до вечера. Ехать в Нёйи и гулять с малышкой я была не в состоянии. Особенно я боялась идти вдоль Булонского леса, где потерялся пудель. Почти каждый день я гуляла с ним недалеко от Порт-Майо. Там был луна-парк. Однажды мать спросила, не хочу ли я туда сходить. Я подумала, что она собирается пойти со мной. Но нет. Сейчас я уверена, что ей просто нужно было отослать меня куда-нибудь из дому в тот день. Может, у нее было свидание с этим типом, чьего имени никто не знал и который поселил нас в большую квартиру. Она открыла дверцу в стене гостиной, дала мне крупную купюру и сказала: "Пойди погуляй в луна-парке". Я удивилась, зачем она дает мне такие деньги. Но она явно спешила меня выпроводить, и я не осмелилась спорить. На улице я решила не ходить в луна-парк. Но вечером она могла начать расспрашивать, попросить показать входной билет и билеты на аттракционы: если она что-то вбивала себе в голову, врать было рискованно. А я в то время врать совсем не умела.

Я купила у входа билет, и кассир удивился, что я расплачиваюсь такой купюрой. Однако дал мне сдачу и пропустил. Зимний день. Казалось, это не день, а вечер. Среди ярких балаганчиков я чувствовала себя как в дурном сне. Особенно меня поразило безмолвие. Большинство аттракционов не работало. Карусели крутились в полной тишине, и на них никого не было видно. И никого в аллеях. Я дошла до самой большой карусели. Сани поднимались и опускались на полной скорости, совершенно пустые. У входа на карусель я заметила троих мальчишек, старше меня. На них были старые худые башмаки, причем на обеих ногах разные. И серые дырявые блузы, которые им были малы. Они, судя по всему, пробрались в парк без билета, потому что то и дело озирались по сторонам, словно боялись, что их поймают. Но им явно хотелось покататься на большой карусели. Я подошла к ним. Сунула самому высоко-

му деньги, которые у меня остались. И бросилась бежать, мечтая, чтобы меня выпустили.

Нет, я не пойду сегодня к Валадье, но надо их предупредить. Я дошла до почты на площади Аббесс, купив по дороге в кафе "Мулен" конверт и листок почтовой бумаги. Устроившись у одного из окошечек, написала:

Дорогая Вера Валадье! Я не смогу сегодня прийти и побыть с вашей дочерью, так как плохо себя чувствую. Хочу пару дней посидеть дома и в субботу буду у вас, как обычно, в 4 часа. Извините. Дружеский привет месье Мишелю Валадье.

Тереза

Чтобы письмо успело дойти вовремя, я отправила его пневматической почтой. Потом немножко погуляла. Светило солнце, и мне понемногу становилось лучше. Я легко дышала. Остановившись возле садов Сакре-Кёр, следила как завороженная за скольжением фуникулера. Потом вернулась к себе в комнату на улицу Кусту, легла и попыталась читать книгу, которую дал мне Моро-Бадмаев. Уже не в первый раз. Я начинала, старалась не отвлекаться, возвращалась все время к первой фразе, как к трамплину для прыжка, и эта фраза осталась у меня в голове: "Окраина жизни не дает своим обитателям того комфорта, к которому привыкли те, кто живет в центре больших городов".

***

Я назначила ей встречу в восемь часов в кафе на площади Бланш. В том, что похоже на маленький домик. Там есть зал на втором этаже, но мы договорились, что я буду ждать ее на первом.

Я пришла на полчаса раньше и выбрала столик возле большого окна, выходившего на улицу Бланш. Официант спросил, не хочу ли я что-нибудь выпить, и у меня на миг возникло искушение заказать неразбавленного виски. Но это было глупо — в виски я сейчас не нуждалась. Я не чувствовала тяжести, которая обычно мешала мне дышать. Я ответила, что жду человека, и эти два простых слова подействовали на меня так же благотворно, как порция виски.

Она вошла в зал ровно в восемь. В том же меховом пальто, что и в прошлый раз, и в туфлях без каблуков. Она увидела меня сразу. Пока она шла к столику, мне показалось, что у нее балетная походка, но я лично предпочитала, чтобы она все-таки была аптекаршей. Она поцеловала меня в лоб и села рядом на банкетку.

— Вам сегодня получше?

Она улыбалась. Чувствовалось что-то надежное в этой улыбке и взгляде. Только сейчас я заметила, что у нее зеленые глаза. Я была не в себе в то воскресенье в аптеке, когда сидела там в кресле, а потом, в гостинице, свет горел очень тускло, не так, как здесь.

— Я вам кое-что принесла, чтобы подлечиться.

Она вынула из кармана пальто, которое положила на банкетку, две коробочки с лекарствами.

— Это сироп от кашля... Пить четыре раза в день... А это снотворные таблетки... По одной на ночь или когда чувствуете, что что-то не так...

Она положила коробочки передо мной на стол.

— Я считаю, что вам надо проделать курс уколов витамина B_{12}.

Я сказала просто спасибо. Мне хотелось сказать куда больше, но я разучилась, отвыкла, чтобы обо мне кто-то заботился, с того дня, как добрые монашки дали мне понюхать тампон с эфиром, когда меня сбила машина.

Мы посидели несколько минут молча. Несмотря на твердость характера, которую я в ней чувствовала, у меня было впечатление, что она так же застенчива, как и я.

— Скажите, вы не были раньше балериной?

Она удивленно на меня посмотрела, потом рассмеялась:

— С чего вы взяли?

— Мне показалось, что у вас балетная походка.

Она ответила, что, как многие дети, до двенадцати лет ходила в танцкласс. Но и только. Я вспомнила другую фотографию из коробки. Две девочки лет двенадцати в балетных трико. На обороте детским почерком фиолетовыми чернилами написано: "Жозетта Дагори и Сюзанна" — так звали на самом деле мою мать. Такая же фотография висела у Жана Борана в конторе над гаражом. Все еще шло хорошо в те времена, когда сделан этот снимок. Но когда же произошел несчастный случай с ее щиколотками или просто несчастный случай? Сколько ей тогда было лет? Теперь уже не узнаешь. Не у кого спросить.

Когда подошел официант, она удивилась, что я ничего не заказываю себе.

— Надо набираться сил, вы выглядите ослабевшей...

Моро-Бадмаев говорил то же самое, но у нее это звучало убедительнее.

— Мне не хочется есть.

— Тогда я с вами поделюсь.

Я не посмела спорить. Она положила мне половину своей порции, и я заставляла себя есть, закрывая глаза и считая глотки.

— Вы часто сюда ходите?

Я ходила в основном по утрам, к открытию, очень рано, когда чувствовала себя лучше всего. Такое облегчение — освободиться от тяжелого сна и ночных кошмаров!

— Давно я не была в этих краях. — И она указала мне через окно на аптеку на противоположной стороне улицы Бланш. — Здесь было мое первое место работы, когда я только начинала... Там, где я сейчас, намного спокойнее.

Возможно, она знала мою мать, когда та, после своего "несчастного случая", работала где-то здесь танцовщицей и жила в гостинице. Годы путались у меня в голове.

— Наверно, в то время здесь было много танцовщиц, — сказала я. — Вы знали кого-нибудь из них?

Она сдвинула брови.

— Тут был самый разный народ...

— Вы работали по ночам?

— Да. Довольно часто. — Она по-прежнему хмурилась. — Я не очень люблю говорить о прошлом... Вы почти ничего не едите. Так нельзя.

Я проглотила кусочек, чтобы сделать ей приятное.

— Вы собираетесь еще долго жить в этом районе? Может, стоит поискать комнату поближе к Школе восточных языков?

Ну да, ведь я же наврала, будто учусь в Школе восточных языков. Я и забыла, что она считает меня студенткой.

— Конечно. Я планирую переехать, как только получится...

Мне хотелось сказать ей, что на том месте, где я сейчас сижу, на площади Бланш, возможно, сидела двадцать лет назад моя мать. И когда я родилась, она жила, как и я теперь, в доме номер 11 по улице Кусту, не исключено даже, что в той же самой комнате.

— Отсюда удобно добираться, — сказала я. — Сажусь на метро и еду по прямой до "Севр-Бабилона".

У нее опять промелькнула ироничная усмешка, как будто она мне не верит. Я говорила наобум. Я и представления не имела, где находится эта Школа восточных языков.

— У вас такой удрученный вид, — сказала она. — Мне хочется знать, что вас так тревожит...

Она приблизила ко мне лицо. Зеленые глаза смотрели прямо на меня. Она пыталась прочесть мои мысли, я готова была застыть в сладком оцепенении и говорить, говорить без остановки, рассказать ей все. И она не будет ничего записывать, как Моро-Бадмаев.

— Я еще поживу немного в этом квартале, и конец.

Чем дольше она всматривалась в меня своими зелеными глазами, тем яснее я видела себя сама. Мне даже казалось, что я от себя отделилась. Все очень просто: девятнадцатилетняя девушка, шатенка, сидит на банкетке в кафе на площади Бланш. У тебя рост метр шестьдесят, ты в шерстяном свитере грязно-белого цвета с вывязанными косичками. Ты еще поживешь тут немного, и конец. Ты здесь потому, что хотела в последний раз попробовать подняться по течению лет, чтобы разобраться. Именно здесь, под этими электрическими лампочками на площади Бланш, все и началось. И ты последний раз вернулась в Родные Места, узнать, не было ли другого пути и не могло ли все сложиться иначе.

— Чему конец? — спросила она.

— Ничему.

И я проглотила еще кусок, чтоб доставить ей удовольствие.

— Возьмите хотя бы десерт.

— Нет, спасибо. Но мы могли бы с вами что-нибудь выпить.

— Вряд ли вам сейчас на пользу крепкие напитки.

Мне нравилась ее ироничная улыбка и манера выражаться ясно и прямо.

— Вы давно не выезжали из Парижа?

Я сказала, что с шестнадцати лет. Не считая двух или трех раз, когда этот мой знакомый, Вурлицер, возил меня на Северное море.

— Вам нужно на свежий воздух. Хотите, поедем вместе в субботу? Мне опять надо дня на три в Бар-сюр-Об... Вам сразу станет лучше... У меня там дом в окрестностях.

Бар-сюр-Об. Я представила себе первые лучи солнца, усыпанную росой траву, прогулку вдоль реки... Я готова была размечтаться от самых простых названий[1].

Она еще раз спросила, не хочу ли я поехать с ней в субботу в Бар-сюр-Об.

— К сожалению, я должна работать в субботу, — ответила я.

— Но я еду около шести вечера...

— Тогда я, наверно, смогу. Это, правда, так любезно с вашей стороны.

Я отпрошусь пораньше у Веры Валадье. А девочка? Вряд ли они будут против, если я заберу ее на пару дней в Бар-сюр-Об.

1. Бар-сюр-Об — город в Шампани, в нескольких часах езды от Парижа, расположенный на реке Об. Об (от *франц.* aube) — рассвет.

***

Мы шли по бульвару. Я не осмеливалась попросить ее опять остаться у меня ночевать. Если что, всегда можно позвонить Моро-Бадмаеву. А вдруг он занят где-то до завтра и его нет дома?

Она почувствовала мою тревогу. Взяла меня под руку и сказала:

— Если хотите, я провожу вас.

Мы повернули на улицу Кусту. Проходя мимо темного деревянного фасада "Небытия", я увидела у входа афишу "СЕН-ВЕРН. ЕГО ДЕВОЧКИ И ПОЕЗД-ПРИЗРАК" и вспомнила слова Фредерики, когда она рассказывала мне о матери и о "несчастном случае", из-за которого мать бросила настоящий балет и танцевала в заведениях вроде этого: "Скаковая лошадь, которую ведут на бойню".

— Вы не собираетесь, надеюсь, сесть на поезд-призрак? — спросила аптекарша.

Ее улыбка успокоила меня.

В комнате она вынула из кармана коробочки с лекарствами и положила на ночной столик.

— Не забудете? Я написала на упаковках, как принимать...

Потом наклонилась ко мне:

— Вы очень бледненькая... Я уверена, что три дня за городом пойдут вам на пользу. Прямо около дома лес, где можно отлично погулять.

Она провела рукой по моему лбу.

— Ложитесь...

Я легла, и она сказала, чтобы я сняла пальто.

— У меня ощущение, что сейчас за вами надо присматривать в оба...

Она тоже сняла шубу и укрыла меня.

— У вас до сих пор не топят... Надо вам переехать ко мне и перезимовать в моей квартире.

Она сидела на краю кровати и опять смотрела на меня зелеными глазами.

Я вышла на "Порт-Майо" и пошла по аллее вдоль Ботанического сада. Стоял холодный, но солнечный день, и небо было прозрачно-голубое, наверно как в Марокко. Все окна дома Валадье были закрыты ставнями. Когда я собиралась позвонить в звонок, я увидела засунутое под дверь письмо. Я подняла его. Это оказалось письмо, которое я отправила в среду с площади Аббесс. Я позвонила. Никто не открыл.

Я подождала немного, сидя на ступеньке. Солнце слепило глаза. Я встала и позвонила еще раз. И тут решила, что ждать не имеет смысла. Они уехали. Дом должны опечатать. У меня ведь в прошлый раз было такое предчувствие.

Я держала письмо в руке. И вдруг ощутила, как возвращается головокружение. Я давно знаю, что это такое, еще со времен Фоссомброна, когда училась переходить мостик. Один раз бегом, потом быстрым шагом, а на третий раз я старалась идти как можно медленнее, по самой середине моста. И теперь тоже надо было заставить себя идти медленно, не держась за парапет, твердя про себя успокоительные слова. Бар-сюр-Об. Аптекарша. Около дома лес, где можно отлично погулять. Я шла по аллее вдоль Ботанического сада, уходя все дальше и дальше от дома с закрытыми ставнями. Головокружение усиливалось. Это из-за письма, которое зря засовывали под дверь и которое никто никогда не распечатает. А ведь я отправила его с почты на площади Аббесс, такой же точно,

как все остальные почты в Париже, во Франции. Письма, адресованные мне из Марокко, наверно тоже остались нераспечатанными. На конвертах был неправильный адрес или просто ошибка в написании, и этого оказалось достаточно, чтобы они пропали одно за другим, завалявшись на какой-нибудь неведомой почте. А может, их отослали назад в Марокко, но там уже никого не было к этому времени. И они потерялись. Как пудель.

***

Когда я вышла из метро, по-прежнему светило солнце и небо было голубое, как в Марокко. Я зашла в "Монопри" на улице Фонтен и купила бутылку минеральной воды и плитку молочного шоколада без орехов. Потом перешла площадь Бланш и срезала угол по улице Пюже.

В комнате я села на кровать, лицом к окну. Поставила бутылку воды на пол, а шоколад положила на кровать. Я открыла одну из коробочек, которые принесла аптекарша, и высыпала часть содержимого в руку. Маленькие белые таблетки. Я положила их в рот и проглотила, запив минеральной водой из горлышка. Потом съела кусочек шоколада. Потом повторила все это еще несколько раз. С шоколадом глоталось легче.

***

Сначала я не поняла, где я. Белые стены и электрический свет. Я лежала на кровати, но на другой, не той, что на улице Кусту. Без подушки. Головой на простыне. Вошла черноволосая медсестра и принесла йогурт. Поставила его за моей головой, на некотором расстоянии, прямо на простыню. Она ждала и наблюдала за мной. Я сказала: "Не могу достать". Она сказала: "Ничего. Придется постараться". И вышла. Я расплакалась.

Я находилась в большом стеклянном ящике. Потихоньку я огляделась. В других таких же ящиках были аквариумы. Это, наверно, аптекарша привезла меня сюда. Мы ведь договорились с ней встретиться в шесть часов, чтобы ехать в Бар-сюр-Об. В аквариумах двигались какие-то тени, вероятно рыбы. Я слышала все более громкий шум бегущих струй. Когда-то давным-давно я застряла во льдах, теперь льды таяли и журчала вода. Я лежала и гадала, что это за тени в аквариумах. Как мне потом объяснили, нигде не было места и меня положили в отделение для недоношенных детей. Долго еще я слышала журчание воды — знак, что для меня тоже с этого дня началась жизнь.

“Я играю с огнем...”

Из разных интервью П. Модиано в связи с выходом романа “Маленькое Чудо”

Подготовка материала и перевод с французского Ирины Кузнецовой

Про вас написали: “Без него жизнь была бы беднее...”

Это комплимент. Но его можно отнести к большинству писателей. Я рассказываю о самых привычных вещах, о телефонных будках к примеру... И они начинают выглядеть странно. Я получаю от читателей письма по поводу каких-то мест, изображенных в “Маленьком Чуде”, персонажей, общей обстановки... На людей это занятно действует. Так сюрреалисты брали некий предмет изолированно, и он превращался в целый фантастический мир.

Вашему творчеству посвящено много литературоведческих работ, но нет ни одной биографии.

По-настоящему интересно только то, что предшествует моему рождению. Если родился сразу после войны, за этим стоит что-то не вполне обычное. Война сводит людей, которые никогда бы не встретились в мирное время. Послевоенные рождения все как бы немного случайные. Это явление скорее социологическое, интересно было бы им заняться.

Ваши романы выходят также в клубном издании “Книга месяца”...

Книжные клубы мне многое дают. Иногда я пишу нечто, чтобы получить какие-то сведения. Чтобы прояснить загадки, связанные с моими родителями, узнать, как все было на самом деле. Использую реальные имена, подлинные номера телефонов. Я играю с огнем в надежде, что кто-то поможет мне расставить всё на свои места. Люди откликаются, пишут мне, но особенно мне везет с читателями из книжных клубов. Это всё настолько непредсказуемо... могут неожиданно открыться такие пласты...

Вы не указываете время действия романа.

Героиня перебирает детские воспоминания, которые всегда вне времени, даже если детство пришлось на драматический период истории (война), потому что у детей нет глобального видения событий. Датировать происходящее было бы искусственно.

Верите ли вы в доброту незнакомых людей, таких, например, как аптекарша в вашем романе?

Кто знает? Я видел людей в депрессии, которые искали помощи не у близких, а у незнакомцев на улице. Я настроен оптимистично. “Маленькое Чудо” — история душевного кризиса, история человека, который в последний раз борется со своим прошлым. Вспомните святого Георгия, побеждающего дракона. Это последняя схватка. Потом Тереза возродится.

Прототипом Маленького Чуда был кто-то из вашего детства?

Все довольно странно... Это было необычное время — начало пятидесятых. Лет в семь я жил под Парижем, в Жуи-ан-Жоза. Раза два или три там появлялась девочка чуть старше меня, лет двенадцати-тринадцати. Ее словно окружала некая особая аура... Это из-за того, что она снималась в кино, в какой-то крохотной роли. Она выглядела как дети, которые слишком быстро выросли и им малы все вещи. Чем-то она напоминала маленькую Фадетту[1] и казалась предоставленной самой себе, как будто у нее никого нет. Странная смесь деревенской обстановки и кино. Что она делала в фильме, неизвестно. Мне не удалось разузнать, кого она играла. Как будто в ее жизни было что-то... что-то...

А потом вы узнали?

Нет, я предпочитал не знать. Хотелось, чтобы она так и осталась со своей тайной. Так она мне виделась более живой.

Маленькое Чудо — это немножко вы сами?

Она была не совсем как все. Просто это способ рассказать о моем детстве и о детстве вообще, только в более темных тонах.

Почему у вас так много черных красок?

Тяжелые моменты, пережитые в детстве, неизбежно потом возвращаются, через десять лет, через двадцать, как бумеранг... мина замедленного действия... Как будто фундамент, порченый с самого начала, в конце концов обрушивается. Маленькое Чудо находится в критической ситуации, это приводит ее к самоубийству, по счастью неудачному... Но в конце появляется надежда, что теперь она, может быть, освободилась, освободилась от прошлого.

По поводу детства: в ваших книгах есть страх быть брошенным.

Да... Это как бы попытка заклясть детский страх, избавиться от него, как от груза, который силишься сбросить. В пансионе я знал много таких мальчиков, брошенных. Как будто их забыли в камере хранения. Помню одного маленького бразильца. Он жил там уже год, и его никто ни разу не навестил. Он не получал ни от кого никаких известий, коллеж вынужден был его держать. Как будто родители потеряли квитанцию из камеры хранения. Девочка, о которой я рассказываю, жила в огромной пустой квартире, предоставленная самой себе. И большинство таких родителей не считались ни в чем виноватыми, это ужасно.

Девочка по имени Маленькое Чудо однажды уже появлялась у вас в романе "Такие славные ребята", и иногда говорят, что вы всю жизнь пишете одну и ту же книгу. Это так?

Сложно объяснить. Я никогда не чувствовал, дописав книгу, что создал нечто законченное и замкнутое в себе, как, к примеру, романы Сименона. У меня все время оставалось ощущение, что я каждой своей книгой пытаюсь как бы расчистить место, чтобы наконец приняться за настоящую книгу. Но конца этому нет, это как непрерывное бегство, очень беспорядочное, так бежит человек, которому не хватает дыхания и он вынужден иногда останавливаться. В моем детстве была такая велогонка, она называлась "Шесть дней". Шесть дней гонщики кружили по треку. Иногда они делали передышку и просто стояли на месте. Так и я. Во всей этой череде книг полно ненужных эпизодов, надо бы оставить только хорошие и собрать их вместе, как избранное. Я постоянно твержу себе: необходимо от многого избавиться, и у меня будут развязаны ру-

1. "Маленькая Фадетта" (1849) — роман Жорж Санд.

ки. Но это иллюзия. Настоящая книга не приходит. И у меня не получается написать книгу, совершенно не связанную с предыдущими. Мне все время кажется, что можно взять кусок из одной книги, присоединить к фрагменту другой и не будет никакой разницы. Все эти расчистки подступов к главной книге задают направление, но не архитектуру, поэтому пишешь и пишешь дальше. Начинаешь то же самое, но под другим углом, это как в кино съемки с противоположной точки. В "Незнакомках"[1] одна из повестей — переложение в ином ключе, более мрачном, "Виллы 'Грусть'"[1]. <...>

Годар, кажется, говорил, что в первом своем фильме резал пленку наугад. Он прав. Иногда просто необходимо резать, не совсем, конечно, наугад, но всегда есть куски, которые можно выбросить. Порой текст лежит бесформенной массой, которая буквально парализует, но начинаешь резать по живому, убираешь лишние повторы, персонажей-двойников, и снова можно двигаться дальше. Писать — это как бы работать над аккомодацией глаза: взгляд не может сфокусироваться, и его приходится медленно выправлять. Я никогда не нахожу верный угол зрения сразу. Например, сперва вместо Моро-Бадмаева было два разных человека, но потом я понял, что одного достаточно. Тогда я дал ему двойную фамилию. Вначале глаз косит, изображение двоится. Потом все выправляется, происходит аккомодация.

"Маленькое Чудо", как и предыдущая ваша книга "Незнакомки", написана от лица женщины. Почему?

"Я" в других моих романах всегда было довольно расплывчатым. Это я, и это не я. Но мне удобнее писать от первого лица, так легче сконцентрироваться. Я как будто слышу голос и записываю то, что он мне рассказывает, и он говорит "я". Не как Жанна д'Арк, конечно, а скорее как если слушаешь радио и голос время от времени пропадает, становится еле слышным, потом все опять нормально. Это "я" другого человека, который со мной говорит и которого я слушаю, оно помогает мне сохранять дистанцию по отношению к собственной биографии, хотя я иногда и подключаюсь к повествованию.

Один из ваших персонажей переводит передачи, которые слушает по радио. Это метафора писателя?

Я имел в виду одного поэта, чьи стихи очень люблю, Армана Робена. Он знал полсотни языков и тоже переводил иностранные радиопередачи. Его первый сборник назывался "Моя жизнь без меня".

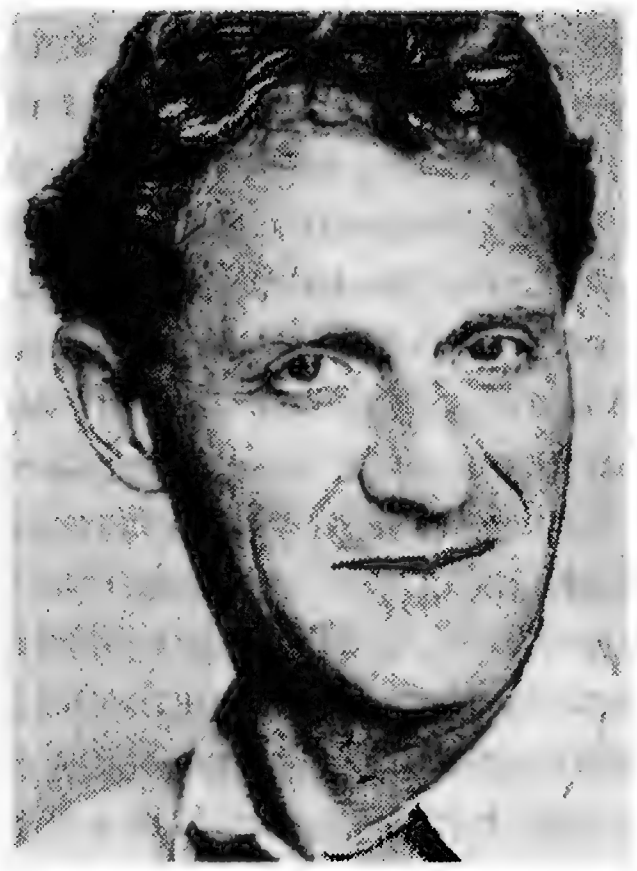
Что вы хотели бы передать потомкам? Ведь для писателя это, наверно, важный вопрос?

И без того так трудно жить в настоящем...

По материалам газет "Libèration", "Le Figaro" и интернет-сайта французского книжного клуба "Grand Livre du mois"

1. "ИЛ", 2001, № 7.
1. "Вилла 'Грусть'" — роман П. Модиано (1975; рус. перев. 1998).

Эндрю Моушен



Стихи

Перевод с английского и вступление М. Калинина

Британия — родина нонсенса. И вот еще один пример тому. Со Средних веков при королевском дворе состоит стихотворец, носящий титул "поэт-лауреат", в обязанности которому вменяется прославление королевской семьи. В настоящее время эта задача формулируется более расплывчато — нечто вроде "обязанности откликаться на события общенационального характера"; но Британия — и еще страна чтимых традиций, пусть даже нынешний поэт-лауреат, который должен славить королеву и монархию, — республиканец.

Имя ему — Эндрю Моушен. Он родился в 1952 году в Лондоне в семье пивовара. Когда юноше было шестнадцать лет, умерла его мать, тяжело болевшая на протяжении десяти лет; три последних года она провела в коме. За это время Моушен с лихвой выстрадал милость быть поэтом. Творчество стало для него "одним из способов продлить жизнь матери". Ранней мучительной утратой родного человека объясняется столь частое обращение поэта к теме неизлечимой болезни и смерти.

Эндрю Моушен окончил Оксфорд, где за несколько лет до него слушал лекции другой поэт-лауреат — Сесил Дэй-Льюис. Потом преподавал в Халлском университете, где свел полезное знакомство с Филипом Ларкином. Полезное в том смысле, что через некоторое время написал книгу "Филип Ларкин: жизнь поэта", удостоенную в 1994 году премии "Уайтбред". За литературно-критические работы и достижения в поэзии Моушен неоднократно награждался различными премиями имени великих мастеров — Сомерсета Моэма, Дилана Томаса, пока сам не был официально признан великим. В мае 1999 года, после смерти Теда Хьюза, он унаследовал титул поэта-лауреата. Ему было пожаловано ежегодное денежное вознаграждение, а в качестве дополнения к нему — ежегодный бочонок вина из королевских подвалов.

© Andrew Motion, 1984, 1997
© М. Калинин. Перевод, вступление, 2003

Здесь нелишне вспомнить историю присвоения упомянутого титула, который является для лауреата пожизненным. Первым отведал вина из монарших подвалов один из зачинателей английского классицизма — Джон Драйден (его ода "Пиршество Александра, или Могущество музыки" известна у нас в переводе Жуковского). Произошло это в 1668 году при дворе короля Чарльза II. За четыре века этим титулом были награждены как великие, так и малые мира поэзии. Кто теперь помнит не то что строки, а хотя бы имя Уильяма Уайтхеда (1757—1785)[1]? В то же время при упоминании Уильяма Вордсворта (1843—1850), любителю поэзии вряд ли потребуется заглядывать в справочную литературу. Подводя нехитрую статистику, интересно отметить, что меньше всех по времени, около трех лет, в ранге поэтов-лауреатов пребывали комедиограф, который переделывал Шекспира, Томас Шедуэлл (1689—1692) и поэт сентименталист, издатель первого собрания сочинений того же Шекспира Николас Роу (1715—1718). А дольше всех звание "первого" поэта носил Альфред Теннисон (1850—1892). Помимо служения королю Артуру, он прослужил своим искусством королеве Виктории более сорока лет, что воистину — образец рыцарской верности. "Ветрeником" же в этом отношении является знаменитый автор баллад Роберт Саути (1813—1843), "сменивший" на протяжении своего лауреатства четырех коронованных особ. А больше всех поэтов-лауреатов досталось ныне здравствующей Елизавете II. Всего их пять: Джон Мейсфилд (1930—1967), Сесил Дэй-Льюис (1968—1972), Джон Бетжемен (1972—1984), Тед Хьюз (1984—1998) и, наконец, Эндрю Моушен.

В чем особенность поэзии Моушена? Он редко балует читателя метафорой, любит белый пятистопный ямб, с помощью которого ведет рассказ обстоятельно и неторопливо, но иногда энергично и страстно. Манера его повествования восходит к Роберту Фросту и Эдварду Томасу, и рассказчик он, как и упомянутые мастера, замечательный. Многие стихи Эндрю Моушена — о болезни и смерти, о тех, кто "каждый день идет об руку со смертью", а также о тех, для кого любовь к умирающему стала проводником по Преисподней. Листая Моушена, поражаешься, над сколькими стихотворениями стоит или угадывается надпись: "Памяти...". "Памяти матери", "Памяти Теда Хьюза", "Памяти утонувшего друга", "Памяти принцессы Дианы"... Но кто знает, может быть, служа в качестве поэта-лауреата королевской семье, глава которой отличается завидным долголетием, Моушен отойдет от привычной темы?..

На чердаке

Теперь мы притерпелись,
Что проку в одежде твоей
Нет, но храним ее
На чердаке в чемодане.

Изредка я, щелкнув замками,
Реанимирую время,
Представив, что пальцы твои
Выглядывают из манжеты

Пустой. Но память пестрит

1. Здесь и далее в скобках указаны годы лауреатства. (*Прим. перев.*)

Лоскутьями воспоминаний:
Зеленый — цвет дня рожденья,
Красный — крестин.

Дни, не истраченные тобой,
Блекнут впотьмах,
Летят мне в глаза,
Как пыль со стропил.

Пограничье смерти

— Сегодня двадцать лет,
(— *Нет! Двадцать пять.*
Точнее будь!)
как ты покинул свет.
(— *Покинул свет! Я размозжил башку!*)
— И жизнь твоя мне не дает покоя.
(— *Не жизнь, а смерть. Просил же – будь точней!*)

— Пускай. Но эти двадцать — двадцать пять
На самом деле срок или не срок?
И многое ль я смог за это время
Замыслить и исполнить, попытаться
И выполнить? Быть может, правда, что
Вся наша жизнь — бессмысленный вдох-выдох?
Бессмысленный вдох-выдох, точно так...

Со мною ты всегда — пускай ты умер
Для мира, ты нигде и ты ничто.
Но в речь мою вставляешь ты слова,
Мне тень твоя на пятки наступает.
Я без тебя не в силах сделать шагу,
Но попусту пытаюсь к пустоте
Приставить ухо, чтоб расслышать внятно
Слова твои и ощутить их вес.

Но так ли это важно, чтоб попытка
Была удачной? Думаю, что ты
Все эти годы был подвешен в точке
Земного равновесья между жизнью
И смертью, пропуская сквозь себя
Взаимосвязь меж ними, постигая,
Как друг на друга действуют они.

Я словно замер на пруду замерзшем,
Поймав далекий взгляд из-подо льда,
Того, кто под водой дышать умеет
И не боится холода и тьмы.
Я должен отвернуться, но не смею.
Еще промедлю, и начнет казаться,

Что пальцы восковые, шевелясь,
Манят меня к себе неотвратимо,
Но я смотрю, смотрю, смотрю, смотрю...
И так лет двадцать — двадцать пять с тех пор,
Как ты покинул свет. Почти полжизни.

Посланец примиренья

На остров, не отмеченный на карте,
Лежащий где-то в Тихом океане,
Сошел яхтсмен, оставив яхту в бухте.

Он бросил якорь любопытства ради,
Намереваясь местность посмотреть.
Лес был густым-густым и странно тихим,

Но вдруг на кронах дрогнула листва,
И появился человек, похожий
На старого японского солдата.

Иссохла плоть его как скорлупа
Ореха, а на выцветшей фуражке
Знак солнца можно было различить.

Вдобавок он стоял в одном армейском
Ботинке без шнурков. Тогда яхтсмен,
Оружия ни разу не носивший,

Решил: должно быть, думает японец,
Что где-то продолжается война,
А он отстал от продвиженья фронта.

А может быть, бежал от свиста пуль
И грохота бомбежек беспрерывных,
Но из огня да в полымя попал

И четверть века с хвостиком сидел
Лишь на орехах и змеином мясе.
Но тут японец самурайский меч

В богатых ножнах протянул яхтсмену,
Прося его, согласно ритуалу,
Оружие сломать напополам.

Яхтсмен не знал ни слова по-японски.
Он принял меч, достал его из ножен,
С притворным восхищеньем осмотрел

И возвратил обратно со словами,
Что он здесь по случайности и хочет
Взглянуть на остров, только и всего.

Сейчас он сходит в лес, потом вернется
И в мир большой японца заберет.
Солдат не знал ни слова по-английски.

Он взглядом проводил яхтсмена и,
Когда за тем сомкнулась чаща леса,
Доплыл до яхты с горем пополам,

Поспешно выбрал якорь и отчалил.
Он верил, что произошел обмен,
Задуманный, как символ примиренья.

Симона Винчи

Рассказы

Перевод с итальянского Наталии Белкиной

Путешествие в красных туфельках

Когда память пожирают пески, боль исчезает.
Да будет так.

Эльза Моранте. *Мир, спасенный детьми*

НАШИ туфли красивее, чем у Миу. Миу бы тоже такие купили, но у нее слишком маленькие ножки и в магазине не было ее размера. Вот она и ревет.

Наши туфли красные, блестящие, как яблоко, когда его как следует потрешь о рукав школьной формы. Они с тоненьким ремешком, который застегивается на круглую пуговицу, тоже красную. Носы у них круглые, а каблук низкий, из белой резины.

У Миу туфли тоже красные и тоже с ремешком, но носы у них квадратные, а вместо круглой пуговицы – уродский желтый цветок из пластика.

Миу ревела всю дорогу до самого дома. И потом, пока мы собирали чемоданы.

© 1999 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino
© Н. Белкина. Перевод, 2003

Миу все время ревет.

И мама больше не обращает на это внимания. Делает вид, что не слышит, и мы тоже.

Плач у Миу пронзительный и нудный, как сирена, как гудки машин на улице. И сухой, без слез. Миу плачет без слез. Это называется беспросветным отчаянием.

Нам тринадцать лет, а Миу только четыре. Что Миу может знать про беспросветное отчаяние, про которое написано в наших учебниках, там, где рассказывается о войне? А вот мы — знаем.

Хотя это тут ни при чем: разве Миу виновата, что она еще маленькая?

Миу опять плачет, и я стараюсь не слушать. Закрываю глаза и прижимаю ее к себе. Глажу ее по волосам, качаю на коленях.

Из иллюминатора видна только белизна облаков, тут и там разорванная невыносимой синевой.

Почему моя девочка выводит меня из терпения? Разве Миу не видит, как спокойно разговаривают ее сестры, сидя рядышком? Почему она не берет с них пример? Почему?

Я так устала — кажется, сейчас бы уснула и проспала две жизни. За это время Миу бы умерла, ее похоронили, и в моей голове не осталось бы даже смутного воспоминания, а ее плач растворился бы в небе. Далеко-далеко.

Но пока что Миу плачет, плачет все громче, мне хочется схватить ее, выбросить из самолета и смотреть, как она летит, кувыркаясь в воздухе: маленькая точечка, чем дальше — тем меньше. И ее крик становится далеким и тихим.

Марчелла и Джачинта рассматривают новые туфли и болтают о своих желаниях. Мечты тринадцатилетних: замшевая зеленая мини-юбка, химия, новая пара роликов. Новый диск рок-группы.

У меня тоже желания тринадцатилетней девочки, но я не могу им в этом признаться. Я хочу новое платье с прямой обтягивающей юбкой и набор кремов для лица какой-нибудь дорогой фирмы, например, Диор или Шисейдо, в блестящих баночках, чтобы выставить их на полке перед зеркалом в ванной. Хочу огромную ванну с гидромассажем и новую любовь. Хочу кого-нибудь, кто обнимал бы меня и шептал что-нибудь нежное. Кого-нибудь, кто водил бы меня в кино и гулял со мной под звездами.

Не хочу слышать Миу, которая ерзает и потеет у меня на коленях. Хочу, чтобы люди перестали разглядывать меня, когда я иду с маленькой дочкой, а она пускает слюни, кричит и писается. Хочу быть счастливой, как они, но... Куда там!

Миу все ревет и ревет. Мы не понимаем, почему мама не даст ей как следует и не прекратит эту пытку. Но она прижимает Миу к груди и шепчет ей что-то на ухо.

Так Миу не замолкает.

Так Миу не замолчит никогда. Уж мы-то знаем.

Мы болтаем ногами, чтобы видеть, как переливаются носы наших четырех туфель-близнецов. Смотрим в иллюминатор и листаем мамин журнал. Мы никуда не торопимся. Когда самолет взлетит, мы и не подумаем плакать. Хотя знаем, что ноги нашей здесь больше не будет. Никогда. Мы поклялись. Никогда.

Я не вернусь больше в эту страну, я это знаю, чувствую.

Когда самолет взлетит, я последний раз посмотрю на Афины с их сутолокой, с их белыми и серыми домами, с миллиардами глаз в окнах. На грязную зелень побережья слева и справа от Пирея. Потом закрою глаза и подожду, пока все станет далеким, все-все.

Миу слезла с маминых коленей и теперь бегает туда-сюда по голубому ковру прохода. Она хватается за спинки кресел, цепляется за руки людей. Все делают вид, будто им это нравится, улыбаются, потому что девочка такая маленькая и потому что нехорошо сердиться на детей, если они плачут. Они думают, что она просто боится летать, а потом перестанет.

Но она не перестанет, мы-то знаем.

Однажды Миу заплакала и с тех пор не перестает.

Нам не жалко уезжать из Афин. Квартира у нас была плохая. И на улице там всегда было шумно. Мы привыкли, но в этом нет ничего хорошего.

Мама сказала, что мы будем жить в тихом месте. В городе меньше Афин, со школой, кинотеатрами и со всем остальным, но там будет меньше шума. Меньше людей, меньше домов. Мы едем в Италию, потому что там родилась мама. И теперь, теперь, когда ее мужа больше нет, мы все едем жить туда, к настоящей маминой семье. Она сказала, что это большая семья, что у нас есть бабушка, много теть и десять двоюродных сестер. Интересно, какие они?

Мамин муж не наш папа. Но он папа Миу. Наш папа тоже был итальянец, но однажды он бросил маму и ушел к другой девушке. Мы были еще маленькие. Мы ничего не помним. Теперь он живет далеко. Мы не знаем где. Может, у него родились другие дети. Нам это все равно. Мы пойдем в новую школу, куда ходят наши двоюродные сестры. Купим ролики и сделаем химию. Кудрявые волосы — это так красиво. Кудрявые, как у Миу. Этого у нее не отнимешь, что есть, то есть.

Я смотрю в иллюминатор, стараясь не слишком вытягивать ноги, чтобы Миу не упала с коленей. Теперь видно только море. Оно где темно-синее, где изумрудное: два разных цвета, один цвет кончается и начинается другой. Я думаю о том, что чем больше моря будет между мной и этим городом, тем дальше останется боль. Все воспоминания улетят прочь, как клочья облаков, равнодушно разорванных острым носом самолета прямо посередине. Обрывки облаков. Пар.

Мама задумчиво смотрит в окно. Миу пускает слюни на воротник ее платья. Капля слюны, густая и липкая, падает и образует темное пятно на красивой ткани платья, которое мама купила специально для поездки в Италию. Платье темно-красное, до коленей, застегивается спереди на две круглые пуговицы, без рукавов и с воротником как у рубашки — остроконечным. В этом платье мама красивая. Мы это ей сказали сразу же, в магазине, пока она стояла перед зеркалом и решала, хорошо ли оно сидит. Но нам грустно видеть ее такой сердитой. Кто знает, о чем она думает. Может, ей жаль уезжать из Афин. Может, жалко мужа.

А нам нет. Ни чуточки не жалко.

Мамин муж был противный. Такой же уродливый, как Миу. Весь черный, волосатый и лживый. Как Миу, точь-в-точь.

А мама, наоборот, такая красивая. Мама похожа на нас.

Пар, который тут же растворяется. Глазом не моргнешь, а панорама уже изменилась. Теперь под нами земля. Маленький остров в форме полумесяца. Марчелла и Джачинта тихо поют песню на английском, которую я не знаю.

Смотрю на них. Какие же они красивые, мои старшие дочки. Уверенные в себе, я такой никогда не была. Будут ли они счастливы? Я постоянно себя спрашиваю и не могу ответить. Я пытаюсь сделать их жизнь счастливой. Пыталась. И несмотря на все, что случилось, они не выглядят подавленными, не кажутся убитыми горем. Они красивы и полны жизни. У них живые глаза, они всегда веселые. Притворяются? Или действительно бывают такие счастливые люди, для которых боль проходит бесследно, как тень, быстрая и легкая.

Когда мы были в обувном магазине, я обратила внимание на их тонкие лодыжки. Четыре одинаковые лодыжки, точеные, красивой формы. Они кажутся хрупкими, но на самом деле они крепкие. В красных туфлях на их уже длинных ступнях Марчелла и Джачинта казались двумя девочками из сказки, готовыми убежать на тайный бал среди ночи.

Влажное дыхание Миу бьется мне в шею. Слюна течет на воротник платья, он уже весь мокрый, но я стараюсь не показывать вида, что мне это неприятно.

Стараюсь изо всех сил.

Мама смотрит на нас, и на ее лице появляется что-то вроде улыбки. Улыбки едва заметной и усталой, не широкой, во весь рот, а когда улыбаются только уголками рта.

Интересно, что она видит?

Мы ее, в общем-то, любим. Мама у нас мировая, все разрешает и всегда нас слушает, когда нам охота посплетничать или пожаловаться. Иногда у нее отсутствующий взгляд, но она все равно слушает. Правда, сама она нам почти ничего не рассказывает. О нас говорит, а о себе — никогда ничего. Может, взрослым трудно разговаривать с детьми. Они боятся сказать что-нибудь не то.

Миу опять разревелась. Как будто специально ждала, когда стюардессы повезут на тележках завтрак. Мы никогда не ели в самолете. Но видели это по телику. Должно быть, здорово есть и смотреть на облака. Надеемся, что нас не стошнит сразу же после еды.

Стюардесса гладит Миу, ерошит ей волосы. Миу рывком поворачивается и скалит зубы, вот-вот укусит. Девушка быстро отдергивает руку, и мы с трудом удерживаемся от смеха.

Девочка-собака. Вот кто Миу. Прямо настоящая собака. Вроде маленьких, противных собачонок, которые вечно лают.

На подносе полно мелко нарезанной еды. Брокколи, ломтики лосося и сыра, две белые фасолины, лист зеленого салата, кусок шоколадного торта, хлеб, баночка масла. Куча кукольных порций. Миу пинком сбивает мамин поднос. Вся еда летит в проход и падает на серо-голубой ковер. Какой стыд! Все оборачиваются посмотреть, и Миу плачет еще сильнее, потому что не любит, когда на нее смотрят. Стюардесса убирает и делает вид, будто ничего не произошло. У мамы слезы на глазах, но она даже извиниться не может. Мы молчим и, как по телику, продолжаем есть, глядя на облака за стеклом.

Я бы хотела сказать что-нибудь, но не получается. Миу пнула поднос с завтраком, и вся еда с подноса упала на пол, разлетевшись по ковру. Я должна извиниться перед стюардессой, которая наклонилась, чтобы собрать все с пола. Должна, но не извиняюсь.

Мне хочется плакать.

Эта выходка Миу напомнила мне ее отца. Он тоже так делал. Тысячу раз. Достаточно было к его приходу не успеть накрыть на стол, как он смахивал на пол тарелки и, хлопнув дверью, уходил. Он всегда был вспыльчивым. И очень часто злым.

Но мне жалко его. При мысли, что он сейчас в городе, где нет больше никого, кто бы позаботился о нем, у меня сжимается сердце.

Мне жаль, что я уехала, но я не вернулась бы ни за что на свете.

Мамин муж делал то же самое. Типа ни с того ни с сего кидал вещи на пол или кричал без причины. Он нам не нравился. Он нам никогда не нравился. И теперь не нравится. Но теперь мы по крайней мере уже не услышим от него, что мы должны делать, а что нет. Откомандовался. Больше он не будет мучить нас и маму.

Самолет слегка покачивается как от ветра, но может, это только кажется.

Марчелла и Джачинта закончили есть, и вид у них довольный. И то хорошо. Миу тихо плачет, я обнимаю ее за шею и глажу. Уговариваю поесть. Слеза медленно скатывается у меня по щеке. Мне жаль Миу, мне жаль увозить ее от отца.

И я знаю, что это навсегда.

В тот день, когда Миу начала плакать, мы были дома одни, с маминым мужем. Мама ушла за покупками. Он был злой, кричал, что мама неряха, хлопал дверями. Потом накинулся на нас. Орал, дрался. Хорошо, что недолго, но все равно больно. Пощечины нам давал, бил по спине. Один раз даже кулаком ударил. И все время орал. Когда мы успокоились, мы ему сказали, что расскажем об этом маме и что он не наш отец и не имеет права бить нас. А он сказал, что мы живем на его деньги, поэтому он в доме хозяин, и мы обязаны его слушаться. Он говорил по-гречески, а мама дома всегда говорила с нами по-итальянски. Мы ответили ему на итальянском, он еще больше разозлился и опять стал нас бить. Когда закончил, налил себе узо и пошел со стаканом на балкон, облокотился на перила. Он смотрел на город, в котором уже начинали зажигаться огни.

А мы смотрели на него и молчали.

Миу стояла в углу и прижимала к себе куклу. Она почти никогда не боялась отца, только когда он кричал. Она стояла и молчала, с куклой в руке, широко раскрыв глаза.

Мы переглянулись. Все произошло очень быстро.

Он поставил стакан на балконный столик и наклонился через перила — наверно, что-то увидел.

Мы подошли к нему.

Одна толкнула в спину, а другая в это время обеими руками оторвала от пола его ноги.

Всего секунда.

Он даже не закричал.

Нас никто не видел. Никто, кроме Миу.

Стакан мы быстро помыли и поставили на место, еще до того, как с улицы послышались крики людей. Потом Миу начала плакать. Так и плачет с тех пор.

Когда мама вернулась, мы молчали. Она кричала. Что случилось? Скажите что-нибудь, вы же были здесь! Вы это видели или нет? Он поскользнулся или что? Говорите! Она громко плакала и сжимала руки. Мы были там, в своей комнате, мы ничего не слышали.

На следующий день мама нашла документы. Из них она узнала, что ее муж был весь в долгах и что скоро у нас заберут все: дом, мебель, машину — все.

У нас больше никто ничего не спрашивал.

Мама позвонила в Италию, купила билеты, собрала то, что можно было увезти. Прошло всего несколько дней.

И теперь мы быстро летим сквозь облака и пьем итальянский грейпфрутовый сок.

Мне жаль, что у Миу ничего не осталось от отца. Чтобы вспоминать его, когда она вырастет. Жаль, что он не оставил ничего, хотя бы ей. Записку, что-нибудь.

Меня зло берет при мысли, что ее он тоже не любил, а ведь так настаивал, чтобы мы завели ребенка. Я больше не хотела детей. Мне хватало Марчеллы и Джачинты. Но он говорил, что хочет общего ребенка, нашего с ним, и я согласилась. В конце концов он был моим мужем. Даже если я его боялась.

Надеюсь, что теперь все придет в норму, что девочки все перенесут и Миу тоже.

Какая я глупая, уже думаю, что мне нужен другой мужчина. Но наконец такой, который будет заботиться обо мне и о девочках. Серьезный мужчина, каких я никогда не встречала, похожий на мужчин из женских романов. Даже если я знаю, что таких не существует.

Я буду одна. Сама о себе позабочусь. И о девочках. Девочки. Я смотрю на них: слабый свет из окна золотит их лица, кажется, что они накрашены. Они у меня такие красивые и умные. Несмотря ни на что, они выросли хорошими. И продолжают расти, даже слишком быстро.

Теперь под нами нет моря. Там земля и города. Болонья еще далеко. Еще час, а потом аэропорт, где меня будет встречать сестра с мужем и детьми. Интересно, обрадуются ли они нам? Понравятся ли им мои девочки? Перестанет ли Миу плакать, хоть ненадолго?

Теперь под самолетом только земля, и нам нравится представлять, что на ней много веселых детей, которые катаются на роликах. Все улицы всех городов наполнены девочками и мальчиками, которые гоняют на роликах.

Мы надеемся, что в Болонье есть подходящие улицы. Надеемся, что мама найдет новую работу и нового мужа. Надеемся, что в Италии красные туфли не будут выглядеть смешно.

Надеемся, что Миу все забудет и перестанет плакать. Надеемся.

Земля под самолетом красивого зеленого цвета.

Побег с девочкой

...а это дорога среди безмолвных
шпалер боярышника, домашний
лабиринт, далекий-далекий,
вот он — за поворотом,

где столбик пыли похож
на маленького искателя приключений[1].

Аттилио Бертолуччи. *Пыль*

КАЖДОЕ утро одна и та же дорога. Уже год. Почти год, ведь сейчас март, а занятия начались в сентябре.

В прошлом году я еще учился в средних классах, и школа была на триста метров ближе, чем эта. Иногда после уроков за мной приезжала мать на машине. Теперь-то она поняла: я уже старшеклассник и достаточно взрослый, чтобы самому носить свой рюкзак.

От моего дома до школы десять минут пешком, десять тысяч сто шагов, сорок деревьев, два розовых куста, тридцать два дома, парк, несколько почтовых ящиков, много фонарных столбов, куча припаркованных машин и церковь.

И девочка в окне. За стеклом.

Когда не холодно или когда опаздываю, я еду на велике, если нет — иду пешком. Дорога одна, но в зависимости от средства передвижения все вокруг меняется. Когда я на велике, то вижу девочку только мельком, повернув голову в сторону окна, рискуя врезаться в дерево или в припаркованную машину и сломать себе шею.

Она маленькая. Совсем еще ребенок.

Однажды, проходя мимо, я помахал ей рукой: занавески были раздвинуты, и она сидела на желтом детском стульчике, хотя, по мне, так она уже слишком большая, чтобы сидеть на этой штуковине. Крохотной ручкой с растопыренными веером пальцами она помахала в ответ. Я увидел, как шевельнулись ее губы, но был в плеере и ничего не услышал.

Я не люблю детей. Маленьких, я хочу сказать, которые еще не ходят в школу и только и знают, что хныкать и канючить: купи, купи! А еще они ковыряют в носу и вечно чешутся. А взгляни на них построже — начинают реветь.

Но эта девочка в окне была не такая.

Она — другая.

Хотя с того первого раза, как я ее увидел, она выросла. Дети меняются быстро, иногда за несколько месяцев. Вот и она изменилась.

1. Перевод Евгения Солоновича.

Мама говорит, что я всегда был драчуном, даже когда еще ходил в детский сад. Я-то сам не помню, но, похоже, что так. Просто я был веселый. Дрался, чтобы подружиться. А может, это была защита, желание показать себя. Но главное было подружиться, для этого можно и подраться сначала. Глупо, конечно, но у меня всегда так, намерения хорошие, а способы какие-то глупые.

Маленькие дети не понимают, когда с ними пытаются подружиться, они понимают только занудство учителей и взрослых. Но не все. Девочка на стульчике была другой.

Когда я первый раз ей помахал, в плеере играла группа "Skin". Это было безумное белое утро, в воздухе пахло настоящей поздней осенью, почти зимой.

В ушах гремела "Skin", я, привстав над сиденьем, весело крутил педали и мчался навстречу ветру.

Ночью, перед сном, я видел луну. Небо было темное, бархатное и такое огромное, что заполняло собой все вокруг. Как всегда по вечерам, я стоял на террасе и размышлял, не обращая внимания на холод, морозящий мне пальцы. Я смотрел на ночь, вдыхал ее и чувствовал мускулами. Было темно, фонари уже выключены, но через некоторое время свет звезд и луны осветил все, стало светло как днем. Не то чтобы совсем как днем, но, если присмотреться, все видно.

С тех пор как мне исполнилось четырнадцать, мир вокруг кажется более ярким, более волнующим. Что-то внутри меня так и рвется наружу, я чувствую, что расту, становлюсь большим и высоким, хотя я еще только метр шестьдесят пять. Тело мне мало, я в нем не умещаюсь, кажется, что руки и ноги стали длиной в тысячи километров. Они как фантастические щупальца, вылезающие из-под кожи и пытающиеся до всего дотянуться, все потрогать, узнать. Они как будто торопят меня жить. Быстрее, еще быстрее! Намного быстрее. Это классное чувство, только иногда оно меня пугает. Я боюсь, что жить быстрее у меня не получится, да и ни у кого никогда не получалось, а такое желание в какой-то момент возникает у всех до одного. Возникать-то оно возникает, но от этого ничего не меняется: люди живут, как жили, и никому не рассказывают, что иногда дотягиваются до звезд и могут их потрогать.

Девочка на стульчике ждала меня каждое утро. Она больше не сидела на стульчике, а стояла в цветной пижаме возле окна. Она всегда махала мне рукой, растопырив пальцы, и шевелила губами, но я ничего не слышал, да и не хотел ничего слышать. Мне нравилось смотреть, как шевелятся ее губы, и она протягивает руку, как будто хочет до меня дотронуться, а в это время в ушах у меня звучат безумные звуки гитары "4 of July" "Soundgarden"[1]. Четвертое июля — день моего рождения. Текста песни я не понимаю, а название понятно. Так даже лучше: я могу представлять себе что угодно и кажется, что песня про меня.

Если б было можно, я слушал бы музыку даже в школе. Голос учителей для меня как электропила по мозгам. Жаль, что нельзя, было бы здорово. Ходить в школу, я имею в виду. Сидеть за партой возле окна и болтать с кем-нибудь, кому интересны не только собственные мысли, но и твои. А то говорят только они. Читают вслух, объясняют, даже не стараясь, чтобы ты понял. Мы почти никогда не слушаем. В моем классе толь-

1. Песня "4 июля" американской рок-группы "Саундгарден".

ко двое или трое думают об учебе и об оценках в конце четверти. За десять минут до звонка на урок они усиленно проверяют латинские переводы, уткнувшись носом в тетради, и по их тупым рожам видно, что они не выспались — корпели над учебниками до десяти вечера и потом еще уснуть не могли, думали, как их вызовут к доске. Остальные ловчат, списывают, в класс влетают в последнюю минуту, запыхавшиеся, с наушниками в ушах.

Сейчас я читаю книгу Стивена Кинга "Темная сторона". Мне нравится то место, где говорится о птицах. Об облаке черных, кричащих птиц в голубом небе. Фраза, которая как наваждение повторяется почти на каждой странице.

Это те же птицы, которых по дороге в школу я вижу каждое утро над парком. Маленькая черная стая, такая плотная, что кажется просто движущимся черным пятном. Они как будто взбесились из-за голубого неба и солнца. Летают по кругу, так близко, будто их приклеили друг к другу. Каждая держит в клюве хвост другой, и получается безумная карусель, которая потихоньку смещается в сторону, оставляя на лугу свою тень.

Не знаю, зачем я ее увез. Они говорят: *похищение*. Но я просто взял ее на время. И собирался привезти ее обратно, вернуть. Как велосипед: берешь его, потому что спешишь куда-то, а потом возвращаешь, откуда взял. И вся история, может, хозяин и не заметит ничего.

А они раздули это дело. Для меня-то все было просто. Чисто. Как прекрасная, но короткая ночь. Как небо, когда ветер вдруг прогоняет последние тучи, и оно становится синим-пресиним.

Я ее увез. Она была на месте, ждала меня, как всегда по утрам. На ней была желтая пижама, с нарисованными воздушными шарами. По спутанным волосам и заспанным глазам было понятно, что она только проснулась и еще даже не позавтракала. Увидев меня, она подняла руку. И тут я заметил, что между мной и ее рукой нет оконного стекла. Рама была распахнута, и она босая сидела на подоконнике.

Я бросил велосипед на траву, перепрыгнул через низкую ограду сада. Она смотрела на меня спокойно, не боялась, она знала, кто я: ее утренний друг. Из дома не доносилось никакого шума, он казался пустым. Я взял ее на руки, она, молча, потянулась, чтобы обхватить меня за шею, и я почувствовал запах крема "Нивея" и талька. Помогая себе одной рукой, я вскарабкался на ограду и спрыгнул вниз. Из-за того, что она обвилась вокруг меня, как вьюнок, я потерял равновесие, и мы упали на траву, но не ушиблись. Наушник плеера зацепился за капюшон куртки и провод меня душил. Я снял наушники, надел на нее и нажал на кнопку play: заиграла "Until it sleeps"[1], почти с начала, как раз с того места песни, на котором я ее остановил, увидев девочку на подоконнике. Она засмеялась. "Metallica" не самая подходящая группа для детей, но эта девочка была не такая, как все.

Другая.

Пока она сидела на раме моего желто-черного велика, я не думал ни о чем. Мои руки как два бортика придерживали ее и не позволяли ей упасть. Я быстро крутил педали. Быстро, но не особенно. Народу вокруг

1. Песня "Пока все не заснет" американской рок-группы "Металлика".

было мало, а те, кто встречался на дороге, не обращали на меня внимания: во-первых, я все прибавлял ходу, а во-вторых, девочка была закрыта рукавами моей куртки. Крохотная.

По грунтовой дороге я выехал из поселка. Из-под колес велосипеда с противным сухим треском вылетала щебенка, на камнях и пыли за мной оставалась неровная линия.

Я приехал на "Виллу вздохов". Мне здесь нравится. Я всегда думал, что первую девушку, с которой я сделаю это, я привезу сюда: будет летняя ночь, на небе — полная луна и сияющие звезды. А вокруг — запах полей и пение сверчков.

"Вилла вздохов" — это старый, разрушенный дом. Внутри растут не только кусты, трава и цветы, но и настоящие деревья, большие, с толстыми стволами. Так много времени прошло после бомбежки.

Историю виллы и ее названия мне рассказал отец. Душещипательная мура — такие бесполезные истории обожают женщины и пожилые мужчины.

Но я ее забыл, как забываю все, что мне не интересно. Ненавижу истории. В любом виде. Даже в кино. Мне нравится, когда что-то происходит, а потом заканчивается, не оставив следа. Никакой тягомотины с мотивами и последствиями. Конец, и точка. Всего-то, как говорят у нас.

Вокруг никого. Тишина. Поля, бледные от небольшого инея, который еще бывает в марте. Я остановился на краю канавы, ссадил девочку, перекинул велик на другую сторону и помог перебраться ей. Ее босые ноги покрылись волдырями от крапивы. Теперь она негромко плакала. Слезы катились по щекам, и я не знал, что делать. Я перенес ее в дом. Открытое небо, кусочек крыши только в одном месте. Второй этаж еще не обвалился. Ветки деревьев такие плотные, что внутри почти темно. Я посадил ее на ступеньку внутренней лестницы. Подул ей на ножки, чтобы не так жгло, но она уже не плакала.

Я расстелил свою куртку на земле и положил девочку на нее. Теперь, вблизи, когда я хорошенько ее разглядел, она оказалась совсем крошечной. Краем куртки я прикрыл ей ноги.

— Спи, — сказал я ей. — Я ненадолго уйду, потом вернусь и принесу тебе что-нибудь поесть, но обещай, что ты никуда не уйдешь и не будешь кричать. Жди меня тихо. Спи, я скоро приду.

Она смотрела на меня самыми спокойными глазами в мире, казалось, она не понимает, что я говорю, или же так хорошо понимает, будто и слова не нужны, — я еще не успел подумать, а она уже прочитала мои мысли. Спокойная, лицо розовое, как будто немного загоревшее. И глаза ясные, пустые.

Пока я возвращался в поселок, я не думал о ней. Она в безопасности и не сдвинется с места. Я не был в этом уверен на сто процентов, но в глубине ее глаз я увидел марсианское спокойствие. Ну прямо инопланетянин, умный, спокойный, невозмутимый. Она осталась там, в заброшенном доме, ни о чем не спрашивая, как будто это ее собственный дом с садом.

Я опять прогуливал школу. Нужно было быть осторожным, чтобы меня не засекли. Уроки начались полчаса назад, и я представлял кислые лица одноклассников, упирающихся коленями в парты для карликов. Своего соседа по парте Бертолани и его мятные карамельки, аккуратно разложенные на парте рядом с книгами и ручками.

Чтобы добраться до супермаркета, я сделал крюк, выбирая безлюдные улицы на окраине поселка.

В один миг мне вспомнились все другие утра, похожие на это: внезапное решение не идти в школу, рейсовый автобус на Болонью перед лицеем, который возит студентов в университет, а других — на работу. Осмотреть краем глаза все сидячие места: нет ли среди пассажиров возможного доносчика — соседа, маминой подруги. Потом прыг на подножку — и в автобус. Внутри духота, запах резины от порезанных кожаных сидений, резкий запах пота и духов. Дорога петляет среди полей, укачивает так, что съеденный завтрак поднимается к горлу. Я не мог оставаться в поселке. Он слишком маленький, у нас нет таких баров, где можно спокойно просидеть все утро в ожидании звонка с последнего урока. И я уезжал в город. До половины одиннадцатого в баре, а потом в зале игровых автоматов. Всегда один.

Я вспоминал утра, похожие на это, только мокрые, с мелким дождиком и хмурым небом. Утра, растраченные на ожидание. Под грохот межгалактических войн и рев гоночных машин, под стоны поверженных воинов и под шлягеры, в табачном дыму от чужих сигарет, который висит в зале, где воняет человеческими телами и пластиком и еще гарью от выхлопных труб, врывающейся снаружи через дверь, которая постоянно открывается и закрывается, поглощая школьников-клонов с рюкзаками и глазами, затуманенными первым косяком марихуаны.

Долгие и тоскливые утра, с неожиданными угрызениями совести и чувством, будто что-то потерял по дороге, а что именно, не знаешь.

Сейчас я тоже теряю время. Но теперь есть она, а это уже достаточное оправдание. Существо не такое, как я. Которое надо изучить. Надо понять.

В магазине я купил абрикосовый сок, печенье, две слоеные булочки, пиццу и два недозрелых банана.

Когда я подъезжал к дому, мне вдруг стало страшно. А что, если она убежала или ее кто-нибудь нашел и спросил, что она там делает и кто ее привез? Может, они и сейчас там — поджидают меня, чтобы сцапать и надрать мне задницу. Затаились в углу, молчат и не шевелятся, а девочке рот рукой закрыли, чтобы не хныкала. Настоящая засада.

Но там никого не было. Я приподнял тяжелые ветки, чтобы добраться до угла, где я оставил девочку.

Она спокойно сидела на моей куртке, скрестив ноги, и смотрела на меня с непонятным выражением маленького по-восточному сплюснутого лица. Глаза как два камня — серые и холодные.

Почему-то я испугался этого взгляда.

Я тихо подошел к ней, осторожно наступая на сухие листья, чтобы не шуметь. Глупо, конечно. Но не знаю, что бы я сделал, если б она испугалась, если б выражение ее лица изменилось.

Я положил рядом с ней пакет с едой, которую купил. Сам сел на землю по-турецки.

Она продолжала невозмутимо глазеть на меня, маленькие руки сложены на коленях, кулачки сжаты. Не моргая, она смотрела мне прямо в глаза сухими окаменевшими зрачками.

Глаза прозрачные и строгие.

Я спросил, хочет ли она есть. Она не ответила, потянулась к пакету и запустила туда руки. Я наблюдал за ней, пока она отрывала от булочки кусочки и запихивала их в рот, подталкивая раскрытой ладошкой, как дикарка.

Внутрь дома задувал ветер. Слышно было, как сквозняк со свистом гуляет по бывшим комнатам — одной, другой, третьей, — пока не наткнется где-то на ветки деревьев и не исчезнет в листве.

Мне было холодно, но не мог же я отобрать у нее куртку. Она закуталась в нее, и из этого свертка неуклюже торчали только голова и руки.

Вдруг она показывает на себя вымазанными руками и с набитым булочкой ртом говорит:

— Меня зовут Джулия, а тебя?

– Крис.

Вот и весь разговор. Больше она не заговаривала. Снова уставилась на меня. Может, она ждала, что я скажу что-нибудь. А может, мы уже сказали все, что хотели сказать. Джулия и Крис. Джулия и Крис, укрывшиеся в заброшенном доме мартовским утром, солнечным и ветреным.

Вдруг в кустах что-то зашевелилось, и я испугался. Вскочил на ноги и оглянулся. Сердце под футболкой колотилось как бешеное, казалось, вот-вот выпрыгнет. Но никого не было, наверно, кошка или ящерица. А может, дрозд. Никого. Но теперь мне стало страшно. Я как будто очнулся от сна. Что я здесь делаю с пятилетней девочкой, зачем я привез ее сюда, что это на меня нашло, я мог приехать сюда и один, если уж очень хотелось убежать? Или с Бертолани, мы бы забили по косяку и поболтали о том о сем. Или, еще лучше, я мог бы приехать сюда с девушкой.

Она не шевелилась и все время молчала.

Когда я опять сел, она протянула руку к моему лицу. Испачканным пиццей пальцем дотронулась до моих губ.

Я успокоился. Это просто прогулка. Ветреный день, голубое небо. А она — моя утренняя подруга. У меня хватило смелости увезти ее. Мне так захотелось. Я проверил себя. Если я ее увез, то теперь смогу сделать все что захочу. Всегда.

Я задрал футболку, чтобы почесать живот. Рука скользнула по сухой коже, я вздрогнул, и мускулы неожиданно напряглись, наверно от холода и от тошноты. Ее глаза неподвижно смотрели на полоску волос между ремнем джинсов и моей рукой.

Честное слово, сам не знаю, зачем я это сделал, но так это началось. Я взял ее руку и положил туда, себе на живот.

— Чувствуешь, какие мускулы, — сказал я ей. — Чувствуешь? Это брюшной пресс.

Ее рука была мягкой, глаза оставались спокойными.

“Что я делаю? — подумал я. — Что я делаю?”

Мне было страшно, я понимал, что веду себя как последний дурак, но не хотел, чтобы она убирала руку с моего живота. Мне было приятно. Я ее тоже потрогал, погладил как котенка. Нежный живот, шея, мягкие подмышки, маленькие вены, которые просвечивали сквозь прозрачную кожу. Она позволяла себя трогать.

Не то что Лиза. Лиза, когда я пытался просунуть руку ей под футболку, одергивала ее и говорила: не надо, брось, не сейчас. Всегда *не сейчас.* Всегда. Она хотела только целоваться, с языком и все такое, но только целоваться.

Зато грудь у Лизы была выпуклая, и когда она надевала маечку, подмышками виднелись кустики тоненьких каштановых волос. А девочка была плоская, с лысыми подмышками. Живая кукла.

Когда я подвинул ее руку немного ниже, на молнию джинсов, она не противилась.

Я расстегнул молнию, и ее рука пошевелилась, а в глазах появилось любопытство. Она обхватила пальцами мой "перец", мне стало немного больно. Но приятно. В первый раз чья-то рука, кроме моей, трогает меня там.

В первый раз.

Я не смотрел на нее, смотрел вверх, на небо или в сторону.

Сквозь темные листья и дырку в стене я видел поля, которые все больше заливало солнце.

Внезапно я почувствовал толчок, как если бы из моего тела выдернули проволоку, соединяющую все органы. На секунду я закрыл глаза. Открыл и не увидел ничего, только непонятные пятна, красные, какие появляются, когда долго смотришь на солнце, а потом вдруг оказываешься в темноте и не можешь различить ничего вокруг, слепой от яркого света.

Она улыбалась.

Я прикоснулся к ней. Пижама застегивалась на кнопки между ног, я провел рукой по металлическим кнопкам, и она прикрыла глаза.

Все. Пора это заканчивать. Я встал, застегнул штаны. Меня затошнило, тошнота волной захлестывала желудок, я прислонился к стене, и меня вывернуло на листья какого-то куста. Я чувствовал себя ужасным идиотом. А девочка не плакала, сидела спокойно. Я был противен самому себе, и было бы лучше, если бы она закричала, попыталась помешать мне. Пока меня рвало, я держался за холодную сырую стену старого дома.

Какое дурацкое утро. Нас, скорее всего, уже ищут. Ее мать, наверно, до смерти испугалась. Плачет, наверно. Я представил себе, как она с растрепанными волосами стоит в пижаме и халате, сжимает холодные, посиневшие руки, и все лицо у нее залито мелкими слезами. Может, она еще совсем молодая, а я увез ее маленькую дочку.

Я не знал, что делать. Она была там. Руки снова в пакете, промокшем от пиццы. Глаза красивые и спокойные. Маленькая, как фарфоровая статуэтка. Порозовевшие от холодного ветра щечки. А вдруг она простудилась? Ну и кретин же я! Какой же кретин!

Пора уходить, решил я. Ее оставлю здесь, кто-нибудь найдет. Думал, а сам, не отрываясь, смотрел на нее.

Потом я услышал шум. Звук тормозов на заброшенной дороге, которая ведет на виллу. Машина. Я вспомнил о велосипеде, который оставил на краю канавы, отделяющей дорогу от парка виллы. Его точно заметят, может, уже заметили. Я услышал шорох и потом металлический щелчок открывающейся и захлопывающейся дверцы машины. Три одинаковых щелчка. Три дверцы.

Я подошел к щели в стене. Их действительно было трое. Два карабинера в форме, с пистолетами и все такое, и старик, весь в черном, как священник. Но это был не священник. Не знаю, кто это был, никогда его не встречал.

Они смотрели на виллу. Один из трех поднял за руль велосипед с травы и разглядывал его так, будто никогда ничего подобного не видел.

Надо было уходить. Сматываться. Быстро. Я огляделся. С другой стороны вилла была разрушена еще больше. То, что когда-то было дверью, теперь было огромным проломом, скрытым густыми ветками и листьями, за которыми начиналось поле. Я подошел к проходу и меня ослепил солнечный свет. Поле было как гигантское озеро из матовой травы, качающейся от порывов ветра. Темно-зеленой и влажной. Я прыгнул в это озеро. И бросился бежать со всех ног. Я бежал, хотя понимал, что это бесполезно. Они найдут девочку и потом меня, ведь у них мой велосипед.

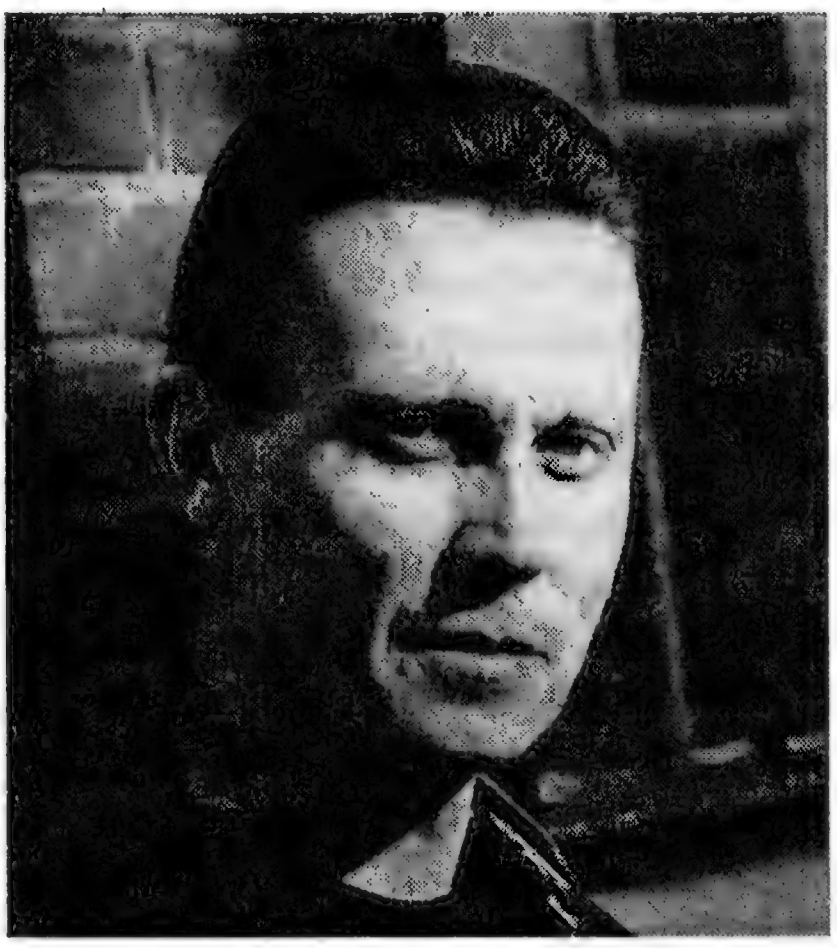
Внезапно мне расхотелось убегать. Последний рывок был как нырок в настоящее озеро, теплое и гладкое. Я без сил растянулся на траве. Она была свежая и пахучая. Под щекой я почувствовал землю. Я закрыл глаза, слушал ветер, и мне казалось, что я мог бы заснуть и увидеть сон. И потрогать облака своими длинными руками, своими новыми мускулами.

Девочка не заплакала, не закричала, не сказала ничего. Она позволила, чтобы ее взял на руки человек в черном. Так мне сказал отец. Когда девочку привезли домой, ее мать плакала, а она — нет. Она смотрела на нее спокойными, сухими глазами и единственное, что она сказала, было "Крис".

О девочке они со мной не говорили. Они говорили обо мне. Пытались запугать меня, но я понял, что никто ничего не расскажет. Ведь с девочкой все было хорошо, ничего серьезного. Я ходил с опущенной головой, время от времени кивал в знак согласия. Но про себя я думал о зеленом луге, о заброшенной вилле, о звуке ветра, о солнце, о чувстве свободы, которое я испытал тогда, когда внезапно все мои мускулы потянулись к голубому небу. Думал о спокойных глазах Джулии. О том, как сильно они похожи на маленькие серые камни.

Я продолжаю ходить по этой дороге. Но чаще езжу по ней на велике. Иногда Джулия стоит у окна в своей цветной пижаме. Я быстро проезжаю мимо, слегка поворачиваю голову, и она прижимает ладошку к стеклу — здоровается со мной. Иногда, я вижу только белое запотевшее пятнышко в форме ее маленьких пальчиков. Быстро проезжаю, с плеером, в наушниках, и улыбаюсь ветру и птицам, которые пролетают над парком, обгоняя меня.

Юха Сеппяля



На черном острове

Рассказ

Перевод с финского Ольги Андриановой

1

АВТОБУС отходил в пять утра.

В соседнем поселке, до которого уже добралась цивилизация, в темноте зажглись первые фонари, и асфальт блестел в их свете. Сюда мы с Сулеви приезжали заказывать билеты. Сулеви спросил, почему женщина засмеялась, когда я пояснил, что нам хотелось бы поближе познакомиться с горячими источниками. Еще до рассвета на подсохших полях виднелись огни тракторов и молотилок — последние жалкие попытки собрать хоть что-нибудь там, где хлеба не сгнили от сырости. Кое-где на полях в свете фар блестела черная вода.

Я сумел с горем пополам выкопать картошку. За все лето ясных дней выдалось не так уж много. Многие соседи оставили картошку на полях, потому что туда не могла проехать ни одна машина, но я целую неделю по вечерам с мотыгой приходил на свой участок и руками выбирал картофелины из грязи, обволакивавшей их, как тело моллюска — жемчужину. Сулеви после работы помогал мне, и мать его очень хвалила. Тренировки откладывались, но я убеждал Сулеви, что наклоны и приседания на картофельном поле — это именно то, что ему нужно. Как только картошку выкопали и рассыпали по ящикам сушиться, дожди надолго прекратились, и соседу Антти, который успел посадить клубнику, пришлось поливать ее по ночам.

Как-то ночью я проснулся, больше не спалось. Я вышел на двор, обошел амбар, дровяной сарай, сеновал и разглядел в темноте в полукилометре от дома свет лампочки, какую надевают на лоб спортсмены-ориен-

© WSOY, 2000
© О. Андрианова. Перевод, 2003

тировщики, — это Антти переносил поливальные установки. Было несколько градусов ниже нуля, и я знал, что брызги ледяной воды защищают посадки от мороза.

В ночи я чувствовал резкий запах скошенной и почерневшей от холода картофельной ботвы. Мне совсем не хотелось спать, но я замерз и вернулся в дом. На пороге я остановился и еще раз посмотрел туда, где плясал в черной полночной тьме желтоватый огонек.

В августе пропала целая неделя подготовки к соревнованиям, когда пришло известие о смерти Элвиса Пресли. Сулеви был совсем подавлен. Забросив тренировки, он лежал под одеялом в своей комнате с задернутыми шторами. Только на четвертый вечер он заговорил со мной и начал отвечать на простые вопросы. Все стены его комнаты были оклеены фотографиями Элвиса, и если он был дома, то постоянно включал какую-нибудь из десятков его пластинок. На тренировках я разрешал их слушать только во время репетиций произвольной программы. На пятый день вечером Сулеви спустился вниз чего-нибудь поесть после того, как я пригрозил вообще отменить поездку. Я сказал, что, если так будет продолжаться, он высохнет, как белка, с которой содрали шкуру. Он считал, что теперь, после всего, что случилось, у него нет шансов, — это явный знак, и это так же верно, как то, что из букв его имени можно составить имя Элвис. Я убеждал его, что, напротив, в подобной ситуации Король хотел бы, чтобы Сулеви сделал все возможное, высоко нес знамя маэстро и не дал бы ему уйти в небытие. На следующий вечер он ждал меня в зале. На его правом запястье была черная траурная повязка.

Сулеви попросил у меня газету, которую я листал с самого начала поездки. Он прочитал вслух сообщение о том, что пятнадцать человек были публично казнены в столице Уганды Кампале. Из казненных тринадцать были осуждены за интриги против президента Иди Амина, один — за убийство и один — за саботаж на почте. В статье говорилось, что президент в это время, якобы, лежал без сознания после небольшой операции. Подобные слухи считали уловкой, благодаря которой он хотел избежать недовольства, вызванного в мусульманском мире казнями во время священного месяца рамадана.

— Мы не в Уганду едем, — не открывая глаз, заметил я сидевшему на соседней скамейке Сулеви: он один занимал ее целиком.

— Но все же, — сказал Сулеви и на мгновение замолчал.

В Форссе мы пересели на другой автобус, где было полно народа. Сначала перенесли сумки с едой. Пассажиры смотрели, как Сулеви боком протискивался по узкому проходу. Сшить себе костюм ему было не по средствам, и пиджак был ему мал, как мальчишке, который слишком быстро вырос.

2

В аэропорту Сулеви шел за мной с левой стороны как хорошо обученная собака, словно оставляя место правой руке для маневров с пистолетом. Мы быстро нашли нашу группу и руководителя, это было не трудно: они заполняли все пространство вокруг себя взрывами хохота и до предела накачанными мышцами. Таких гигантских размéров сумок, какие были у них, я раньше никогда не видел. По сравнению с ними наши казались просто косметичками. Все ставили свой багаж на длинную ленту транспортера, которая увозила его неизвестно куда.

Однако Сулеви нечего было стыдиться рядом с этими великанами. С самого начала я внушал ему, что он одарен от природы и, целеустремленно развивая свой талант, сможет достичь любых высот. Я ни у кого не встречал таких широких плеч. И сразу стало ясно, что появление Сулеви не прошло незамеченным.

До вылета оставалось около часа, и мы вслед за всеми пошли в кафе. Персонал очень вежливо обслуживал таких гигантов, как Сулеви. Мы заняли очередь в кассу, Сулеви спросил, что я буду брать.

— Кофе.

— Я тоже, пожалуй, возьму кофе, — сказал он.

Когда очередь подвинулась еще на пару метров, Сулеви спросил:

— Возьмешь булочку?

— Нет.

— Я тоже, пожалуй, не буду брать.

Мы сели у огромного окна, из него было видно летное поле, где стояли самолеты, похожие на больших уставших, немного печальных животных. Один из самолетов, словно встрепенувшись, вдруг зашумел, загудел и начал выруливать к терминалу. Сулеви серьезно посмотрел на меня.

Мужчины, борясь с сильным ветром, поднимались по трапу и по очереди боком протискивались в дверь самолета. Внутри из-за тесноты возникли небольшие сложности, но благодаря организаторским способностям нашего руководителя и взаимной вежливости все сумели разместиться. Мы с Сулеви сели рядом, и я заметил, что при взлете он нервничал: обеими руками вцепился в подлокотники, уставился прямо перед собой и громко сглатывал слюну. Когда мы наконец взлетели, он заметно успокоился.

Самолет плавно набрал высоту, и уже через мгновение Сулеви заглядывал в иллюминатор через мое плечо: среди осеннего леса ярко выделялась зелень елок и сосен. Постепенно мы поднялись так высоко, что земля внизу казалась зеленовато-серым одеялом, на котором уже ничего невозможно было различить.

— Бросить бы отсюда что-нибудь, — сказал Сулеви.

— Ну и что потом?

— Да ничего.

Над морем висел туман и плыли клочья облаков. Казалось, мы летим над ним уже очень долго. Над континентом завеса сделалась тоньше и опять сгустилась над Атлантическим океаном. Я почувствовал, что самолет потихоньку сбрасывает высоту. Кое-где сквозь туман проглядывала серая вода, а один раз я увидел маленькую темную точку, которая могла быть кораблем. Я убеждал Сулеви, что шансы у него отличные, даже и на победу.

Во время посадки Сулеви опять вцепился в ручки кресла и уставился перед собой расширившимися глазами. Когда шасси самолета коснулись взлетно-посадочной полосы, и он покатился к зданию аэропорта, я услышал, как Сулеви с облегчением вздохнул.

3

Город стоял на берегу моря. Несколько километров от аэропорта мы ехали на автобусе. Мало кто захватил теплые вещи, а уже на аэродроме рез-

кий холодный ветер пронизывал до костей. Пейзаж по дороге в город был самый безотрадный: черная лунная поверхность, камни, груды камней, как после ядерного взрыва. Мы поглядывали по сторонам, но нигде не было видно знаменитых горячих источников, и Сулеви недоверчиво сказал, что, наверно, эти источники выдумали, чтобы привлечь туристов.

Только когда въехали в город, показалась какая-то чахлая зелень и лужайки. Многие здания были старые, деревянные. Нашу притихшую компанию высадили перед старой, но на вид уютной гостиницей.

В холле нам всем жали руки, говорили "Добро пожаловать!" по-английски и, по-моему, по-исландски. Пожилая женщина сновала среди накачанных гигантов, вытянув руку — так нацеливает клюв кружащая над добычей птица, выбирая кусок получше. С помощью нашего начальника мы заполнили маленькие карточки и получили ключи от комнат. Сулеви смотрел в мою карточку и писал в своей вслед за мной. Ладно, по крайней мере имя поставил там, где надо.

Наша комната находилась на втором этаже. Она напоминала старую горницу, только просторнее, и печки в углу не хватало: две кровати, ночные столики с цветастыми салфетками, на окне занавески в синюю клеточку, высокий шкаф у стены. Я заглянул в ванную: там был старомодный душ, и пахло свежестью, как будто кабинку только что проветривали.

— Можно ли здесь оставлять сумки? — спросил Сулеви.

— А чего бояться?

— Мало ли чего, незнакомые люди.

Я сказал Сулеви, что, как мне известно, Исландия — страна процветающая, несмотря на суровый климат. Исландцы ловят в море рыбу, добывают китовый жир и торгуют по всему миру, так что едва ли им понадобятся плавки Сулеви, тональный крем или пакеты с едой; та старая женщина, например, которая пожимала нам руки внизу, на них бы точно не позарилась. Сулеви ничего не ответил, открыл шкаф, оценивающе его осмотрел, простучал со всех сторон и начал запихивать туда сумки. Сложив их друг на друга и закрыв дверцы, он несколько секунд постоял перед ними, вытянув наготове руки. Сумки не вывалились. Я спросил: хочет ли он передохнуть, или лучше пойдем осматривать город? Сулеви предпочел прогуляться и уже причесывался перед зеркалом в ванной.

Внизу женщина за стойкой приветливо улыбнулась, когда мы протянули ей ключи. На улице светило яркое осеннее солнце, но ветер был таким свирепым и холодным, что, не пройдя и нескольких кварталов, мы были вынуждены зайти погреться в тамбур какого-то отеля, где из-под пола шел горячий воздух. Здание было большое и новое, из холла доносилась шведская речь, и я понял, что здесь остановились наши злейшие противники. По прохожим на улице сразу было видно, кто из них собирается участвовать в завтрашнем соревновании: продрогшие горы мяса шли мимо дверей то в одну, то в другую сторону, и шуму было предостаточно. В толпе мы увидели также финнов из нашей гостиницы.

Какой-то человек, похожий на швейцара, неторопливо направился к тамбуру, заложив руки за спину. Мы вышли на улицу, мимо проезжали редкие машины. Пройдя по тротуару пару сотен метров против ветра, мы увидели здание, где проводились соревнования. Это был отель, еще больше того, в котором мы грелись, перед ним на шестах были подняты флаги всех Северных стран. И по тому, как туго натягивались полотни-

ща, можно было предположить, какой холодный дул ветер. Нос у Сулеви совсем покраснел.

— Ну ладно, посмотрели, — сказал я. — Теперь пора подзаправиться.

Засунув руки в карманы, мы почти бегом возвратились в гостиницу. Женщина в холле, отдавая ключи, улыбнулась и сказала что-то, определенно имеющее отношение к ледяному ветру.

— Йес, — сказал я и бросился вслед за Сулеви вверх по лестнице.

Он стоял посреди комнаты и растирал руки. Я последовал его примеру. На улице начинало темнеть. Было четыре часа. Это означало, что теперь Сулеви должен есть каждый час, то есть почти все время. За неполные сутки ему надо было набрать 8000 килокалорий за счет углеводов. Достав несколько сумок из шкафа, он вытряхнул на кровать хлеб, фрукты, пластиковые контейнеры с кашами и картофельным пюре, шоколад и прочее.

Вечером я валялся на кровати с каким-то скучным детективом, взятым в дорогу. Время от времени откусывал кусочек от припасов Сулеви и слушал, как он непрерывно жует. В половине одиннадцатого Сулеви, рыгнув, заявил, что собирается на боковую. Я почистил зубы и выглянул на улицу: яркие фонари освещали родившийся в центре черной каменистой пустыни город, где бушевал ледяной ветер.

Сулеви заснул быстро и слегка похрапывал. А я мерз, пока не догадался надеть носки. Ветер свистел в углах здания. Я продрог еще на аэродроме. Когда мы гуляли по городу, холод усилил свою хватку, и мне казалось, что он проник внутрь и уже сделался частью меня самого.

Только как следует растерев руки, ноги, спину и грудь, я наконец сумел согреться. И все-таки мне приснилось, что я замерз.

4

На бедняжку было больно смотреть. Ей и ее коллегам никогда раньше не приходилось накрывать в гостинице завтрак для двух десятков культуристов, их тренеров и помощников. Она беспомощно стояла посреди столовой и только иногда поднимала и опускала правую руку, продолжая храбро улыбаться. Всю еду со столов смели в один момент, как будто в зал влетела стая саранчи и тут же скрылась; другие постояльцы, потихоньку подтягиваясь к завтраку, удивлялись, видя лишь пустую посуду. Корзинку с вареными яйцами просто переставили на стол для четверых, культуристы уплетали их за обе щеки. Наш руководитель ел за соседним столиком как ни в чем не бывало. Оценив ситуацию, мы с Сулеви тоже голодными не остались.

Когда мы вернулись к себе, я велел Сулеви немного отдохнуть.

— Будем тебя раскрашивать.

— Сейчас?

— Сейчас.

Сулеви снял одежду, надел плавки и улегся на кровати на живот. Я достал из сумки большой тюбик и начал выдавливать из него коричневый крем ему на икры. В инструкции было сказано, что крем держится двенадцать часов, этого должно было хватить. Поскольку почти все лето шли дожди, Сулеви даже в отпуске загорел мало, а внешний вид и рельефность мышц были одним из факторов, по которому оценивались участники соревнования. Намазав бедра, поясницу, спину и плечи, я попросил Сулеви повернуться и заметил, что он задремал в одних плавках и с

траурной повязкой на запястье. Когда раскраска была закончена, Сулеви посмотрел на себя в зеркало.

— Прямо как комики Пекка и Коротыш Патка, когда они перекрасились в негров. Я себя не узнаю.

— Где я тебе здесь возьму солярий?

— Вот черт.

— Подожди, посмотрим на остальных, в наших широтах шоколадные идальго не водятся.

— Видел я одного такого черта шоколадного.

— На юге все лето жарился.

Я велел Сулеви надеть спортивный костюм, чтобы тесная одежда не стерла краску.

Дама на первом этаже пришла в себя и улыбалась нам так, как будто завтрака и не было. Ветер дул такой же холодный, как вчера, яркое солнце ослепляло, а где-то на горизонте клубился туман. В воздухе витал странный запах, похожий на запах жженой смолы. Мы замерзли.

В подвале было шумно: постукивание металла, разговоры, вскрики и разная музыка сливались в дикую какофонию. Вся задняя стена была зеркальной, перед нею участники соревнования репетировали свои позы. Тренеры наблюдали за ними, исправляли ошибки и давали последние советы. Я сделал Сулеви знак, чтобы он взял гантели и пошел покачал мышцы.

Здесь тоже красились. У шведов даже кисти были с собой, один вспотел, и краска потекла вместе с потом, помощники пытались выровнять цвет. Мужчины перед зеркалом как только не выгибались. Их поправляли, если осмеливались. Из-за всяких таблеток и уколов некоторые были настолько нервными, что при них лучше было помалкивать. К счастью, Сулеви на замечания не реагировал, он был спокойным, когда не выпивал, и сейчас он такой ошибки не сделал.

Загорелый дочерна швед казался нервознее всех. Все время, пока мы были в зале, он стоял перед зеркалом в плавках и летней шляпе, улыбался своему отражению и любовался собой. Его тренер пытался пару раз что-то ему сказать, но тот чуть не бросился на него. Этот швед настолько иссушил себя, что вся его спина бугрилась мышцами толщиной в несколько миллиметров, а выпиравшие из-под кожи кровеносные сосуды напоминали мотки веревок, обтянутые колготками. Потом получилось так, что на соревнованиях он занял второе место, и через несколько месяцев повесился.

Сулеви даже не стал снимать одежду. В произвольную программу уже нечего было добавить, все было отрепетировано. А повторять позы ему вряд ли хотелось в этой обстановке. Перед тем как отправиться в гостиницу, чтобы несколько часов отдохнуть, мы поднялись наверх и отдали кассету, под которую Сулеви должен был исполнять свою произвольную программу: это были песни с двух пластинок маэстро "Are You Lonesome Tonight" ("Ты одинок сегодня") и "It's Now or Never" ("Сейчас или никогда").

5

После обеда мы с Сулеви вернулись в отель к началу соревнований. В подвале, как и утром, стоял шум: ругались и хвастались на многих языках, некоторые тихо сидели на корточках, обернув голову полотенцем. Паяц в летней шляпе стоял перед зеркалом и улыбался сам себе, как буд-

то кокетничал с женщиной. Я ободряюще кивнул Сулеви, и он пошел разогреваться.

Когда мы были в гостинице, я заставил его лечь на кровать и закрыть глаза. Ровным, успокаивающим голосом я рассказывал о наших деревенских пейзажах и людях, даже о соседской собаке-медвежатнике Пану. Я велел Сулеви представить себе лесную тропинку в Салохарью летом или вид из своего окна, выходившего на юг, поле с грудой камней посередине и угол коровника Мякюненов. Я велел ему думать об этом, когда он будет выполнять свою программу, и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Я говорил, что знакомая музыка облегчит ему задачу и позволит почувствовать себя свободно, как на тренировке.

Я советовал ему сконцентрироваться, сосредоточиться на чем-то одном, просил вжиться в сознание молодого маэстро: вот Элвис впервые поднимается на сцену где-то в глухом городке на юге, еще чуточку неуверенный, но уже осознающий свою власть над публикой. Или в Германии выходит на площадку перед сотнями стриженных под бокс американских солдат, они хлопают и кричат "ура" будущему королю. Понизив голос, я тихо повторял ему: "Помни, ты Король, Король, ты Король".

У Сулеви были крепкие нервы. Он снова задремал.

Соревнования проводили на первом этаже, куда участники поднимались из подвала после того, как объявляли их имена. Открывала соревнования легкая весовая категория, тяжелая осталась на десерт. Сулеви пришлось ждать, но он провел время спокойно, с пользой — растягивался, разогревался и накачивал мышцы. Наверху спортсменов представляли по весовым категориям. После этого начиналась обязательная программа, а потом каждый участник показывал свою произвольную программу. Обязательную программу многие ненавидели; она была одинаковой для всех и спланирована так, что никто не мог скрыть своих недостатков. В произвольной же каждый показывал только то, что хотел, свои лучшие стороны, да еще под музыку.

После выступления участники потихоньку спускались вниз, одни радостные и воодушевленные, другие мрачные. Перед тем как объявили Сулеви, я подошел и хлопнул его по плечу. Он смотрел на меня, но взгляд его уже ушел внутрь, и я понял, что ему удалось сконцентрироваться. Когда он поднимался по лестнице, я шел сзади.

На первом этаже в холле было несколько сотен зрителей. Посередине возвышался подиум, а вокруг него располагались судейские столы. Я пробрался поближе к подиуму и остался стоять, хотя мне предложили стул.

Через полчаса расстановка сил была вполне ясна. У Сулеви в его категории не нашлось серьезных противников, кроме одного шведа, почти такого же черного, как идальго в летней шляпе. Когда этот швед двигался по подиуму, его глаза и зубы сверкали на смуглом лице. Сулеви выполнил и обязательную и произвольную программу ровно, не блестяще, но убедительно. Я почувствовал, что черная лента у него на запястье вызвала у зрителей интерес. Когда закончилась произвольная программа, и отзвучал тенор Элвиса, Сулеви достались дополнительные аплодисменты.

После этого судьи начали вслух сравнивать Сулеви и шведа. Сулеви весил около ста килограммов, швед примерно столько же, но был сантиметров на десять пониже. Решение объявили только на вечернем выступлении. И получилось, что хоть у шведа и были слабые стороны, он

победил. Победила масса, а не гармоничность и сила. Однако пока результат соревнований был известен только судьям.

6

Вечером было главное шоу. Мы с Сулеви сходили к себе в гостиницу, но, поскольку формальности требовали от спортсменов повторения программы вечером, Сулеви поел совсем мало. Я спросил, что он думает о своих шансах.

— Ты хочешь сказать, что я останусь вторым?

— Может случиться и так.

— Может, черт возьми.

Когда мы шли к себе в гостиницу, было еще светло, но возвращаться в отель, где проходили соревнования, пришлось уже в полной темноте. Ветер дул по-прежнему; поднятые перед отелем флаги Северных стран натягивались и трепетали.

Из холла Сулеви сразу же проводили в подвал. Я заметил, что для зрителей устроили дополнительные места, количество рекламных проспектов, разложенных у стен, прибавилось. Народу было полно. По тому, что творилось в тамбуре, я понял, что билеты уже все проданы.

Как тренер участника соревнований, я получил хорошее место у самого подиума. Вечернее шоу опять открывали спортсмены легкой весовой категории. Оно включало в себя только произвольные программы. Многие участники привезли с собой группы поддержки, и они устраивали невообразимый шум. Освещение было как на дискотеке, огни то зажигались, то гасли, световые лучи, мерцая, метались по всему залу, будто разыскивая кого-то. Меня едва не охватила паника. Никогда раньше я не чувствовал себя настолько одиноко, как в тот момент среди шума и толпы. Музыка с подиума гремела так, что я не услышал бы собственного голоса, если бы закричал. И если бы я закричал, то лишь для того, чтобы позвать на помощь. Мне казалось, что я брошен на произвол судьбы, что я никто, что меня не существует. Кругом одни безумцы, я не знал никого, кроме Сулеви, который где-то в подвале готовился к выступлению с произвольной программой; кругом — каменная пустыня, ледяной ветер и тьма, мы были на острове посреди океана, готового вот-вот поглотить нас.

Я попытался взять себя в руки, смотрел перед собой невидящими глазами и дышал ровно и спокойно.

Грохот музыки и шум на мгновение стихли, как в цирке, когда воздушный гимнаст собирается выполнить самый сложный номер.

Тяжеловесы не вышли на подиум по очереди, как делали все остальные. Музыка грянула с новой силой, оглушая, раздирая барабанные перепонки. Никто не появился, но из-под пола рядом с подиумом пошел дым, он просачивался отовсюду, словно в недрах земли бурлили вулканические ключи, и струи пара били в центре людской толпы. Разноцветные лучи прорезали дым и окружали подиум. Казалось, наступил конец света, и дым вырвался из самого сердца земли, из преисподней, для того, чтобы задушить нас, чтобы задушить меня. Первый раз за все время, проведенное на этом Богом забытом острове, меня прошиб пот. Музыка опять чуть стихла, и огромные двери грузового лифта открылись перед зрителями. Залу предстали участники, которых подняли в этом лифте из подвала прямо на подиум.

Отвратительно громкая музыка грянула снова. Пятеро стокилограммовых блестящих от масла мужчин двигались по подиуму в дыму и световых лучах как на замедленной пленке. Это были не люди, это были поднявшиеся из-под земли великаны, мифические существа, чудовища этого острова, те, кто производил оглушавший нас шум и на чью милость мы были отданы. Их блестевшая в электрическом свете кожа была натянута, как будто готовая вот-вот лопнуть от мощной и грозной силы, таящейся в этих существах и рвущейся наружу. Казалось, в любой момент они могли ринуться на нас и растоптать.

Участников представили публике, и они по очереди начали показывать свои программы: сгибались, двигались, напрягали и выпячивали мускулы. Я следил за движениями Сулеви и видел, что он добился полного автоматизма в движениях, выполнял все как машина, ни о чем не думая и ничего не чувствуя. Я понял, что единственный в зале чувствую это; те, кто видели его сейчас на подиуме, видели лишь сто килограммов измученной тренировками плоти, а не того мальчишку, который попросил меня пойти с ним вместе в магазин покупать бензопилу, чтобы его не обманули, который не осмеливался пригласить Лиису Рахконен на танец, боясь отказа. Это был Сулеви, в плавках, посреди дыма и разноцветных лучей, посреди океана, в центре каменного черного острова с безжизненной поверхностью.

Судьи, как и раньше, сравнивали участников между собой, хвалили и критиковали. В действительности все было решено еще днем. Когда участники показали произвольные программы, их погрузили обратно в лифт и отправили в подвал. После этого судьи сделали вид, что немного посовещались, и барабаны затрещали в знак того, что победители поднимаются в лифте на подиум. По глазам Сулеви было видно, что он уже приготовился ко второму месту. Он спокойно поднял руку, помахал букетом и обнялся со шведом, который от радости прыгал и кричал. Шведу принесли большую бутылку шампанского, и он брызгал им во все стороны. Сулеви вытер шампанское со лба и подал мне знак: пошли отсюда к черту.

Меня остановил руководитель нашей группы, он сказал, что у трех победителей в каждой весовой категории есть шанс попасть на чемпионат Европы. Но найти желающих было не так-то просто, поскольку там проводились гормональные тесты. Позже я узнал, что бушевавший сейчас на подиуме швед ошибся в графике приема гормонов, и на первенстве Европы его уличили в использовании запрещенных средств. Разумеется, мы с Сулеви не очень расстроились. Когда я спустился в подвал, Сулеви уже оделся и был готов идти. Я хлопнул его по плечу, по дороге в гостиницу он не проронил ни слова. Было холодно и темно.

7

Вечер прошел уныло, зато спокойно. Сулеви топил свое горе в еде. Он доел все, что еще оставалось в сумках. Закончил в половине одиннадцатого. Более часа я слушал, как он ворочался и пыхтел, потом я натянул носки и заснул.

Утром приветливая дама внизу улыбнулась Сулеви дружелюбней обычного, как будто она слышала о результатах вчерашних соревнований. На завтрак еды было больше чем обычно, но все равно подносы опустели очень быстро. Я предположил, что теперь исландцы вряд ли

когда-нибудь еще согласятся устраивать у себя соревнования по бодибилдингу на первенство Северных стран. Сулеви был со мной полностью согласен.

Мы собирались пойти в город купить что-нибудь на память о поездке. Вернуться надо было к половине одиннадцатого, так как вся наша группа перед отлетом должна была еще успеть искупаться в горячих источниках. Мы обещали руководителю не опаздывать.

День был пасмурный, и ветер смягчился. Иногда накрапывал дождь. Запах жженой смолы в воздухе усилился. Мы с Сулеви обошли целый квартал, заглянули в несколько магазинов и купили синие городские вымпелы. Навстречу нам попались шведы, было похоже, что в сумке у них не только бутылка шампанского.

8

Автобус подъехал к гостинице в половине одиннадцатого. Всю дорогу опять тянулась черная каменистая пустыня. Где-то далеко на горизонте за пеленой тумана синела какая-то возвышенность — может быть, гора, а может, цепь холмов. По обеим сторонам дороги виднелись маленькие деревянные домики и жерди, на которых сушилась рыба.

Этот пейзаж не принадлежал никакой эпохе и в то же время он словно сохранился с доисторических времен, казалось, что рыба на жердях висит уже тысячелетиями, и к ней не прикасалась рука человека — то ли о ней забыли, то ли никому не нужна. Она напоминала священные изображения, которым поклонялись островитяне. Мы находились вне времени и пространства. И только успокаивающе звучало в ушах ворчание автобусного мотора.

Вдалеке уже был виден поднимавшийся к облакам и сырому небу пар, клубы были такие густые, как будто на морозе распахнули дверь сауны. Источники находились в долине между двух возвышенностей. Там были устроены бортики и перила, как в открытом бассейне. Деревянные кабинки для переодевания тоже напоминали раздевалки в бассейне. Когда мы вышли оттуда под открытое небо, шел дождь.

Мы бултыхнулись в воду, над которой стоял пар. Она была не просто теплая, а почти горячая. Купаться в ней казалось странным, странным был и цвет воды. Из-за темного дна она выглядела черной и грязной. Сулеви нырнул и вынырнул, высоко выпрыгнув из воды, как торпеда, вытянув вперед руки с черной лентой вокруг запястья. Я заметил на его левом предплечье остатки коричневой краски и сказал ему об этом. Он долго тер кожу в горячей черной воде, пока от крема не осталось и следа.

Лиза Майер

Стихи из книги "По крышам опять барабанит"

Перевод с немецкого Д. Белякова и Д. Кузьмина

Ненадежно

От крыши к крыше
птицы разворачивают гомон
передавая
все дальше день

В теплых утробах
домов
еще во власти снов
дети поворачиваются
к востоку

Дверь ночи
затворилась

Темноту
уложили обратно в шкафы
или так показалось дрозду

Издалека обманчиво светит солнце

***

Высматриваю тебя
между мгновениями
без начала, без конца

Беззвучные песни
бьют в деревянные барабаны

Сбились кучками
будто мерзнут
забытые, потерянные дни

©. Haymon–Verlag, Innsbruck, 1999
©. Д. Беляков и Д. Кузьмин. Перевод, 2003

Редакция выражает благодарсность Лизе Майер за разрешение безвозмездно опубликовать стихи в русском переводе на страницах нашего журнала.

Рушится занавес
и в за́мок последняя дверь

Падаю, падаю
в твое время

Взгляд назад

Вслушайся
в этот белый смех
звенящих друг о друга
имен

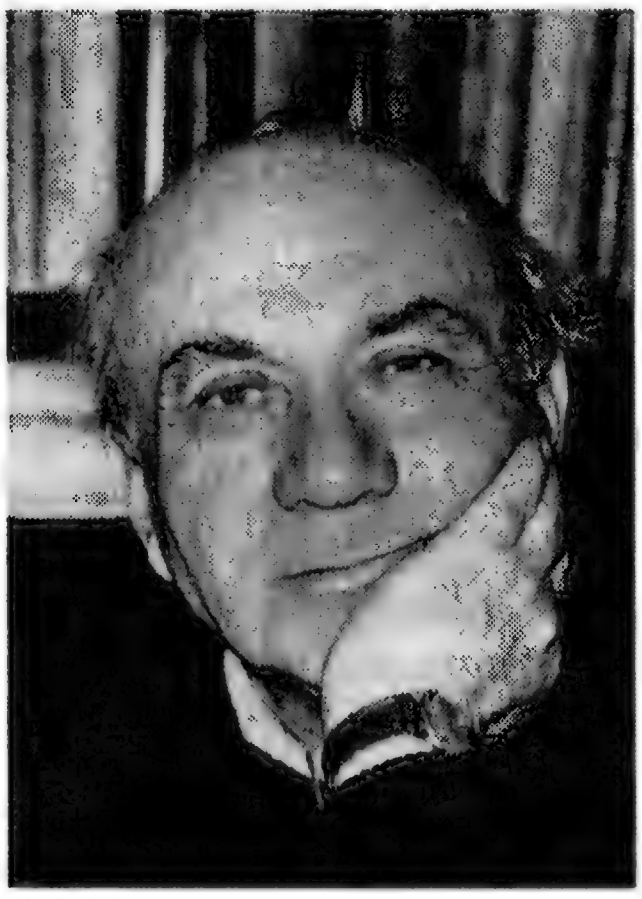
На долгий взгляд
нанизаны картина за картиной

За стеклом дрожит
ребенок с нежной кожей
В его руках плещет пеной свет
с пальцев
капает сияющий мед

Стареющая женщина
неторопливо смалывает время
бесшумно, слово за словом
в тончайшую муку

Затем выпекает белый хлеб
зимами
снежные розы в ее волосах

Дюла Ийеш



Гунны в Париже

Главы из романа

Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

2 ноября 2002 года исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося венгерского писателя — поэта, прозаика, драматурга — Дюлы Ийеша. Он умер в 1983 году, немного не дожив до бесславного конца социалистической утопии. Так что вся его, как принято говорить, сознательная жизнь прошла под знаком идей социализма и коммунизма.

Но сознательной эту жизнь можно назвать не только по возрастному признаку. Дюла Ийеш, в отличие от многих и многих своих современников, прожил ее действительно *сознательно*, то есть — с открытыми глазами, постоянно стараясь осмыслить, что вокруг него происходит и каково его место в происходящем.

Сознательно — это значит еще и активно. То есть в постоянном стремлении сочетать действия и жизненную позицию со своими взглядами и принципами.

А поскольку практически вся история Венгрии в XX веке — это история сменяющих друг друга диктатур, то правых, то левых, то жестких, кровавых, то относительно "мягких", Дюла Ийеш, с его верностью народным, крестьянским низам, из которых он происходил, и врожденной склонностью к демократии, очень часто оказывался в оппозиции (иногда — "мягкой") к существующему режиму.

Семнадцатилетним юношей, незадолго до этого приехав из родной задунайской деревни в Будапешт, Ийеш стал участником революционных событий 1919 года, а после разгрома венгерской Коммуны, среди других уцелевших, вынужден был на несколько лет покинуть Венгрию.

Так он оказался в Париже. Об этом и рассказывает роман, который публикуется здесь в сокращенном, журнальном варианте.

© Illyés Gyula, 1970
© Ю. Гусев. Перевод, вступление, 2003
Перевод осуществлен при поддержке фонда "Венгерский дом переводчика".

О том, как этот роман создавался, читатель узнает от самого автора, в "Постскриптуме", написанном спустя почти четверть века после первого издания "Гуннов в Париже" (1946). Я лишь хочу сказать вот о чем.

Когда Ийеш работал над "Гуннами в Париже", он смотрел на революционное движение если и не со стороны, то вполне ясными и трезвыми глазами. Отсюда — порой добродушная, а порой и довольно едкая ирония, с которой он описывает болезни, уже тогда захватившие рабочие организации. И в том числе самую страшную (как мы это видим сейчас) из этих болезней: начетничество и догматизм, которые оказались для "реального социализма" опаснее раковой опухоли.

Очевидно, именно этот беспристрастный, без всякой идеализации, взгляд на ситуацию в рабочем движении и был причиной того, что "Гунны в Париже" у нас никогда не переводились.

В одном из интервью, которое Ийеш дал в 1979 году, он говорит: "Сегодня мы едва можем представить, во что верили в начале XX столетия, то есть начиная уже с рубежа веков и до середины 20-х годов, да и много позже, лучшие представители человечества, как, впрочем, и массы. Это был настоящий ренессанс веры — веры в то, что человечество, погрязшее в грехе, может быть спасено. Причем спасено немедленно, посредством мировой революции. Эта вера в такой мере овладела человечеством, в какой, насколько я знаю, не овладевала им, по крайней мере в Европе, со времен Реформации"[1].

Но каждая эпоха читает книги по-разному. Для нас сегодня "Гунны в Париже" интересны скорее не как историческое, а как художественно-автобиографическое произведение, в котором отражена судьба и конкретного человека — тем более что это такая масштабная личность, как Дюла Ийеш, — и судьба людей целой эпохи с ее беспредельной, в чем-то вызывающей сочувствие, но в общем — в перспективе — опасной наивностью, с ее утопическими упованиями.

Органично, достоверно и в то же время без тяжеловесности и усложненности отражает Ийеш внутренний мир своего героя, в котором странно, даже причудливо уживаются, почти не мешая друг другу, молодой крестьянин, воспитанный в пуританском духе, — и сторонник самого крайнего авангарда; пролетарский революционер — и потомок древних кочевников и воинов-гуннов. В общем-то, все это умещается в одном слове: романтика. Едва ли не все персонажи книги: и провинциальные венгерские парни, очутившиеся в Париже, и юные французы, ниспровергатели канонов и авторитетов — сплошь неизлечимые романтики и идеалисты. Они вызывают добрую улыбку, но в то же время за них становится страшно, когда представишь, что ждет этих прекраснодушных молодых людей, когда их идеалы, их душевная чистота столкнутся с суровой реальностью XX века...

И еще нужно, наверное, сказать: "Гунны в Париже" — это роман о любви. О любви чистой, романтической, застенчивой и, может быть, как раз поэтому трогательной и прекрасной; тем более прекрасной, что в те времена в большом ходу были и совсем иные представления о любви. Свои (или своего героя) сердечные переживания тех лет автор описывает не без иронии, но в отношении к ним немало и ностальгии, тихого любования тогдашними своими идеалистическими представлениями о жизни, даже тогдашней своей неловкостью.

Одно из поздних произведений Ийеша, "В ладье Харона", носит второе название — "Симптомы старости". Мне кажется, и "Гунны в Париже" вполне могли бы получить второе название — "Симптомы молодости" или, например, "Диагноз: юность". Это в одинаковой мере относилось бы и к самому герою-рассказчику, и к большинству его персонажей, и к описываемому им времени.

1. Цитируется по предисловию Д. Сараза к незаконченному роману Ийеша "Караван Святого Духа", изданному посмертно в 1987 г. . (*Здесь и далее – прим. перев. Прим. автора указаны особо.*)

Увертюра

АКТОВЫЙ зал Сорбонны заполнился на добрых три четверти. Дальше тянуть, по-видимому, смысла не было, публика начинала терять терпение. На сцену с торжественной медлительностью прошествовал почетный президиум: приглашенные знаменитости, среди них — докладчики. Они расселись, но тут же и встали. Оркестр заиграл "Марсельезу"; затем, в качестве венгерского гимна, "Марш Ракоци".

К трибуне бодро просеменил ректор Оляр, маленький, с большой бородой. Празднуя юбилей Петёфи, каждая нация приветствует в нем борца за свою свободу, Петёфи принадлежит всему человечеству, — легко, без усилий нанизывал он фразу на фразу. Вот он уже и закончил свою речь.

Собрание было посвящено столетию со дня рождения Петёфи.

Потом выступал Бонфон, журналист, одинаково гневливо-пылкий и в своих статьях, и в речах, но, как о нем говорили, и там и там одинаково продажный. Пыл и на сей раз подхватил и понес его. Он так и сыпал проклятиями, хотя и не очень ясно, в чей адрес: то ли правительства, то ли Америки. Он представлял здесь самоё французскую духовность, которая явилась отдать дань величию Петёфи. Взмахивая седой гривой и длинными пальцами, он низко склонял главу перед поэтом цыган, трактиров и битв — склонял не только символически, но и буквально, вновь и вновь сгибая в поклоне свою сухопарую фигуру. Безудержному потоку его слов упрямо сопротивлялась одна-единственная скала: фамилия поэта. В громогласном словобурлении Петёфи скоро преобразился в Питефея, потом — уже до конца — фигурировал исключительно как Питофей.

Из рядов почетных гостей поднялась и вышла на авансцену статная женщина, одетая в широкую, в пышных складках юбку из красного бархата и в безрукавку со шнуровкой и оторочкой из лисьего меха: настоящая трансильванская княгиня. Уже ее вид вызвал аплодисменты. Это была Эржи Паулаи; она продекламировала по-французски "В конце сентября", "Тису", потом по-венгерски "Как мне тебя назвать". За последнее ей, из вежливости, похлопали особо. Холодноватая атмосфера в зале слегка оттаяла.

Тут к трибуне, гордо неся атлетическую фигуру, обтянутую фраком, вышел Пекар. Он был явно гвоздем программы; это видно было уже по тому, как он разложил перед собой бумаги, как вскинул, озирая ряды, свежевыбритую, гладкую, как бильярдный шар, голову. Хорошо поставленный голос его заполнил зал: чувствовалось, он готовился. Уже во второй фразе, долгожданное, прозвучало слово "свобода".

Но пока еще ничего не произошло. Пекар продолжал. Вот он произнес "свобода" второй раз.

С другой стороны зала Пульхер подал мне знак: поднял руку, потом сразу опустил: дескать, давай. И сам тут же выкрикнул с вопросительной интонацией, тоже по-французски:

— Свобода?

Саркастическая интонация удалась ему блестяще. Напряженная торжественность вдруг взорвалась.

Тут включился и Венцель, сидевший на балконе. Вскочив, он закричал:

— О белом терроре говорите!

Я встал. Мною вдруг овладел мандраж: сидевшие вокруг все повернулись ко мне. Легче было бы, наверное, выстрелить из револьвера. Чувствуя, как щеки мне заливает жар, а горло сводит мучительной спазмой, словно я должен декламировать стихи на экзамене, я хрипло выкрикнул:

— Узурпаторы!

Ударение соскользнуло с нужного слога, и слово вышло какое-то хромое. Я поспешно бросил вдогонку:

— Осквернители могил!

Из-за торопливости, наверное, это прозвучало еще более нелепо, еще более смехотворно.

Меня прошиб пот. Ни Тренчени, ни Миллера я уже не слышал. Не слышал и остальных.

Тут произошло неожиданное.

В одном из углов вдруг загремел отлаженный, с четким, безошибочным ритмом хор:

— Hongrie voleuse! Венгрия — воровка! Петёфи был славянин!

Об этих мы ничего не знали. Весь наш замысел, кажется, вылетал в трубу.

Пульхер, однако, не потерял присутствия духа. Он снова поднял руку и закричал:

— Свобода?

Но его заглушил все тот же слаженный хор:

— Петёфи — наш! Петёфи — наш!

Слово "Петёфи" им тоже давалось непросто.

Я все еще стоял в растерянности; то, что происходило вокруг, Петёфи уже не касалось. Раздался свист, смех, аплодисменты. Девственная фреска Пюви де Шаванна "Священная роща" с аллегорическими фигурами Поэзии и Риторики словно поднялась еще выше над земным прахом, в еще более девственные сферы. Оляр на сцене вскочил и с порывистой решительностью, свойственной малорослым людям, выбежал из зала. Первым из профессоров, которые двинулись следом за ним, был Эйземан. Он не скрывал презрительной улыбки. Торжество, хотя и не захлебнулось в скандале, основательно в него окунулось.

По пустому ряду бежал в мою сторону Божар, наш музыкант; бежал боком, приставляя ногу к ноге, будто чардаш танцуя: как еще можно бежать в таком узком проходе? Он яростно махал мне рукой, потом махнул куда-то себе за спину. Но я уже и сам увидел за спиной у него полицейских. С хирургической точностью мастеров своего дела они в два счета изъяли из публики возмутителей спокойствия. Глухо, как бы под сурдинку, прозвучали один-два удара, то ли дубинкой, то ли кулаком, нацеленным в нужное место. Жертвы почувствовали, что кричать от боли в таком месте не приличествует.

— ...великий певец любви и свободы! — завершил наконец наверху, на трибуне, Пекар свою фразу.

В полицейском участке на улице Кюжа сразу началось установление личностей. Нас, задержанных, было человек двадцать — двадцать пять. Слаженный хор — сербы и чехи — держались от нас в сторонке. Их отпустили быстро. Полицейский сержант лишь прошел между ними, скользя взглядом по удостоверениям у них в руках.

И снова наваждение; сколько раз оно уже настигало меня с тех пор, как я приехал в Париж! Среди членов славянского хора я вдруг увидел

знакомое лицо — лицо Пишты Лати, помощника сельского головы в Дёбрёкёзе. Как он-то здесь оказался? Что за чудеса в решете? Я поднял на него взгляд. Он дружелюбно подмигнул мне; круглые тюленьи глаза его, как всегда, лукаво блестели. Я потряс головой: не сон ли это?

Он шагнул ко мне и заговорил.

По-венгерски он не знал ни слова.

Пульхер тоже прошел проверку без приключений. Только тут выяснилось, что он уже несколько месяцев как получил французское гражданство: Аннет стала-таки ему законной женой. Следующим был Венцель. Он к нашей затее отнесся без всякого воодушевления. И участвовать в этой "мелкобуржуазной акции по выпусканию пара" согласился только из солидарности. С индифферентным видом он стоял и здесь, в участке. Полицейский чин подозвал его к столу. Венцель спокойно положил перед ним документ. Сердце у меня замерло.

Был у меня старый, истрепанный, с отсутствующими страницами паспорт. Вскоре после моего прибытия Венцель попросил его у меня — на некоторое время. И каким-то образом — то ли благодаря дерзости своей, то ли просто ему повезло — ухитрился, с моим паспортом, получить вид на жительство. Сейчас этот вид на жительство, на мое имя, но с его фотографией, красовался на столе.

А у меня в кармане лежал тот самый, потертый, изжеванный, да еще и намеренно измятый паспорт с выдранной страницей, на которой должна была находиться въездная виза.

Полицейский взял в руки бумагу и, вопросительно глянув Венцелю в лицо, прочитал по буквам мою фамилию: Ил-л-е-с[1].

Венцель сосредоточенно кивнул.

Офицер отложил бумагу, записал фамилию в протокол.

— Ты испанец?

Венцель смотрел на него непонимающе.

— Торрес, Баррес... — произнес полицейский, нажимая на "е" и на "с" в конце слов. — А, все они — испанское отродье! Жорес, Монтес... Ты — из Барселоны?

Умное лицо Венцеля вытянулось. Видимо, он решил прибегнуть к старому своему рецепту: притвориться круглым дураком.

— Ты — испанец из Каталонии?

— Из Венгрии, — тихо ответил Венцель.

— Пошел! — буркнул полицейский, щелчком отбрасывая бумагу. — Мой дед, кажется, тоже откуда-то из-за Пиренеев вылез!.. Убирайся!

Он поднял руку и махнул презрительно.

— Пажес... Ну, пошел! Следующий!

Что-то словно толкнуло меня. Если я промедлю — шесть месяцев тюрьмы. Я шагнул вперед. Но на стол положил не паспорт, а нечто такое (пропуск в больницу Св. Анны), что с точки зрения установления личности обладало не большей ценностью, чем, скажем, счет от портного. На бумаге значилась только моя фамилия.

Офицер свою роль сыграл даже лучше, чем я предполагал.

— Тот, кто вышел сейчас, твой брат?

Я храбро кивнул. И спустя пять минут был на улице.

Ни Венцеля, ни Пульхера, ни других.

1. Примерно так человек, не знающий венгерского, прочтет фамилию Illes (Иллеш). Впоследствии писатель изменил фамилию на Illyes (Ийеш).

Но на другой стороне улицы — все то же наваждение: Пишта Лати, его голова, хитровато, по-птичьи склоненная набок; рядом — три-четыре незнакомых лица. Пишта Лати, увидев меня, тут же перебежал мостовую.

— Враги моих врагов — мои друзья, — сказал он по-французски.

Эта банальность тоже была в духе Пишты; как и наивно-самоуверенная улыбка.

Но — голос! Он был таким ошеломляюще неожиданным, словно из клетки с канарейкой вдруг послышалось коровье мычание. И — этот французский язык!

— Божа Томашевич, — произнесли чужим голосом губы Пишты Лати. — Кажется, мы уже встречались в библиотеке... Давайте знакомиться!

Я невольно шагнул назад.

Самым невероятным было именно то, что это такое знакомое мне лицо я никогда в жизни не видел. С противоположного тротуара подошли еще двое. Какой-то Влада и какой-то Митар. Благоевич, что ли?

— Может, отметим знакомство кружкой пива?

У меня были дела. Так что, едва познакомившись, мы тут же и расстались. Отойдя, я оглянулся: привидение Пишты Лати, явившееся мне в этой чужой обстановке, удалялось знакомой, покачивающейся походкой. Я свернул за угол, по направлению к собору Парижской Богоматери, еще ощущая в жилах возбуждение от пережитого.

Я торопился; мне надо было срочно проверить одну информацию: что жилье в Париже дешевле всего в самом сердце этого ужасно дорогого города — на острове Сен-Луи, на задах собора. И что вообще в тех местах все дешево; даже, говорили, молоко и хлеб.

В *разведке*

Улицу эту, да и весь остров, на несколько лет ставший для меня в парижских дебрях чем-то вроде излюбленного урочища, где всегда можно спрятаться, отлежаться в уютной берлоге, — Бальзак называет останками мира откупщиков[1]. Когда он оказывался здесь, в душу его вселялись печаль и тревога. Виной тому был угрюмый вид доходных домов и нелюдимых, пустынных особняков, громоздившихся по сторонам. Когда я впервые попал сюда, особняки — во всяком случае, большинство из них — не выглядели такими уж нелюдимыми. А вокруг доходных домов и на всем пространстве меж ними кишела, напоминая потревоженный муравейник, пестрая толпа, иногда до того густая, что в ней вязли, едва продвигаясь вперед, тележки зеленщиков и редкие авто: опрометчиво заехав на остров, они вскорости и застревали в здешних даже по парижским меркам тесных улочках, столь узких, что какой-нибудь атлет, не обязательно из чемпионов, легко мог бы перемахнуть с тротуара на тротуар. А что же откупщики? По всей видимости, не они размножились тут в таком устрашающем количестве. На улице, где они ходили когда-то, неприступные и одинокие, теснилась теперь самая что ни на есть разношерстная, а стало быть, самая что ни на есть неподдельная беднота. Та, даже в Париже долго остающаяся чужеродной, неимущая масса, что просачивается по сооб-

1. В романе "Феррагус". (*Прим. автора.*)

щающимся сосудам безысходной провинциальной нищеты и прорывается вдруг, словно из решеток канализации, затопляя незащищенные кварталы столиц. Подпочвенные воды эти, гонимые голодом, нуждой, и после таинственного процесса фильтрации приносили с собой, вместе с грязной пеной, столько провинциальных красок и ароматов, столько, я бы сказал, сельской свежести, что душа радовалась; в те времена стихия эта захлестнула пока лишь главную улицу острова Сен-Луи, что пристроился в водах Сены позади Сите, острова собора Парижской Богоматери, напоминая спасательную шлюпку, влекомую за пароходом. Небольшим мостом — мостом Сен-Луи, который жители острова, впрочем, зовут не иначе как Красный, — островок как бы привязан к тыльной части собора. К тому месту, где в былые времена находился — как раз в те годы его снесли — городской морг.

Остров этот, лежащий у подножия колоссального собора с его могучими башнями, подобными туго надутым парусам, лишь сейчас, из перспективы прошедших десятилетий, как бы с высоты птичьего полета, видится мне легкой спасательной шлюпкой. А в тот день, когда я спускался к нему от Бельвиля или Обсерватории, в тогдашнем моем восприятии остров, хоть рядом с громадой Нотр-Дама и не казался очень большим, все равно размерами, да и формой своей напоминал матерого кита, плывущего за собором. И даже в своей относительной малости выглядел величественным и массивным. Со стороны вряд ли можно было что-то заметить из тех изменений, что бушевали на острове, в сердцевине его, с недавних пор, самое большее — с начала столетия. Здесь, на высокой гранитной набережной, придававшей острову сходство со средневековым замком, за гранитным же, но почти по-сезанновски изящным парапетом, по-прежнему высились, взирая на Сену из-под строгих фронтонов и даже будничной простотой своей внушая почтение, особняки былых вельмож. Среди них, на северном берегу, находился и тот, где когда-то Бодлер со товарищи предавались радостям жизни в искусственных райских кущах ("Отель Пимодан"), а на южном — тот, где в течение многих десятилетий, со времен Адама Мицкевича, находили прибежище, заливая французским вином тоску по далекой родине, польские эмигранты.

Бóльшую часть этих особняков построил в середине XVII века Лево; в них, в разное время, жили Вольтер, Домье, Готье, Бруссон, Леон Блюм. Словно ржавый меч в украшенных драгоценным жемчугом ножнах или — говоря проще, зато нагляднее — словно слива, из верхушки которой как раз высунулся червяк, — таким был в те годы этот остров с его все еще безупречно благородным обрамлением и извивающейся в середине, суетливой главной улицей, на которой — это была, кажется, единственная ее достопримечательность — жил когда-то народный трибун Коффиналь, прославившийся тем, что в свое время, на заседании революционного трибунала, громогласно заявил: ученые Республике не нужны.

Ни об этой, ни о прочих здешних достопримечательностях я, впрочем, понятия не имел в тот день, когда, выбравшись из-под мышки Парижской Богоматери, через коротенький, в несколько шагов длиной, Красный мост впервые ступил, почти не заметив этого, на остров Сен-Луи. Зато, не в памяти даже, а в сердце, ставшем на чужбине крайне чувствительным, я хранил один исторический факт (но как сладко мне было хранить его!): когда-то, осадив Лютецию, именно на этом острове Аттила, царь гуннов, держал свой походный табун, на этом острове разбил свой шатер, на нем принимал прибывшую к нему святую Женевьеву:

как гласит национальное предание, на вечернюю трапезу, а злоязычие (тоже национальное) — на ночь. Упоительный этот факт я лелеял в самой глубине сердца, оберегая его от сурового взгляда несгибаемого революционера, который жил во мне в те годы. Тогдашнее мое просвещенное мировоззрение, безупречное европейское самосознание, блиставшее такой девственной чистотой, какой оно способно блистать лишь в душе девятнадцати-, двадцатилетнего молодого человека, никак не сочетались с тайным, варварским удовлетворением от того, что Аттила-то вот, как ни крути, побывал здесь и что, захоти он, от этих западных гордецов мокрого места бы не осталось. Тщетно пытался я — и в те годы, и позже, попытками этими почти неизменно высекая в общественном мнении искры неподдельного негодования, — сочетать в себе социального реформатора и гунна, две ипостаси завоевателя мира, сблизить которые, следом за Блоком с его "Скифами", столько раз пробовали потом и в искусстве, и в философии, и в политике. Почему же я все-таки стыдился притаившегося во мне гунна? Наверное, потому, что втайне гордился этой частью своего "я". Но мне было тогда не до гордости: гуннская сторона души моей лишь усугубляла мое венгерское сиротство, которое причиняло мне боль. Теперь-то я могу признаться: да, немалую боль.

Что же мне не терпелось увидеть в Париже? В первое же воскресенье я, как прилежный школяр, направил свои стопы в Пантеон. Нет, не к праху Гюго и Золя. Католик, в какой бы точке земли он ни находился, ощутит под ногами твердую почву, как только увидит возле дороги распятие или образ девы Марии. Такую же твердую почву, такую же душевную поддержку — среди враждебных волн бескрайнего моря чужбины — надеялся обрести и я, увидев одну из картин, находящихся в Пантеоне, — картину, на которой изображен устремившийся на запад Аттила; не уверен, правда, что экскурсию эту я предпринял сознательно, а не подчинившись шевельнувшемуся во мне, недавнем школьнике, наполовину уже погребенному воспоминанию. Ведь о том, что царь гуннов увековечен в Пантеоне, я узнал — если память меня не обманывает — в младших классах средней школы; а может, и того раньше, еще на хуторе, от первого своего учителя, словака по национальности, но пламенного венгерского патриота по убеждениям. Это было одно из блистательных доказательств нашей национальной значительности, которое, сияя вдали, вполне встраивалось в один ряд с такими фактами, как то, что Лист и Дюрер были по происхождению венграми, что спички изобрел венгр Ирини, что на международное "алло" самым естественным образом мог бы ответить только венгр, потому что слово это — венгерское[1], и что непоседливые наши пращуры когда-то добирались на своих лошадках аж до Прованса. Однако едва я взглянул на картину, колени мои, заранее исподволь готовившиеся к поклону, которым почтительному потомку надлежит приветствовать великого предка и на готовности к которому я поймал себя лишь сейчас, в момент, когда вынужден был от него отказаться, — колени мои внезапно одеревенели: мне даже пришлось отступить на шаг. На большом, словно для церковного алтаря написанном, полотне Аттила изображен был верхом на лохматой казацкой лошади, ступающей по дымящимся головням, проломленным черепам и обнаженным, хорошей формы женским грудям; широкими ноздрями — точно такими же, кстати сказать, судьба наградила меня — царь гуннов, как и его лошадь, вбирают запахи гари и кро-

1. Международное слово "алло" ("hallo") действительно звучит как "венгерское" — как производное от венгерского глагола "hall", то есть "слышать".

ви. Я растерянно огляделся, потом принялся торопливо листать купленную при входе брошюрку: не оказался ли я жертвой какого-то нелепого розыгрыша? Однако брошюрка сообщила мне столько ошеломляющих сведений о том, как воевали мои предки, какие любили блюда, как выглядели – особенно поразила мое воображение "песья голова", – что, выйдя из Пантеона, я остановился у первой же витрины с большим зеркальным стеклом и в испуге принялся изучать свое лицо, кривя его и так и этак, пока занавес, придававший витрине свойства зеркала, не отдернулся и оказавшиеся за ним девушки-шляпницы не продемонстрировали мне гримасы, в которых гуннского было куда больше, чем в моих жалких попытках. По утверждению брошюры, Аттилу с его войском, снаряженным для покорения мира по всем правилам военного искусства того времени, в пух и прах расколошматил на Каталаунских полях Аэций, так что орда не способна была даже убежать с поля боя и римляне, из чистой жалости, просто бросили их, сбившихся в кучу, и ушли восвояси. Об этом событии в Боньхаде, а может быть, повторяю, еще в Рацэгреше, мне рассказывали совсем по-другому, и новый взгляд на вещи, обнаружившийся вдруг в Париже, задел меня крайне болезненно. И в чем-то сделал беднее – с точки зрения душевного содержания, конечно. В той сумятице разнородных чувств, с которыми я, юный варвар, приехал в Париж, присутствовало и смутное предвкушение некоего восхитительного момента, когда меня будут благодарить за то, что в свое время Аэций получил возможность спокойно ретироваться, а Париж – мирно жить дальше, став в последующем колыбелью для Фомы Аквинского, Вийона, Аполлинера и всех тех, кто в настоящее время, еще не родившись, дремлет в его лоне, – я же скромно (но с какой человечной и светской улыбкой!) отмахнусь: дескать, полно, какие пустяки! Черная неблагодарность, с которой я столкнулся, просто ошеломила меня. В этом смысле достойной компенсацией морального ущерба, даже в какой-то степени орудием мести и стал для меня остров Сен-Луи. Здесь, на острове – ведь того очевидного факта, что великий завоеватель тут побывал, они все-таки, надо думать, отрицать не станут, – я собирался лечить свое уязвленное самолюбие. Я словно готовился к некой аудиенции, чтобы на том самом месте, где некогда ступала нога Аттилы, и как бы под сенью его невидимого, но неопровержимого присутствия вволю излить – в безмолвном внутреннем монологе – жалобы на несовершенство мира и выдвинуть доводы относительно необходимости изменить его. В таком вот состоянии души я оглядывал, впервые явившись на остров, окрестности; но задумчиво-рассеянный взор мой, хотя и был обращен в далекое прошлое, все-таки сразу обнаружил, как дешевы здесь гостиничные номера. Обстоятельство это стало мне утешением, смягчило рану, нанесенную моему национальному тщеславию внезапной утратой древней славы, и благотворно сказывалось на самочувствии моем даже спустя месяцы после первого визита на остров; остров, который, кстати сказать, в прежние времена – подобно стольким другим островам, окрещенным в честь того или иного святого, – отзывался на куда более простецкое имя, остров Коровий, и состоял из двух островов поменьше; проток между ними засыпан был лишь в 1614 году. Тогда остров и стал частью Парижа, тогда его начали застраивать; а до тех пор он честно хранил следы копыт того самого табуна.

Вторую вылазку на остров я предпринял уже с сугубо практической целью: чтобы снять жилье. Я ведь тоже был каплей подпочвенных вод, что просачивались сюда из дальних краев. И пришел я на остров потому, что здесь, как говорили, не только цены в гостиницах ниже, но еще

и придирок к паспортам и всяким бумагам, позволяющим получить вид на жительство, меньше, чем где бы то ни было. Так что на Красный мост я вступил как полномочный посол целой группы своих соотечественников. И лишь перейдя его, вспомнил, что нахожусь не где-нибудь, а в некоем сказочном заповеднике нашего канувшего в Лету национального прошлого; это придало решению обосноваться здесь, и обосноваться по возможности надолго, окончательный характер. По моим следам готовилось хлынуть сюда из таинственных недр целое маленькое половодье.

Происходило это в период, когда многие государства Европы, пережившие мировую войну, независимо от того, выиграли они ее или проиграли, одно за другим терпели крах на пути социальных реформ — том единственном пути, на котором они, помогая друг другу, могли бы выбраться к прямой и надежной дороге прогресса. Смелые идеи, благоприятное стечение обстоятельств, трудолюбивые руки — все эти факторы нечасто сочетаются столь удачно, как в те годы. Но — ничего не вышло из этого. Даже там, где сотрудничеству ничто как будто бы не препятствовало, дела роковым образом шли вкривь и вкось, и в результате самые ценные, то есть самые трудоспособные и предприимчивые слои общества, дающие ему квалифицированных рабочих, не выдержав голода и лишений, быстро скатывались с того уровня, на котором Европа, плохо ли, хорошо ли, до сих пор их поддерживала. Среди рабочих в те времена уже не были белыми воронами люди, кто в качестве базы для профессионального образования вобрал в себя премудрость средней школы. А уверенности в себе и живой любознательности в сочетании с критическим отношением к миру рабочая молодежь на разного рода вечерних курсах и в кружках накапливала в себе к восемнадцатилетнему возрасту не меньше, чем дает отпрыскам буржуазных семей аттестат зрелости. И едва ли не в каждой из этих стран был в прошлом, давнем или недавнем, какой-нибудь великий поэт или мыслитель, у которого они по прямой линии наследовали и усваивали всей душой фразы вроде: камень готов у нас для стройки, только всюду вода да вода. Что с того, что руки у них так и чесались, что в пальцах зрело нетерпеливое желание поправить, починить что-нибудь в разладившемся государственном механизме. В подавляющем большинстве именно им приходилось, подняв воротник единственного заношенного пиджака, опускаться все ниже и ниже, на самое дно социального бытия, где ты в самом деле перестаешь ощущать притяжение своей страны, нации и любых прежних сообществ, где ты утрачиваешь статус европейца и вновь становишься кочевником. Где судьба твоя теряет определенность, делается размытой, а за нею и сам ты словно бы переходишь в текучее состояние, готовый принять любую форму, становясь частью нового, тоже текучего сообщества, странствуя — теперь уже на пространстве целого континента — подобно почвенным водам и по их законам. Один из таких законов состоит в том, что любое течение, даже глубинное, должно отклоняться к западу, то есть — в Западную Европу. Так что недаром Париж так быстро стал покрываться, словно пигментными пятнами, вкраплениями эмигрантских колоний, среди которых преобладали цвета нищеты. Одним из таких крохотных пятнышек — чтобы не сказать прыщиков — стал и наш маленький отряд, те четыре-пять человек, в качестве посла которых я стоял сейчас в западном конце главной улицы, пересекающей остров. Для них, этих людей, я искал подходящее недорогое жилье. Подходящее и с той точки зрения, что эти четверо-пятеро иногда, на трудных поворотах судьбы, умножались до пяти-семи, а то и до семи-восьми человек. Бывало, что и до десяти.

Долго рассказывать (но, видно, без этого не обойдешься), что связывало меня с этой маленькой группой. В свободное время я был у них переводчиком, разведчиком, адвокатом и агентом по закупкам; иногда, вдобавок ко всему, вел их любовную переписку и выступал в качестве мирового судьи. Они только-только прибыли в Париж и по-французски ни бельмеса не понимали. Я на какое-то время опередил их и, как они наивно считали, говорил по-французски. Подобно многим и многим, я, по простительной неопытности, свойственной юности, и сам долго пребывал в этом заблуждении — пока годы не заставили меня поумнеть.

Вера моя в то, что я знаю французский, незыблемее всего была в то холодное, ветреное раннее утро, когда, приехав в вагоне третьего класса из Меца, я осторожно, словно на скользкий лед, спустился с высокой вагонной подножки на парижскую землю и, прогнав тревоги, тут же и зашагал по этой земле, стараясь, чтобы походка моя выглядела естественной, даже будничной и чтобы я ничем не выделялся среди прочих смертных. (Естественность эта — та естественность, с какой двигаются, чувствуя себя в перекрестье внимательных взглядов, короли и объявленные в розыск преступники.) После давящей атмосферы немецких территорий мне казалось, что я почти дома, — всего лишь благодаря иллюзорной уверенности, что здесь-то я уж как-нибудь пойму, что мне говорят. Надписи я в самом деле понимал без труда. "Выход", — с чувством удовлетворения прочел я. Шел я неторопливо, поклажи у меня не было. Гардероб мой — две рубашки, столько же подштанников, два костюма, весенний и летний, и зимнее пальто — был весь на мне; мои записи, умывальные принадлежности, пачка писем от матери — в бесчисленных карманах пиджаков. Краем глаза я скользил по шеренге встречающих, но ни единой фигуры, в которой можно было бы заподозрить шпика, в поле моего зрения не попало; осторожность была излишней. Полицейских тоже не было видно. "Париж!" — остановился я, выйдя наружу, на верхней ступени лестницы, ведущей на площадь, уже за пределами всякого рода кордонов. Грудь моя высоко вздымалась под слоями одежды; это — не поэтический образ: я действительно дышал воздухом свободы! Как в Вене, как в Берлине, здесь тоже вывернул на вокзальную площадь трамвай номер 8; но здесь он был дружелюбным, каким-то домашним, как соседская собака, и подъехал он, можно сказать, прямо ко мне. Я снял пальто и один из пиджаков, пиджак сложил и сунул под мышку, пальто накинул на плечи. Из прочитанного я знал, что широкая улица напротив вокзала — бульвар Себастопóль (уходя за Сену, он где-то там вливается в бульвар Сен-Мишель). Сунув руки в карманы, я двинулся по нему так по-свойски, будто по главной улице своей деревни. И небрежно обратился к прохожему, спросив, как мне попасть на рю де Блан Манто, то есть на улицу Белых Плащей. Мне пришлось повторить вопрос трижды, прежде чем прохожий понял меня. Зато из длинной скороговорки, которую он на меня обрушил, я не разобрал ни словечка. Хм, есть тут иностранцы и кроме меня, подумал я. Это был первый и последний день, когда я чувствовал себя в Париже уверенно.

Воздух свободы

В представлении нынешних скифов Запад являл собой примерно то же, чем была в представлении их далеких предков Византия: золотые воро-

та, мраморные колоннады. Они радовались, если им удавалось найти въезд попроще. Вот через такие ворота, ворота попроще, и происходило гигантское переливание крови в обескровленный город. Нескончаемый поток пришельцев он принимал не моргнув. Когда-то Париж сделали центром мира и всемирной достопримечательностью стремящиеся сюда из всех мыслимых и немыслимых стран художники с их ярким пестрым хламом. Пестроты было выше головы и теперь. В коридоре Биржи труда к стене прислонена была шеренга шахтерских кирок. Я шел по коридору следом за нашим уполномоченным.

— Пьемонтцы, — махнул он в сторону кирок.

Зал заседаний превратился в общественную спальню — об этом свидетельствовал несущийся из дверей громовой храп.

— Сейчас увидишь своих.

За поворотом, на полу у стены, возник целый выводок шахтерских ламп. Но это пока что были катовичане. Свои же, из Мечек-Сабольча, лежали на полу за следующим поворотом; узнать их можно было хотя бы по тому, что они даже комнату не сумели себе раздобыть.

Сам город не знал, что с ним происходит; не понял он этого, пожалуй, и позже. Пришельцы, прибывающие сюда, вели себя осторожно — не только в ходе просачивания, но и потом, когда уже почти оккупировали Париж. Поведением своим они напоминали мотыльков, обсевших края прогретой солнцем лужи: при малейшей тревоге они так же незаметно, вспорхнув, исчезали. Туземцам в их восприятии чужестранцев всегда свойственно что-то вроде куриной слепоты: в их глазах все — одинаковы, все — одинаково люди; примерно как в глазах Господа Бога. А ведь что за причудливая мозаика возникала, когда история, встряхнув в своих огромных ладонях народы и расы, выбрасывала эту смесь на стол! Приди кому-нибудь в голову составить этнографический срез парижского населения в эти годы (вроде тех этнографических атласов, где каждая нация обозначена своим цветом), он не нашел бы в природе столько красок, даже вместе со всеми их оттенками, сколько их понадобилось бы для обозначения всех этих групп.

Где там национальной пестроте Кавказа до этой, парижской! Тысячи и тысячи племен, кланов, семей жили тут, в кавказском высокогорье французской языковой среды, скорей разделяющей, чем сближающей их; жили рядом друг с другом, но замкнувшись в собственный язык, в собственные обычаи. Здесь даже нации расщеплялись на исходные составные части. Подобно тому как в Америке эпохи освоения Дикого Запада появлялись Новые Нидерланды и Новые Йорки, так здесь возникали новые Фюлёпсаллаши, новые Ференцвароши, даже новые окрестности Ференцварошского вокзала и новые улицы Дохань.

А также, правда, и Новые Брашшо, Новые Бартфы: страна там, дома, расчлененная на части[1], здесь, на чужбине, как бы срасталась заново. Что такое Бачка[2] и ее жирный, красный от паприки свиной гуляш, которым принято потчевать гостей на длящейся семь дней свадьбе, я узнал на одном заднем дворе квартала Барбес-Рошешуар, заодно в общих чертах получив представление о том, как живут гаучо в аргентинской

1. Ийеш имеет в виду последствия Трианонского мирного договора (1918 г.), по условиям которого Венгрия лишилась значительной части ранее входивших в ее состав территорий. Брашшо (Брашов) — город в Трансильвании, которая целиком отошла к Румынии. Бартфа (Бардейов) — город в возникшем после 1918 г. государстве Словакия.
2. Бачка — географическая область исторической Венгрии; меньшая часть ее в 1918 г. осталась в Венгрии, большая — отошла к Воеводине, оказавшись в составе Сербии.

пампе: дело в том, что отец невесты, венгр-шофер из Бачальмаша, делил этот двор, служивший ему гаражом, с семьей мойщика машин, попавшего в Париж с берегов Ла-Платы. А Деш[1] стал для меня волшебным миром, затерянным где-то в горах между Будапештом и Коложваром, благодаря тому, что мне поведали о нем на звучном трансильванском диалекте, на улице Фобур-Сент-Антуан, в перенаселенной меблированной комнате, в кругу семьи Анны Орос, под аккомпанемент улыбок Анны Орос, поведала сама Анна Орос. Или, пожалуй, скорее благодаря тому, что мне рассказывала о нем уже сама Анна Орос на пустынном бульваре Бурдон, когда я провожал ее домой после затянувшихся допоздна занятий или репетиции.

Для приезжего любой город — джунгли; он и осваивает его, как джунгли: сначала — робко, боязливо, потом — равнодушно, даже пренебрежительно. В окружающих Арсенал закопченных улочках (копоть сюда летит с трех вокзалов: Лионского, Венсенского и, с другой стороны, Орлеанского), шагая в ночи рядом с Анной Орос, я чувствовал себя так, словно мы с ней находились на горной тропинке над Дешем. В Париже Анна была всего недели две; но когда, перейдя улицу Шарантон и направляясь к площади Насьон, мы углублялись с ней в бесконечность улицы Монтрей, она даже любопытным взглядом не удостаивала площадь Бастилии, которая и в ночном безлюдье одержимо сияла всеми своими фонарями. Рядом с Анной и я забывал про Париж: он был просто средой, окружающей природой. Городом же — *городом* — был Деш; пускай он сейчас находился далековато, мы ощущали себя в его окрестностях, мы дышали его воздухом и вели себя по его законам. Шагая рядом с семнадцатилетней девушкой, слева от нее, я строго выдерживал (предписанные и в наших краях, в Озоре[2]) полметра дистанции — выдерживал даже сейчас, в час ночи, как ни притягивали, как ни волновали меня ее звучный низкий голос и миндальный аромат ее дыхания. Дома вокруг были для нас словно скалы, улица Монтрей, потом улица Маоне — словно извилистая лесная дорожка. Мы забирались все выше, опасностей же все не было. (Лишь однажды путь нам преградили крысы. Они собрались в огромную стаю, запрудив мостовую, на улице Федэрб, перед бойней, и беспокойно суетились, вереща детскими голосами: ведь перед носом у них, за опущенными ставнями лавки, лежали груды сырого, свежего мяса, лужи запекшейся крови на полу источали зловоние, а они не могли ко всему этому подобраться. Я поискал глазами камень — швырнуть в них. Не найдя, двинулся на стаю с пустыми руками, испытывая брезгливость, к которой, что там скрывать, примешивался и некоторый страх. Я топнул. Они встрепенулись, но лишь на манер человека, которого потревожили в важном деле. Прямо передо мной они отступили, с боков же почти не двинулись с места, образовав полукруг — или настоящий боевой строй. От позора я был спасен Анной: взяв меня — впервые — под руку, она потянула меня назад, и мы обошли неожиданное препятствие по улице Шанзи, продолжая беседу и прогулку над Дешем.) Беседовали мы почти как молодые персонажи какого-нибудь романа Кашшака[3] — о том, например, надолго ли колониальный империализм оттянет окон-

1. Деш (Деж) — город в Трансильвании.
2. Озора — село в Задунавье, в котором Ийеш провел значительную часть своего детства и отрочества.
3. Лайош Кашшак (1897—1967) — венгерский поэт, прозаик, публицист, живописец; ведущая фигура венгерского авангарда. На протяжении 20-х — начала 30-х гг. написал и опубликовал ряд романов о жизни и борьбе рабочего класса.

чательный крах капитализма, о том, что натворил Носке, а также о том, как важно и полезно — в том числе и в общественном плане, — когда двое молодых людей разного пола, но одинаково свободные от предрассудков, обмениваются мнениями о серьезных вещах, не впадая при этом в мелкобуржуазную сентиментальность или пошлость, а стало быть, успешно избегая извечной западни, каковой является эротика (на это особенно напирал я), и о том, как потрясающе объясняет исторические события диалектика (чему, в свою очередь, не уставала поражаться Анна). О, у нее стаж участия в рабочем движении был солидный.

Потребовалось несколько недель и по крайней мере четыреста километров совместных пеших прогулок, пока она наконец перестала дичиться и начала что-то рассказывать о себе, о семье, в которой выросла, делиться планами, то есть по моему настоянию (формулировка тоже принадлежала мне) — "выражать свою индивидуальность". Но сколько же должно было пройти еще времени, чтобы она раскрепостилась, стала настоящей парижанкой! Даже когда французский язык был усвоен ею настолько, что назойливое внимание уличных донжуанов вызывало у нее не просто панический страх, а краску стыда (ибо она уже понимала каждое слово), — душой она все еще продолжала жить в Деше, там искала убежища. Там, в своем собственном Деше, откуда невозможно уехать, жил, собственно, каждый из нас. Старшая сестра Анны как-то почти месяц не варила суп, потому что вовремя не получила из дома паприку: ее присылали ей в почтовых конвертах. Другие целую зиму мерзли: тело их не могло привыкнуть к французской двойной простыне, и спать они могли лишь под стеганым одеялом или периной.

Париж и днем оставался для нас чем-то вроде горного леса с извилистыми тропинками. Разве что днем среди скал больше было деревьев и кустов — кустов, не стоящих на месте и не шелестящих под ветром, а бегущих туда-сюда, то есть людей. Какое имело значение: деревья вокруг тебя или люди! Новички и в столпотворении Бельвиля могли спокойно разговаривать о своем житье-бытье; они были в лесной чаще: ведь никто кругом не понимал их родного языка. Разговаривать же о житье-бытье, проведи ты хоть тридцать лет вдали от родины, можно лишь на родном языке.

Что происходит с Венгрией, отчего она теряет кровь и слабеет, — это я узнал потом, вернувшись на венгерскую землю. Но вот что такое венгерскость, сколько в ней красок и силы, бурления и напряженной готовности — все это я ощутил там, в Париже, где, как я упоминал уже, собралась, представленная лучшими своими людьми, вся Венгрия, без изъянов и урезаний, не только от Карпат до Адриатики, но и от Словакии до Трансильвании с Молдовой, Буковиной и даже Добруджей[1]. И находилась она там вместе едва ли не со всеми народами мира, на равных участвуя в великом соревновании способностей и талантов. Учебу в Будапештском университете я прервал, не дослушав курс по венгерской диалектологии. Эка беда: в Париже у меня была возможность собирать материал вживую, здесь имелись в наличии, причем в великолепных образцах, все оттенки родного языка.

Возле больших заводов: "Рено", "Ситроен" — и в различных бюро по трудоустройству толклись, присматриваясь, принюхиваясь друг к другу, ища равновесия, нации и народности, сорванные со своих мест волной

1. До 1918 г. у Венгрии был выход к Адриатическому морю. В Молдове, Буковине, Добрудже (областях, частично входящих в состав Румынии) имелись и имеются компактные поселения этнических венгров.

нового, хотя и не столь великого, как когда-то, переселения народов. На основе их отношения друг к другу можно было бы начертить новую карту мира — карту национальных симпатий и антипатий. Именно тут выяснилось, что, скажем, секей[1] сердцем куда лучше понимает поляка, чем живущего совсем рядом, возле Тисы, куна[2], что итальянцы и ирландцы страстно обожают друг друга, что русский, если уж кого терпеть не может, так это турка, что финнов можно смело селить вместе со швейцарцами, что венгры — это я узнал на собственном опыте — в целом мире могут рассчитывать лишь на бескорыстную дружбу басков, потому что те, со своим языком, со своим загадочным происхождением, точно так же одиноки, как мы, и по этой причине между нами было даже обнаружено какое-то родство. Индивид нигде в такой мере не чувствовал единства со своей нацией, как здесь, и никогда ярче не демонстрировал ее характер, чем сейчас, когда был лишен всех внешних связей с нацией, государством, его законами, оставшимся вдалеке сообществом — чем сейчас, когда мог считать себя абсолютно свободным.

Какой же Париж влек меня? Не тот, о котором тосковал Ади и который его поклонники так долго и тщетно искали в городе, связанном с именами Пеги, Барреса, Жида и Морраса, искали, пока не поняли, что город этот естественно существовал лишь в душе поэта, в его мечтах. Этот город мечты (этот гигантский Надьварад[3]) был мне знаком разве что по колокольному звону. Для меня Париж даже как мираж был тем миражом, который видел, или, вернее, который представлял себе Петёфи. Как поэт я делал первые шаги в том городе, куда он, Петёфи, устремлялся душой, чтобы учиться поэзии и жизни — то есть учиться свободе — рядом с Беранже. Чему бы он научился тут? Какой стала бы эта школа, претворись эта мечта в реальность? Я пытаюсь представить сцену, которая, должно быть, часто возникала в разгоряченном воображении Петёфи: вот он, прибыв со стороны Страсбурга в Париж, спешит к Ратуше и тут же, как есть, в дорожной пыли, взлохмаченный, отощавший от недоедания, бежит к нему, к Беранже, к боготворимому им Поэту, и, распахнув дверь, кланяется ему, потом прижимает его к груди, он, величайший юнец своей эпохи, обнимает толстенького, лысого, но с достойной Горация посадкой головы и таким же самомнением старикашку, которого как поэта с Петёфи и рядом нельзя поставить.

Подобное же воодушевление пылало и во мне; да не покажется это чрезмерной нескромностью: я тоже приехал в Париж учиться, и тоже — поэзии и жизни.

Париж в моих глазах был — само будущее. Уже по дороге сюда я свято верил, что здесь-то уж точно поймаю за хвост завтрашний день. В голове у меня жило некое причудливое представление, что когда во всем мире — понедельник, здесь, в Париже, уже наступил вторник, а то и — это зависит только от степени духовных усилий людей — среда, пятница, следующее воскресенье! Мне нужны были самые новые картины, самые новые мысли, самые новые надежды, самые новые стихи. Все это я жаждал

1. Секеи (секлеры) — венгерская этническая группа, живущая на юго-востоке Трансильвании.
2. Куны (куманы) — венгерская этническая группа, потомки половцев (кипчаков), в XIII — XIV вв. влившихся в венгерскую нацию.
3. Надьварад (ныне Орадя) — город в Трансильвании, где Эндре Ади провел молодость и где начинался его творческий путь.

получить немедленно — и, получив, узнав, отталкиваясь от них, лететь дальше и выше, подобно крапивнику, невзрачной птичке, которая сумела примоститься под крылом у орла. Я был молод, и, как водится в молодости, жизнь казалась мне невыносимо короткой. От французов, этих пионеров всечеловеческого прогресса, я ждал слов ободрения, ждал некоего путеводного указания. И при этом с улыбкой взирал на их наивную неосведомленность, смотрел, как они барахтаются в потоке, который и их несет с собой.

Во мне горели то же воодушевление и вместе с ним та же снисходительная трезвость, которые питали студентов-чехов, когда те явились к престарелому Виктору Гюго, чтобы возложить к его ногам любовь и обожание своей нации, а потом слушали ответ растроганного до слез великого европейца: пребывая в детской уверенности, что цыгане (которых французы называют богемой, богемцами), одетые в венгерские штаны и играющие в парижских кафе, это не кто иные, как венгры, а родину их зовут соответственно Богемией, он приветствовал этих юношей как благородных потомков Святоплука[1], словообильно воздавая ему за доблесть и за несомненные заслуги перед человечеством, особенно же — о, об этом он много слышал! — за то, что князь уберег Европу от нашествия с Востока. Как всякий чужак, я, несмотря на то что с воодушевлением искал для себя кумира, учителя, ходил среди туземцев, чувствуя себя примерно так, как чувствует себя взрослый среди детей: он прекрасно знает, что детям многое приходится прощать. Я не захмелел от Парижа. Очевидно, по той причине, что прибыл из такого далека и с таким обожанием в душе.

Приобщение

Моего Беранже звали — Марсель Соваж. Я нашел его в маленьком переулке, отходившем от улицы Монж, где-то в ее середине. Мне пришлось вскарабкаться на последний этаж, а потом и еще выше, под самую крышу. И вот я, с бешено колотящимся сердцем, стою в тупике чердачного коридорчика, у двери, на которой приклеена бумажка с надписью, отпечатанной типографским способом: здесь находятся редакция и издательство.

Тогда я все еще полагал, что Париж — это самое большее на полгода, а потом — Лондон, Рим, Барселона. Время торопило меня. После музеев и памятников архитектуры я намеревался поставить галочки и возле живых достопримечательностей (тех, кто был как раз достижим). Чтобы потом, на старости лет, не упрекать себя, что не видел Вольтера своей эпохи. (В свое время один венгр посетил и Вольтера.) Словом, я чувствовал, что стою перед храмом.

Соваж был одним из тех, кто редактировал журнал „Аксьон". Он то ли временно замещал Мальро, то ли сменил его на этом посту.

Другая надпись на двери гласила, что здесь размещается также парижская редакция и издательство журнала "Ça ira!", что можно перевести с французского как "Даешь!".

1. Очевидно, имеется в виду великоморавский князь Святоплук I (IX век). Вероятно, ирония исторического анекдота заключается в том, что Святоплук, разоряя, с помощью германцев, Паннонию и тем самым ослабляя ее, привлекал в помощь себе и отряды мадьяр, в этот период проникавших через Карпаты в Дунайскую низменность; то есть Святоплук как раз способствовал приходу венгерских племен на эти земли.

Я поднес к двери палец, коснулся ее бесшумно; потом наконец постучал. И стал ждать.

Внезапно за спиной у меня, на противоположной стороне коридора, открылась дверь; или, скорее, дверца, настолько узкая, что она годилась бы крышкой на гроб. В проеме возникла белокурая миниатюрная женщина со шляпкой и иглой в руках: должно быть, я оторвал ее от шитья.

— Редакция переехала сюда, — сказала она и отодвинулась в сторону, чтобы впустить меня. Я бросил взгляд в комнату и — ощутил неловкость, как если бы женщина уступала мне стул, на котором сидела. Мне, мужчине? Но ощущение не пропадало: в комнате, казалось, мог поместиться только один человек. От забитого багажом купе в железнодорожном вагоне она отличалась лишь тем, что стены в ней до самого потолка были уставлены книгами, да тем еще, что она едва не взрывалась от переполнявшего ее света. Огромное чердачное окно в комнатенке смотрело прямо на солнце.

— Мне, собственно, нужно издательство, — нерешительно сказал я, озираясь.

Мой военный план предусматривал: если я почувствую, что визит мой выглядит бестактным, навязчивым, то буду держаться как случайный посетитель и лишь куплю несколько номеров журнала, которые и без того собирался купить. Поэта я нигде не видел.

— Издательство тоже сюда переехало, — сообщила маленькая женщина.

Я втиснулся в каморку и тут же сел в угол дивана: иначе хозяйка не смогла бы войти за мной следом.

— Я из-за границы, интересуюсь вашим журналом, — заговорил я. — Хотел бы купить несколько номеров.

— Какие? — вдруг оживилась женщина.

Номера у меня были записаны. Я протянул ей бумажку.

— Три номера! Это семьдесят два су, — молниеносно посчитала она; и добавила: — Господин редактор сам выдаст вам журналы. А я пока сбегаю вниз.

И она принялась одеваться.

Переводить франки в су я так никогда и не научился. Из ее щебета я понял лишь, что речь идет о деньгах, и, краснея, вытащил кошелек.

— Сколько?

— Три шестьдесят. Марсель скоро вернется. Но я, наверное, приду первой. Принесу немного какао...

Действительно она сказала про какао? Если уж меня забирало смущение, то я вообще переставал понимать чужой язык. Словно кровь, подступая к щекам, заливала и барабанные перепонки.

Будто какая-нибудь ручная птичка клювом, женщина выбрала пальчиками монеты у меня из ладони.

— Тогда я и масла еще куплю! Какой вы любите джем? — звонко спросила она, уже в шляпке. Глянула в зеркало, дернула шеей, отвернулась, снова глянула: в самом деле как милая, веселая пичуга.

Нет, она еще что-то говорила, и до этого, и после. Но если ты не воспринимаешь обращенную к тебе чужую речь, особенно речь милой женщины, с которой находишься вдвоем в комнате, мучительная неловкость усиливается до того, что ты вообще ничего не понимаешь и не чувствуешь, кроме мелких булавочных уколов где-то между лопаток. Названия фруктов я на каждом уроке французского сам вбивал в голову дяди Бодора. Но в этот момент мозг мой замерз, словно пруд зимой. Из всех расте-

ний, известных ботаникам, передо мной витал почему-то лишь огурец, и то не как слово, а как образ. И лишь потом всплыло, неведомо из каких сфер, настоящее французское слово, подходящее к случаю.

— Абрикос, — произнес я.

Она уже давно миновала эту точку нашего разговора, и брови ее взметнулись: настал ее черед чего-то не понимать. Но продолжалось это не более одного мгновения.

— Ah, oui, oui!.. — сообразила она — и продолжала щебетать, глядя мне прямо в глаза, с такой скоростью, какая нам не давалась и в школе, даже когда мы говорили наперегонки.

— Сударыня здесь секретарша? — вставил я.

— Секретарша, конечно! — ответила она живо; во всяком случае, эти два слова я только и уловил в искрящемся водопаде ее речи.

Я смотрел на нее, уже не пытаясь понять, что поет жаворонок, прячущийся у нее в горле. В конце концов — так это выглядело — мы о чем-то договорились.

— Bon? — произнесла она в конце длинной трели, которая, пестря глубокими воркующими звуками и оживленными быстрыми вскриками, сама была как стремительный взлет в зенит.

— Bon, — сказал я.

С этим она убежала.

От быстрой речи и от умственного напряжения я захмелел и ощутил сонливость.

Еще немного, и Соваж застал бы меня на собственном диване в таком же виде, в каком революционер и карикатурист Андре Грилль изобразил некогда подростка Рембо. Я не спал, я просто клевал носом; хотя и откинулся немного на спинку дивана.

Я объяснил, кто я такой; Соваж отнесся к этому благосклонно. В его спокойном голосе ухо мое вылавливало больше осмысленных слов. Он был невысок и щупл; со времен войны он страдал последствиями то ли контузии, то ли газового отравления и из-за этого не имел возможности работать по призванию. Война заставила его прервать учебу на медицинском факультете, а потом вернуться на врачебное поприще не дала литература. Он вынул из-под мышки три или четыре тонких, как палка, батона хлеба. Он за этим ходил, объяснил он, извиняясь за свое отсутствие.

После этих слов я почувствовал себя по-домашнему. И даже вытянул ноги.

Скоро хлеб был дополнен маслом, джемом, какао, а потом еще и литром молока. Жаворонок снова был здесь.

Пиршество близилось к концу, когда женщина вдруг хлопнула передо мной ладонью по столу и так же быстро отдернула руку. Там осталась небольшая кучка монет.

— Это ваша сдача, — сказала она. И рассмеялась так самозабвенно, что — сделав движение, будто собирается вскочить со стула и убежать, — тут же упала обратно.

— Ах, вы нас так здорово угостили! — пояснила она.

Соваж взглянул на меня с подозрением.

— Вам есть на что жить? — спросил он.

— Есть, — сказал я, тут же устыдившись, что ответил с некоторой заминкой.

Он заставил меня рассказать о моем положении подробнее.

— Я мог бы устроить вас в один интернат. Инспектором, — посмотрел он на меня.

Я промолчал. И вскоре поднялся.

Прощаясь, я держал под мышкой такую пачку журналов, что мне пришлось повернуться боком: иначе бы я не протиснулся в дверь. Отдельным сокровищем наверху пачки лежал самый последний сборник поэта, собственноручно подписанный им, с самыми теплыми дружескими пожеланиями. В этот момент дверь открылась сама. В проеме стоял дядя Вайс, мой милый знакомец из тех лет, что я провел в Домбоваре, — по крайней мере, так мне в первый момент показалось. На голове у него была вязаная шапка, надвинутая до ушей, на ногах — домашние, выше щиколоток, валяные опорки. На плечах — толстая бретонская шерстяная шаль.

Это был Макс Жакоб, друг Аполлинера, еще при жизни Аполлинера — дуайен новаторов, чье имя блистает в каллиграмме „Заколотая горлинка и фонтан"! Я остолбенел, не веря своим глазам. Не потому, что он был так похож на дядю Вайса, а потому, что меня постигла такая удача.

— Опять вы с Монмартра пришли в домашних туфлях? — В голосе женщины изумление смешано было с ласковым упреком.

— Я на автобусе, — оправдываясь, ответил поэт. В своей шали, с красным носом, зябко съежившийся, он сделал плечами и спиной точно такое движение, как дядя Вайс, топчущийся в своей холодной, пропахшей селедкой лавке. Потом взглянул — насколько позволили распухшие от насморка веки — на меня. И, словно доставая спасенное от врагов знамя, с усилием вытащил откуда-то из-за пазухи огромный красный носовой платок; вытащил как раз вовремя, чтобы успеть поймать блестящую каплю, уже было сорвавшуюся с носа, который на его ласковом монашеском лице сам напоминал огромную каплю.

— Простудился, — сообщил он, еще раз вытирая нос.

— Да уж вижу! — воинственно сказала маленькая женщина.

В конце коридора возник высокий, темноволосый молодой человек.

— Паскаль Пиа, поэт, — представил его хозяин.

Произведения Пиа я знал из "Аксьон" и из "Ça ira!". Наклонившись вбок, чтобы не выронить журналы, я протянул ему руку. Приветственное рукопожатие стало одновременно и прощальным. Больше счастья я бы все равно не вынес.

Выйдя на улицу, я сел на первую же скамейку. Во мне бурлило столько возвышенных впечатлений, что я должен был дать им какое-то время: пускай немного привыкнут ко мне, словно приземлившаяся поблизости птичья стая. Грудь моя блаженно вздымалась; я огляделся по сторонам. Примерно так же чувствует себя, вероятно, простой землепашец, которому только что пожал руку король.

Я поместил сокровища себе на колени. Мне не хватило выдержки не погрузиться в них сразу же. Большую часть стихотворений из сборника я уже знал — по журналам. В жизни каждого человека, если он чего-то стоит, бывают моменты, когда на него ошеломляюще действует какое-то стихотворение. Нечто подобное испытал и я, открыв тоненькую книжечку. Вот какие стихи были в ней.

Приятный мираж

На телеграфных проводах играет на мандолине бледно-
голубой ангел.
Порой собирает фиалки, делает изящные букетики.
До, ми, соль:

Улетает
Ангел.
Единственное облачко на вечернем небе.
Случается, что какое-то слово улетает из телеграмм,
приняв облик пчелы.
И несколько слов — самые легкие, самые чистые — становятся
звездами.

Что именно в строчках этих действовало при первом чтении так завораживающе, сегодня в Европе уже никто, кроме меня, не знает; и тайну эту я храню в себе подобно тому, как кусочек янтаря хранит зелень попавшей в него допотопной травинки. Я посмотрел на небо. У меня было такое чувство, что я и сам парю там как есть — в брюках, давно не видевших утюга, в башмаках, купленных еще дома, в Цеце, с шевелюрой, не стриженной бог знает с каких пор. Вдруг я обнаружил нечто, в высшей степени заслуживающее внимания. Текст стихотворения под названием „Атлас" кое в чем отличался от того, что я хранил в своей памяти: это был — вариант. Я с трудом высвободил из кармана куртки толстый блокнот, который на всякий случай постоянно таскал с собой — так управляющий имением всегда берет с собой ружье, — и занес туда свое открытие. И — продолжал парить дальше.

Я был не из тех, кто найденную на дороге драгоценность прячет в карман, не поделившись ею со спутником. На следующую встречу с поэтом — чтобы решить вопрос об интернате — я пригласил с собой Венцеля. Литература состоит в вечном родстве с социализмом; примеры тому есть и более убедительные, чем наше пештское доморощенное революционерство. Родство это не случайно: вскрытие, изображение общественных пороков как бы подразумевает и следующий шаг — исправление этих пороков. Если из вождей социализма и не все начинали со стихов или с литературной критики, то почти все в какой-то мере оставались влюбленными в литературу. Венцель все силы отдавал рабочему движению, но — это мы имели возможность наблюдать — в литературе разбирался не хуже. Я же не мог взять в толк: в самом деле, почему он не пишет? Мне очень хотелось, чтобы он тоже начал писать. Мне представлялось, что от моих слов зависит: будет ли мой друг — скажем, к тридцатилетнему возрасту — блестящим организатором и революционером Венцелем, чье имя известно всей Венгрии, или же поэтом Венцелем, украшением венгерской литературы. Я пытался склонить его ко второму, он же только смеялся; хотя была в его смехе некая спокойная уверенность, что он и сам знает свои возможности, но предпочтет путь более серьезный. И все-таки я старался удерживать его на литературном "поприще" — хотя бы ради того, чтобы оттянуть окончательный выбор. Так что у Соважа мы были вдвоем; а поскольку вдвоем, то я, в своей преувеличенной предупредительности — нельзя же мешать поэту работать, — посчитал правильным, если мы вместе отнимем у него вполовину меньше времени, чем отнял бы каждый, будь он один. Поэт не мог понять, чего мы так бежим, и спустился проводить нас.

— В этом доме живет Дюамель, — сказал он.

Мы с Венцелем посмотрели на дом, потом — друг на друга.

— Наш общий сапожник, — сказал Соваж, показывая на грязное подвальное оконце и даже не думая о том, какие бесценные подробности слетают с его губ. Мы с Венцелем оглянулись и на оконце.

Новые французские писатели той эпохи, эпохи между двумя мировыми войнами, были пока еще всего лишь малоизвестными именами, нераспечатанными конвертами. Кто из них напишет "Завоевателей", "Беллу", "Холостяков", кто — мемуары болонки и Жозефины Беккер? Они сами не знали, что содержат в себе. Будущее перед Паскалем Пиа, Арно Селином, Полем Дерме открывалось точно такое же большое, как перед другими сотрудниками "Аксьон": Мальро, Мораном, Дриё Ла Рошелем, — которые, как бы там ни было, стали кем-то, или перед Дельтеем, Голлом, Габори, Супо, которые, пройдя лишь полпути, на каком-то повороте вдруг выпадали из яркого луча славы.

Самым многообещающим из всех был Кокто. Он стал следующим, кого я посетил.

К нему я пришел уже почти официально. По примеру, каким служил мне призрак Петёфи, я чувствовал себя своего рода полномочным послом. Полномочия, правда, я получил всего лишь от голоса моего сердца; зато голос этот с достаточной настойчивостью заставлял меня нанести визит вежливости столпам французского авангардного духа, с тем чтобы от имени венгерского духа, наследником которого я имел смелость себя ощущать, заверить их... В чем? Наверно, в том, что французы могут на нас рассчитывать. Я хотел быть лишь посредником, не более того. Хотел довести до их сведения, что если они в ходе своих смелых экспериментов сделают какое-то открытие — а от литературы в те времена все ждали открытия: то ли чуда, воплощенного в эмоциях или видениях, то ли какого-то нового рецепта обретения блаженства, — то чтобы не забыли срочно известить об этом и нас. Я в такое чудо верил. И с этой верой в душе явился к Кокто, в его квартиру на улице Анжу, после того как подробно проинформировал его о цели своего визита в письме — верительной грамоте, мною же и составленной.

Просторный его кабинет — куда посетитель, ведомый вежливым лакеем, попадал через переднюю и салон, — представлял собой веселую и со вкусом оформленную смесь будуара какой-нибудь графини и школьного кабинета физики. Среди дорогой, изысканной мебели стояло нечто вроде верстака с приспособлениями для рисования; в углу валялись геометрические фигуры; такие же, таинственного предназначения геометрические фигуры свисали с потолка. Все это источало запах шампанского. Такой же запах исходил и от самого поэта, который производил впечатление помеси Аполлона и малолетнего благовоспитанного барчука. Уже на первый взгляд он был высокопарен и в то же время ребячлив. В тот период он находился на переходе от дадаизма к католицизму в его томистском варианте. С соответствующей этому живостью и в то же время монашеской церемонностью он поднялся, чтобы меня приветствовать.

Я не удивился, увидев на руках у него вязаные перчатки в яркую синюю и зеленую полоску. Протягивая мне руку, перчатку с нее он снял. Рука его приближалась ко мне, словно он колебался, подставить ее для поцелуя — или дружески щелкнуть меня по носу. Кокто ласково улыбнулся, потом строго нахмурил свои знаменитые брови, столько раз рисованные, что они стали едва ли не общественным достоянием. Отвернув лицо в сторону, он искоса, словно избалованная собачонка, смотрел на меня.

Не язык французский — сам дух французский по природе своей дипломат. Поэт в первый же миг распознал во мне прибывшего в Париж перса; предположим, того, с которым беседовал Монтескьё. Мы углуби-

лись в лабиринт комплиментов, свойственный восточно-западной дипломатии; и уже не смогли из него выбраться.

После приветственных слов я, в соответствии со своим планом и заготовленными французскими фразами, дал поэту отчет о влиянии его творчества на моей родине.

— Ах, Венгрия, — произнес он с той живой интонацией, которую французские романисты при описании разговора обозначают словом "воскликнул", и устремил долгий, полный восторга взгляд куда-то в пространство над моей головой. Он видел там Венгрию. Направление его взгляда ясно указывало, что местонахождение этой счастливой и достойной любви — хотя бы за любовь к его творчеству — провинции мыслится им где-то в треугольнике между Константинополем, Стокгольмом и Пекином.

Внезапно он обернулся к верстаку и взял с него резную коробку. Открыв, заглянул в нее, вынул большой кусок печенья, потом молча протянул коробку мне. Мы стоя в молчании жевали.

Затем, опять же в соответствии со своим планом, я достал и торжественно, словно некую грамоту о признании заслуг, вручил поэту свежий номер венгерского журнала "Ма"[1], большого формата и с большими буквами названия на обложке, — тот номер, который содержал и его произведения, в моей собственной смелой интерпретации.

Кокто повертел журнал, полистал его; лицо его выражало восхищение.

— Позвольте мне повесить это на стену, — сказал он.

И тут же, взяв с верстака, который вполне сошел бы и за операционный стол, молоток, прибил к стене журнал, распахнутый на середине, словно летучую мышь с раскрытыми крыльями.

Журнал с кричащими венгерскими буквами оказался рядом с французским национальным флагом, также прибитым на стену. С другой стороны висела, ослепляя безукоризненным глянцем, почти такой же величины фотография; она изображала самого поэта, который, окруженный людьми в рубашках, с полотенцами в руках, падает, с разбитым носом и на вид без признаков жизни, на канаты ринга.

— Здесь он будет на месте, — сказал я.

— Вы находите?

— Именно нахожу, — ответил я вежливо.

Мне вспомнилось, что поэт, который сейчас стоит передо мной во плоти, что именно этот поэт написал следующие незабвенные строки:

Нет этим утром ничего влажней
чем лоскуток залива
.....
Неаполь не спеша
раскуривает
свой Везувий[2]

— О, мама! — вдруг, все с той же интонацией, произнес поэт. — Я же ей обещал, что поделюсь вами с нею, — добавил он и быстрыми шагами удалился.

Вернулся он с пожилой дамой, которая, несмотря на ранний час, была тщательно накрашена и безупречно одета.

1. "Ма" ("Сегодня") — венгерский авангардистский журнал, издававшийся Кашшаком.
2. Перевод М. Яснова.

— Вот, это венгерский господин с Ближнего Востока! — представил он меня. Слово "венгерский" прозвучало так, словно он сообщил, что мне ничего не стоит взять и улететь в окно.

Теперь уже оба они смотрели в пространство над моей головой, так что я невольно пригладил волосы.

Я подумал, что он ведь написал еще и "Перископ"! В пространстве над его головой я словно видел строки этого нетленного стихотворения, видел в точности так, как он — довольно прихотливо — расположил их:

Белая лошадь выходит из моря
это Венера

ну да Венера
в брызгах шампанских
и в пене
канкана

ну да Венера и в самом деле
застигнутая в кружевной постели

Это рождение
это впервые
ангел воскликнул: здравствуй Мария
ты без мужа родишь ребенка
чепчик скорей готовь и пеленки

ангел верхом лошадь с белым пятном

Ангел естественную историю
учит естественно как в окно влетают
он был кораблем во льдах что не тают

Но зеркала отражают

И только девочка только одна
увидела ангела но она
никому не сказала ни слова[1]

И так далее. Стихотворение я знал наизусть. И с места не сдвинулся, пока не прочел его, про себя, по скрижалям своей памяти, с первой до последней строчки.

К сожалению, дальнейшие, заранее отрепетированные мною фразы говорили о том, каковы обязанности поэта перед рабочим движением, в новом обществе, на баррикадах! Я вдруг почувствовал, что здесь они прозвучат совершенно не к месту. Так что я просто стоял, молчаливый и торжественный, как настоящий перс, и над головой у меня витал мираж, который проецировала туда, представляя Венгрию, приятная во всех отношениях дама-француженка. Затем я произнес фразы, предназначенные для прощания. Я выразил глубокую уверенность, что моя ро-

1. Перевод М. Яснова.

дина с неизменным интересом ожидает, каковы будут дальнейшие результаты его опытов.

– Я собираюсь теперь писать александрийским стихом, с перекрестными рифмами, – заявил он.

Ничего более удивительного поэт в те времена не смог бы сказать. Что я должен был ответить ему? Я заверил его, что наш народ и такой поворот дела встретит с подобающим великому начинанию уважением, и, выпутавшись кое-как из последней, тщательно выстроенной заранее фразы, пошел наконец восвояси, неся в сердце такое возвышенное ощущение, будто и в самом деле направлял стопы свои прямиком на Ближний Восток.

Но остановился я куда раньше.

Тристан Тцара в те времена обычно сидел на кровати в номере одной из гостиниц на улице Премьер Компань, с моноклем в глазу, одетый в одну лишь пижаму и окруженный валяющимися вокруг в огромном количестве приветственными телеграммами, письмами, статьями и текстами дадаистских, одно другого поразительнее, стихотворений. Всеобщее поклонение он принимал смущенно, даже стеснительно, с улыбкой, застрявшей в уголке губ, и дымящейся там же сигаретой.

Он был – папа. Имя его означало примерно то же, что имя Виктора Гюго в дни торжества „Эрнани". Он был само будущее, бесконечное, полное – как будущее молодого Гюго – новыми сорок восьмыми годами, духовными баррикадами и знаменами, а главное, безграничной свободой чувств. Он и провозглашал, в своем роде, нечто подобное тому, что провозглашал Виктор Гюго; правда, в несколько иных формулировках, чем тот. К этому времени он уже написал и „Двадцать пять стихотворений", и „Первое небесное приключение г-на Антипирина", и „Второе небесное приключение г-на Антипирина", и „Третье небесное приключение г-на Антипирина". Читая эти стихи, одна часть мира – литературного мира – в ярости грызла себе кулаки, и стояла на одной ноге, и ревела, как раненый лев, – то есть проделывала точь-в-точь то, чего добивался автор. Другая часть мира высокомерно и самодовольно хохотала. То есть – тоже выполняла желание автора. Сам поэт к тому времени – пройдя через первые битвы юности – стал мудрым и молчаливым. Ему исполнилось двадцать шесть, шел двадцать седьмой. Он успел одержать победу в своем знаменитом сражении с Хюльзенбеком, берлинским еретиком, в вопросе о том, чьей заслугой является изобретение слова „дада", и столицей новой поэзии окончательно стала резиденция Тцара, Париж. По утрам, когда он направлялся в отхожее место, ему приходилось высоко поднимать ноги, перешагивая через горы газетных вырезок, присланных из различных дайджест-бюро и сваленных перед его дверью: все они, на всех языках мира, были посвящены его личности и его открытию.

Дело в том, что он открыл и выразил в удачно подобранных словах – что думать не стоит. Причем – шлифуя бриллиант алмазной же пылью – выразил это без малейшего намека на мысль.

Он провозгласил бунт против разума и сам же первым осуществил его; причем осуществил так, как задумал. Основательно, с привлечением весомых аргументов он восстал против знаменитого, но с течением времени все более раздражающего людей французского ratio.

Разум – водитель человеческой расы – в те времена показал себя довольно скверным проводником: ведь это он привел человечество к мировой войне. Слово поэта вовсе не стало гласом вопиющего в пустыне, ког-

да он поднял бунт против разума и против всего, что опиралось на разум: против реальности, против логического, то есть заземленного художественного изображения, против негибкой и лживой морали, против порядка, даже против привычного порядка слов в предложении, против всех барьеров и пограничных знаков, в том числе и знаков препинания. Сегодня все это можно определить проще. Это была паническая реакция сердца, прянувшего назад — даже не на краю обрыва, а после падения, на том новом безрадостном пути, где разум опять-таки норовит указывать сердцу дорогу.

Поэт, таким образом, вновь возводил в абсолют права сердца — или, если пользоваться нынешней лексикой, права подсознания. Он хотел писать так — причем букву за буквой, без малейшей подтасовки, без малейшей фальши, — как подсказывает ему Муза. Более того, и художник рисовать хотел так же. То есть оба хотели творить без усилий, без пота, на одном выдохе, лишь откинув назад шевелюру. Как это представляют себе дилетанты и совсем молодые художники или поэты.

Все это — если уж называть, без обиняков, кошку кошкой — являлось самой чистой, самой трогательной романтикой, со всеми ее аксессуарами, среди которых — и лунный свет, и отказ признавать всяческие ограничения и авторитеты, и освистывание констеблей, и сдергивание со стола семейной скатерти, и ранняя смерть, и вызывающие прически, шляпы, рубашки, а главное, ставшее обязательным еще бог знает с каких времен стремление напугать буржуа. Буржуа — как и следовало ожидать — на сей раз опять испугался.

Ведь буржуа все, что ему швыряют в лицо, воспринимает на полном серьезе. Я бы даже сказал: все, что летит в него и бьет, иной раз довольно ощутимо, по голове, он пытается взять в руки, рассмотреть, по-своему описать и объяснить. И обнаруживает удивительные вещи.

Молчаливый Тцара, сидя по-турецки в магическом круге своих сигаретных окурков, тоже был порой удивлен, вставляя в глазницу монокль на широкой черной ленте. Философские трактаты и книги летели на груду других трактатов и книг, громоздившихся у двери. Сам Андре Жид склонял перед ним свой штандарт, хотя при этом и подмигивал заговорщически.

Для человеческого ума самое интригующее — то, что непонятно: всем ужасно хочется его понять. В Центральной Европе возникали едва ли не религиозные секты; их библией были глаголы, которые нес людям поэт.

А поэт с его импонирующим стилем жизни — он так и сидел, величественный, как пророк, на своей кровати — лишь помалкивал в знак согласия. Правда, время от времени, бросив взгляд в окно, он брал карандаш, бумагу и — с ходом времени это уже стало выглядеть как подписание нового эдикта — творил для верующих в него очередное стихотворение. Давал, так сказать, дальнейшую программу действий. Писал — тоже на полном серьезе — что-нибудь в таком вот роде.

ватная опухоль покрыта солью она собирается в птичье созвездие

в легких раскачиваются клопы и морские звезды
микробы кристаллизуются превращаясь в пальмовые ветви мышц
о эти качели

добрый день без курева цанцанца ганга
буздук здук нфоунфа мбаа мбаа нфоунфа
.....

холодный водоворот зигзаг кровотока
мне одиноко без души водопаду без друзей господину без таланта
изредка я получаю письма от матери уж не знаю где их опустили
но приходят они то из англии то из норвегии то из россии
воспоминания свернувшись красной спиралью поджигают мозг
на ступенях амфитеатра[1]

Тысячи и тысячи склонялись перед его словами, повторяли их, подражали им. Понимали ли они его стихи?

Секрет хороших стихов прост: в каждой строчке должен быть какой-то сюрприз, они ни на миг не должны позволять уму отвлечься, расслабиться, но — вновь и вновь приятно ошеломляя — поддерживать его в постоянном волнении, как бы в воздухе. Ошеломлять эти стихи действительно ошеломляли. Приятно ли? Поэт совсем не имел в виду быть приятным читателю. Художественные направления той эпохи просто придавали большее, чем требовалось, значение какому-нибудь извечному аксессуару художественного творчества. Они восставали против короля, сажая на трон то одного, то другого преданного ему подданного: кто — ритм, кто — страсть, кто — образность; что касается Тцара, он объединял в свободной игре фантазии случайные мысли, заставляя их танцевать в произвольной манере.

и как световая реклама моей души боль в небесах вспыхивает
что есть силы
вращение света голубых муравьев плодородный круг
нимб обостренная засуха мук[2]

Не привожу стихотворение целиком. Думаю, сегодня никто уже не улыбнется, читая этот монолог потерявшегося в ночи ребенка. Примерно так говорил бы блудный сын в минуту отчаяния, и это действительно было бы голосом его сердца: в тот ли момент, когда он убегает из дому, или когда робко стучится в родные двери. В строчках этих — немалое напряжение, в них угадывается работа духа, которую нельзя недооценивать. Протест, разрушение — тоже ведь не пустячное дело. Стихи стремились быть прыжком и ударом кулака. Сейчас мы уж очень даже — единственный недостаток тут в том, что, пожалуй, чрезмерно — их понимаем, вместе со всеми буздуками, мбаоахами, вместе с целью, для которой они писались.

Но тогда даже я не понимал этих стихов до конца. Потому и искал случая познакомиться с поэтом лично, надеясь во взгляде, в движении упавшей на лоб черной как смоль пряди волос прочитать то, чего мне еще не хватало для постижения его стихов... Я постучался, перешагнул груду свежих газетных вырезок и открыл дверь. Я был здесь не впервые. Ногой я загреб в комнату и газеты.

— Втолкните тогда и мои ботинки, милый друг.

— Неужто собираетесь выходить?

— Собираюсь, — ответил он, немного помолчав, словно после некоторой внутренней борьбы.

Он был зван к какой-то из герцогинь Бонапарт.

1. Перевод М. Яснова.
2. Перевод М. Яснова.

Но — вставив в ботинки пока только пальцы ног — прошлепал к столу; закурил, предложил закурить мне.

— Простите, — сказал он, снова устраиваясь на кровати.

Я перевел разговор на литературу. Это удивило его. В те времена писателю полагалось стыдиться этой темы.

— О, поэзия, — сказал он немного погодя и отбросил со лба низко упавший черный, как вороново крыло, чуб, чтобы вставить в глазницу массивный монокль. — Мне интересно в ней лишь то, что необычно. Будь у меня нервы крепче, я стал бы каким-нибудь крупным авантюристом. Стихи — это всего лишь бегство. Уловка!

Стихи — и в те времена — "творились" как есть, были "органическим целым". Просить творца объяснить их было столь же бесполезно, как допытываться у Бога, для чего он сотворил, скажем, гвоздику. Я и не ждал объяснения: мне нужна была лишь возможность проникнуть в суть, какой-нибудь проблеск, какой-нибудь знак. Ведь для восприятия этих стихов — как, впрочем, любых стихов — требовалось вдохновение, дарованное свыше. Для этих, может быть, его требовалось чуть больше? Вдохновение это снисходило на меня в те времена реже — или в меньшем количестве. Я еще был существом рациональным, сторонником головного подхода; классиком, одним словом.

— Есть тут еще одно стихотворение, — сказал поэт.

— Прочтите, — попросил я, искренне чувствуя себя польщенным: ведь мне давали возможность прикоснуться к священному акту.

Тцара любил и умел читать стихи. Декламировал он негромко, нараспев, даже монотонно, слегка поднимая голос в конце строки, как крестьянки в погребальных плачах. Его стихотворение тоже было плачем. Вот что он прочитал:

Доброе утро сквозь зубы

пересяду в пернатом раздрае
пейзажу довольно единой цикады
дом с позолоченными ноздрями
заполнили правильные цитаты

лестницу утра свинтим по узлам
распустим по ветру нервюры ветра
зачем нам глядеться в сполохах зла
в бельма ветра[1]

Для меня уже навсегда останется тайной, почему это стихотворение понравилось мне больше, чем предыдущее. Но факт, что оно — произнесенное, или, вернее, пробормотанное автором — вонзилось прямо мне в сердце. Я ощутил нечто вроде того, что чувствуют буряты, внимая под барабанную дробь магическим заклинаниям шамана. То есть поэт и тут достиг своей цели: он выдернул меня из реальности. Стихотворение смутило и обезоружило меня, в то же время погрузив в грезы.

Погрузило именно потому, что я его не понимал. Начало еще туда-сюда, конец же совсем тонул в тумане.

1. Перевод М. Иванова.

Но ведь как раз так и должно было быть!

То, что я понимал, мне становилось неинтересно. Молодость и в отношении идей ненасытна, и идей хочет все больше и больше.

То, что я понимал, я уже презирал. Я был дитя своего времени. Мерилом вещей мне служило то, сколь велико в них напряжение духа. От всех я требовал подняться до той верхней границы, которой сам я уже достиг; а оттуда — дальше и выше! Каким прекрасным, каким простым виделся мне путь человечества!

По-настоящему захватывало меня лишь то, чего я не мог постичь полностью: то, что было обещанием, достойной борьбы целью. Правда, это требовало немалого напряжения и от меня, но, Господи, каким великолепным виделся зато путь подъема! Как эффектно было усилие, в котором я достигал высшей — на тот момент — точки разумения, перешагивал ее — и на какое-то мгновение сам становился непостижимым для мира, вынуждая других тоже совершать усилия, чтобы догнать меня, а значит, и перегнать. Если я чего-то не понимал, оно, это что-то, действительно было тогда для меня слишком *высоким*, в нем поблескивал кусочек небесного царства. Идти в ногу со временем, даже чуть впереди, быстро достигая того, после чего поэзия и наука лишь разжигают жажду в душе, — казалось невероятно простым. Тяга души человеческой к загадочному, туманному, которая некогда побуждала окружать суеверным почтением, если не нимбом святости, юродивых и сумасшедших, сейчас, по тем же самым причинам, заставляла преклоняться перед бессмыслицей. Я благоговейно принял стихотворение из рук Тристана Тцара.

— Я переведу его, — сказал я.

То обстоятельство, что я его не совсем понимал, ни в коей мере не представлялось мне препятствием. "Да уж, да уж, — скажет, возможно, нынешний читатель. — О каком препятствии речь, если в стихе все равно нет смысла?" Подожди усмехаться, читатель; ты сам не знаешь, какую истину ты высказал в своей ироничной реплике. В этой разновидности художественного творчества случайность, скорее всего, играла точно такую же роль, как в безумии: ведь и безумие ведет к отражению надреального бытия, то есть к сюрреализму, далекому от царства лакейской, склонной к компромиссу логики. "Большие красные карандаши солнца пронзают оконное стекло и будят меня" — эта строка из стихотворения Кокто, переведенного на венгерский, гораздо сильнее воздействует на читателя, чем если бы в окно вторгались всего лишь обыкновенные лучи; строчка эта звучит лучше, даже если мы случайно узнаем, что в оригинале речь в самом деле идет о лучах, которые внезапным преображением в карандаши обязаны лишь тому, что молодой переводчик типографскую помарку перед словом „rayons" принял за „c"[1]. Это была эпоха свободы, эпоха вседозволенности.

— Переведите, — сказал поэт, сосредоточенно вынимая из своих черных, цвета воронова крыла, волос крохотное белое перышко. — А что бы мне перевести из ваших стихов?

Такое внимание, знаков которого у меня, кстати сказать, уже накопилось в памяти много, тронуло меня. Но у меня не было ничего, что я мог бы отдать ему для этой цели.

— Над чем вы нынче работаете? — спросил он.

1. Rayons — лучи (*франц.*); crayons — карандаши (*франц*).

Дни мои — с точки зрения художественных свершений — протекали в пустых размышлениях. Тщетно напрягал я все силы: мне не удавалось достичь того, к чему я стремился и к чему те, на кого я равнялся, поднимались, по всей видимости, без малейших усилий. Мне не удавалось освободить свои фразы от тяжкого балласта разума: они парили слишком низко, слишком близко к презренной земле. Бывали минуты, бывали лихорадочные ночи, когда мне казалось: вот-вот и я достигну желаемого; иногда я был уверен, что вышел на финишную прямую, и перо мое самозабвенно летело вперед, оставляя на бумаге перлы вроде "луна как замóк на небесном амбаре" или "колодезь одноглазый уставился на солнце". Утром я с горьким разочарованием ронял из рук исписанный листок. Все, все пропитано было ненавистным смыслом, особенно же — луна и колодезь. Разум мой обречен был прозябать в темнице: едва я отрывался от почвы, мои предки — овчары, скотоводы — едва ли не за щиколотки тянули меня назад, на землю.

— Мне надо быть смелее, — ответил я, когда поэт любезно поинтересовался, что мне мешает творить.

Я жил в убеждении — извечном убеждении, присущем юности, — что в сфере литературы смелость очень важна; да что важна: смелость — словно на поле битвы — это самое главное.

Ведь смелость обитает в сердце, как и поэтические чувства. Видимо, это нас с ним и связывало прежде всего.

— Да, надо быть смелым, — сказал поэт и наконец — может, как раз под влиянием этого слова — принял решение. Он слез с кровати, собрал в охапку свою одежду и вышел. А через несколько минут вернулся одетый. Мы двинулись в путь.

На лестнице мы встретили двух молодых людей. Они тоже пришли посмотреть на поэта. В сумраке вестибюля мы, пожалуй, не смогли бы даже обменяться рукопожатиями. Отложив приветствие, мы вместе вышли на улицу — и сощурились в ослепительном сиянии солнца. Небо снова валяло дурака.

Небом своим Париж — город приморский. Пускай океанские волны не лижут его ступни; зато небосвод над ним полон ветром и воздухом моря: он, словно огромное зеркало, демонстрирует ему морской свет, морские краски. Облака над Парижем проносятся стремительно, за один какой-то момент выбрасывая на город все, что несут в своих игрушечных кувшинах; а небо над облаками — головокружительной высоты: глянешь в него — и чувствуешь легкое блаженное опьянение. Ощущаешь себя в гавани, среди устремленных вдаль парусников, с готовностью в сердце плыть куда угодно.

Примерно с таким ощущением я посмотрел и на молодых людей, когда в состоянии был их разглядеть.

Тот, чья рука первой оказалась у меня в ладони, был высокий юноша с чуть более изысканными, чем у прочих, манерами, чуть более изысканно одетый. Тонкое, почти девическое лицо над галстуком-бабочкой улыбалось: улыбка была безупречной, как на витрине.

— Жорж Габори, — услышал я. Редко мне доводилось слышать такое прекрасное французское произношение.

Руку его, чистую и холеную, которую я было отпустил на мгновение раньше, чем принято, теперь, услышав имя, я едва не задержал в своей руке на мгновение дольше. Я должен был хорошо рассмотреть того, кто передо мной стоял.

Это был юный писатель. Имя его я запомнил недавно, но зато прочно. Лирический текст, под которым мне впервые бросилось в глаза это имя, начинался такими словами:

"Я, прямой потомок древней венгерской королевской семьи..."[1].

Но не это зацепило мое внимание прежде всего. Ведь из-за Габори был конфискован первый номер "Аксьон"! Вернее, из-за размашистой передовицы, где Габори превозносил Ландрю, который в те годы обрел всемирную известность как синяя борода, сексуальный маньяк, убивший тридцать женщин, — превозносил как героя, выразителя современной морали и великого революционера, нашедшего наконец способ решить женский вопрос.

— Этот господин — венгр, — представил меня Тцара.

— Благодарим за преданность короне! Давно ждем вас с накопившейся данью, — на блестящем французском ответил Габори, откидываясь назад и элегантно опираясь на трость. И — в этой величавой позе — вновь протянул мне руку.

— Я республиканец, — уклончиво ответил я.

— Искренность и прямота — вот высшая добродетель гражданина отечества! По случаю долгожданной радостной встречи мы желаем пригласить вас на стаканчик полынной... Или анисовой? Анисовой!

— Кревель, — представился, уже возле пивной стойки, второй молодой человек, с широкоскулым славянским лицом и светло-русыми волосами. В его взгляде, в чертах лица сменяли друг друга, словно соревнуясь, то насмешка, то беспричинная обида. В глазах его тоже поблескивал вызов, готовность укусить.

Тцара попрощался. И, подняв руку, остановил проезжающее такси; остановил таким аристократически небрежным жестом, что любому должно было стать ясно: он спешит на прием, и не к кому-нибудь, а к герцогине, ценительнице и покровительнице самых новых духовных веяний.

— Унылый филистер, — кинул Кревель вслед уезжающему Тцара.

Потом, спустя несколько мгновений, с еще более острой язвительностью во взгляде:

— Он — пишет.

И поскольку мы, Габори и я, оба — с некоторым смущением, как застигнутые с поличным — молчали, добавил:

— Как будто это что-то решает! Как будто словами что-то можно выразить!

— А чем можно выразить что-то? — с преувеличенной изысканностью и поистине королевской невозмутимостью поинтересовался Габори.

— Поступками!

— Справедливое замечание! Позвольте мне в знак признательности подарить вам мою трость. Пускай она напомнит вам обо мне, когда вы, глубоким старцем, опираясь на нее, будете ковылять в академию, на заседание, посвященное облагорожению языка.

Затем, обернувшись ко мне и показывая пальцем на Кревеля:

— Вы имели честь пожать руку одному из самых больших обещаний нашей литературы.

— Идите к черту, — буркнул Кревель.

— Но вы все-таки ведь будете писать? — не отставал от него Габори.

1. "Moi qui descends d'une vielle famille royale de Hongrie..." и т. д. ("Action", 2 год, № 16). (*Прим. автора.*)

– Разве что ради того, чтобы высказать, что я о вас думаю!

– О, мы все это делаем. А вам предстоит написать о том, почему не нужно писать.

Он чуть-чуть задумался, потом добавил:

– Нам всем это предстоит. К письму испытывает почтение лишь тот, чья рука тянется к пистолету или ножу: к поступкам. Вы что пишете? – обернулся он ко мне.

– Я хочу написать стихотворение, – сказал я.

– Конечно, посвященное какой-нибудь даме.

– Да, – сознался я.

– Пишите. Это никогда не вредно, – сказал он после некоторого раздумья.

Когда мы расстались и я, уже в одиночестве, брел домой, у меня было ощущение, что я снова куда-то прибыл. Куда? В какое-то духовное сообщество? Во всяком случае, мне казалось, что я нахожусь в пестром, полном шума и суеты бальном зале. И – словно мне требовалось предъявить некий пропуск, некое доказательство, что я тут не чужой, – я вытащил из кармана свой толстый блокнот. И прямо на ходу раскрыл его и стал писать. Стал писать вот что (привожу текст, чтобы дать представление о состоянии моего духа):

В подземке ездит она по утрам: утром – к будущему,
вечером – к смерти.
В лабиринте осенне-весенних оград шустрый ветер-будильник
вращает колесо швейной машины,
ветер швейной машины
вращает колесо моих песен,
сердце Анны
крутится под песню швейной машины,
приводные ремни бегут меж землею и небом...

Сочиняя это, я прошагал добрый километр: работал я нелегко. Смелость постепенно овладевала мной: я чувствовал, она наконец-то отрывает меня от земли.

и пока в уставших пальцах ее течет, шурша, полотно,
пока шуршат воспоминания,
проворно стрекочет игла, сшивая
день с вечером, с вечерами сны,
со снами – потускневшие кружева вздохов.

Все это должно было означать, что Анна ходит на работу, и – как она не раз жаловалась – ей слишком много приходится шить. Я перечитал написанное, и вдруг оно показалось мне таким безнадежно однозначным, что я остановился в отчаянии. Поставив локти на каменный парапет – я был уже на острове, почти дома, – я готов был чуть ли не обеими руками отрывать себя, отрывать стихи свои от унылой реальности. Напрягая разум, я выдавливал из себя – словно сквозь зубы сплевывал – образы, один смелее другого; но ни один из них меня не удовлетворял, ни один не увлекал. Вот разве что этот:

В сердце я берегу мать моих детей, по имени Анна Орос.

(В то время я, в лучшем случае, осмеливался брать Анну за руку.) Но все было бесполезно. Отягощенное смыслом, стихотворение оставалось в реальном мире, лежало, почти осязаемо, на каменном парапете. Я заменил подземку на "под землей". Стихотворение стало чуть более смутным, чуть более легким; но что это меняло? Может, убрать знаки препинания, — подумал я с блеснувшей надеждой. Я убрал; стихотворение даже не вздрогнуло.

Площадь поражений и побед

Я шел в нашу организацию. Но перед этим должен был, как всегда, с кем-то встретиться. Поэтому я торопился. Чтобы выразиться яснее, я и на сей раз торопился навстречу свободе. Все еще следуя примеру и указанию Петёфи — указанию, которое доносилось ко мне уже довольно издалека, но до сих пор вполне внятно. Я спешил за свободой — и за всем, что от нее неотделимо.

У меня назначена была встреча — с кем, уже не помню. Но я точно спешил.

Может, кто-то пообещал показать мне проект совершенно нового государственного устройства. Или только что сочиненное воззвание к человечеству, где предложено было кардинальное решение вопроса о тюрьмах; или способ положить конец вивисекции.

Может, кто-то хотел от меня точных и максимально надежных сведений о положении крестьянства в Центральной Европе. А может, такие данные были нужны как раз мне.

Может, я надеялся получить у кого-то столь же точное и максимально надежное доказательство существования Бога. Или — новости о положении в Индокитае.

Любые новые сведения казались тогда исключительно важными, и узнать их нужно было как можно скорее. Я так спешил, что мне стало жарко. Если ты чего-то в жизни способен достигнуть, то только благодаря такой вот юношеской торопливости.

Когда-то, в давние-давние времена, Париж стал сливаться в единое целое, в процессе здорового роста расширяться, расти наподобие коралловых островов; так же, упрямо следуя примеру колоний кораллов, крепло и училось функционировать общественное мнение, да даже во многом и само французское государство. Социальная иерархия строилась не сверху вниз: она — с удивительной естественностью — начиналась с низов, покоилась на земле. Ни у одной из крупнейших партий практически не было ни высшего органа, ни секретариата, ни членства с билетами. У партий этих, как правило, было лишь направление, которому они следовали, тем самым заполучая себе сторонников или противников. Как бы выразить пояснее эту особенность? Может быть, так: здесь единомышленники создавали партию, а не партия — единомышленников. Успех какой-нибудь демонстрации или забастовки предопределялся не в том или ином центральном комитете, а в маленьких, прокуренных пивных и харчевнях. Судьбы страны и человечества ежедневно обсуждались во Франции в ста двадцати тысячах бистро. Из них по крайней мере в десяти тысячах сидело по совершенно самостоятельному, скажем даже, самодостаточному в идейных вопросах искупителю, у

каждого из которых был свой отдельный штаб, свой лагерь приверженцев и даже своя оппозиция...

Из "Собаки с трубкой" мне пришлось удалиться со скандалом. Я и до сих пор не знаю, к приверженцам какого идейного оттенка меня дернуло подойти, хотя в белых ватных клубах дыма я приблизился к ним едва ли не вплотную. Это обстоятельство и стало причиной недоразумения. Я вынужден был наклоняться чуть ли не к самым лицам сидящих, чтобы убедиться, нет ли среди них того знакомого, которого я искал.

В какой-то момент они вдруг перевернули листки бумаги — надо ли говорить, что они тоже как раз составляли или правили какой-то кардинальной важности документ? — и подняли головы.

— Ни слова больше! — приказал остальным кто-то, сидевший во главе стола — очевидно, председатель, — и положил перо на край чернильницы. И тем же движением вытащил из кармана длинный нож, то ли такой хитрой конструкции, то ли часто используемый: во всяком случае, нож раскрылся прямо у него в кулаке. И, перешагнув через длинную скамью, придвинутую к столу, приставил острие к моему пиджаку.

— Ты от "Поливальщиков грядущего"?! — прозвучал грозный вопрос, сопровождаемый сверкающим взглядом. И вставший щелкнул на своем ноже металлическим фиксатором, который не позволяет сложиться лезвию.

Уже и за спиной моей стоял кто-то. Я попятился к выходу.

— Тебя кто сюда послал? — надвигался на меня председатель.

Я продолжал отступать. Идеи в этих краях варились на интенсивном огне, один-два примера я сам наблюдал. Недалеко ушло в прошлое время, когда "Лионские мечтатели" бросили бомбу в "Кружок Верного пути", так как члены последнего намеревались заменить деньги в обществе будущего точно такими же трудовыми талонами, как члены первого. Идеи тут оттачивались и шлифовались, жестко соприкасаясь друг с другом. Для того чтобы какая-нибудь немудрящая мысль обрела форму, иногда должна была пролиться кровь. (Правда, это все-таки лучше, чем мирные на вид, благонамеренные мысли, ведущие к массовым убийствам.) И вот я уже стоял на улице, поправляя сбившийся набок галстук.

От намерения найти приятеля я отказался. Время подсказывало, что надо думать о другом. Я огляделся в этот гигантском, плохо освещенном орлином гнезде; на мгновение я утратил ориентацию. Откуда-то донесся грохот: дверь или револьверный выстрел? Я сделал неуверенный шаг; кожей — в районе позвоночника — я испытывал то ощущение, когда тебе весь дом хочется унести на себе как прикрытие и опору.

И вдруг ощутил облегчение. Да ведь я здесь уже бывал! Только сейчас я сообразил, что место это мне знакомо. Этот угол, этот выщербленный тротуар были для меня примерно тем же, чем для Наполеона — Поклонная гора, откуда он впервые увидел Москву. Мысль эта словно подхватила меня, поддержала под руки. Я почувствовал себя в безопасности.

Несколько месяцев назад, с купленными только что двумя книгами под мышкой и — поэтому — переполняющим грудь довольством, а в душе — с неистощимым запасом радостного смеха, я стоял как раз перед этой пивной, как раз на этом углу, там, где из площади вытекает улица Луи Блана. Стоял в небольшой группе новых друзей, которые понравились мне прежде всего благодаря своим именам; нравились они мне и так, но ближе я их узнал, собственно говоря, из-за их имен. Имена их, когда они выкрикивали их, обращаясь друг к другу, забавляли меня; впрочем, тогда меня все забавляло. Короче, я стоял в группе этих моло-

дых людей, а к нам по тротуару приближалась девушка. Смеркалось; но видно было еще хорошо. Я — с чужой визиткой в руке — как раз заучивал новое имя, имя знакомой, которую до тех пор звал просто Марией. Полностью имя звучало: Мария Азпиликольта де Гуипузкоа, и владелица его находилась передо мной, живая и во всем своем смуглом великолепии. Это тоже было забавно, причем несказанно. Через плечо этой самой Марии я и увидел ту девушку. Вот она уже рядом, вот прошла дальше. Она прошла, но ее взгляд, ее выпуклый чистый лоб остались в моем сердце. Я обернулся ей вслед: походка ее точно так же создана была для того, чтобы остаться в памяти навсегда.

— Самая красивая француженка, какую я до сих пор видел! — сказал я, обращаясь к своим собеседникам. В груди моей разлилось благотворное тепло. Когда ты обнаруживаешь, что попал в страну, где женщины красивы, — это действует на самочувствие благотворно.

Маленькая компания обернулась вслед феномену.

— Самая красивая женщина во Франции стоит у тебя перед носом, — сказал, показывая на Марию, юноша, полное имя которого было: Тимотео де Мардонес Забаландикоэтксеа.

Я стоял в группе молодых басков, которым пришлось покинуть родину. Собственно, я уже прощался с ними: мне было пора уходить. Я спешил в одно из ближайших зданий, где созвано было учредительное собрание Общества самообразования народов Дунайского бассейна. Назначенный первым оратором, я должен был показать, что в трехтысячелетней истории культуры и искусства, вопреки видимости, есть и такие ценности, которые заслуживают внимания угнетенных классов. И что ценности эти способны сплотить, несмотря на раздоры и недоразумения, различные рабочие партии; даже, в сущности, уже сплачивают! (Через обобществление средств производства — борьба за новую мораль, а через нее — за новую культуру!) Предстоящее выступление — я терпеть не мог выступать перед публикой — вызывало во мне некоторую дурноту, напоминающую легкую изжогу. Поэтому я и торопился: пускай поскорее все будет позади.

Произнося пятую или шестую фразу, я обнаружил среди не такой уж многочисленной аудитории ту девушку, которую заметил на улице. Мысль о том, как она попала сюда, едва не заставила меня потерять нить рассуждений. Наши ребята частенько приводили с собой знакомых француженок; но эта девушка пришла одна. Неужто она знает венгерский? Откуда? И хорошо ли? Я попытался придать своим словам такую окраску, чтобы они вызвали на лицах зримые эмоции. И выдавил что-то вроде шутки. Редкий народный трибун с таким волнением наблюдал за эффектом своих слов. Девушка улыбнулась.

Это была Анна Орос. Так я ее узнал. После работы она приходила сюда немного расширить свой кругозор, что одновременно означало и какое-никакое развлечение.

Я и сейчас торопился в ту группу; словно к какому-то роднику, за глотком свободы, которой я жаждал в смеси с опасностью и (это я осознаю лишь сейчас) согласно традициям нашей литературы — с любовью.

Я свернул на улицу Самбр-э-Мёз. Потом вошел в огромный, запущенный двор, в дальнем конце которого стояли разбитые и разобранные на детали грузовики. Перешагивая обильные лужи вытекшего машинного масла, достиг конечной цели своего пути — гигантских деревянных дверей.

То короткое время, которое я потратил на пересечение двора, от ворот до дверей, и на сей раз стало временем ни с чем не сравнимого счастья. Я находился в таком невесомом, таком возвышенном состоянии блаженства, словно не кружил, глядя под ноги, среди отсвечивающих зеленым и желтым луж, а парил над облаками, пускай такого же цвета. За эти минуты, как уже столько раз, я вновь пережил момент, когда Анна своей неуверенной улыбкой выдала, что она — венгерка. И вновь пережил — даже живее, чем в действительности, — все то, что чувствовал после той улыбки, созерцая лицо Анны. Да, произнося свою достопамятную речь, я имел возможность разглядывать девушку без всяких помех. Дело в том, что не прошло и трех минут после того, как Анна улыбнулась, и я вдруг увидел, что веки ее сомкнулись. Голова же чуть-чуть запрокинулась; теперь Анна словно прислушивалась к чему-то, что доносилось из-под потолка. Яркая электрическая лампочка без абажура лила резкий, холодный свет на неподвижное лицо, которое сейчас, с закрытыми глазами, напоминало застывшие в невозмутимом покое, идеально отшлифованные кошачьи лица в древнеегипетских залах больших музеев. Сон — самое надежное испытание красоты: в такие моменты черты отступают, как бы для отдыха, туда, где душа не держит их под жестким контролем; в такие моменты они выдают о человеке всю правду. Застывшее, как у мумий или у египетских кошачьих изваяний, лицо Анны сейчас — когда она все глубже погружалась в спокойный сон — воплощало в слепящем свете голой лампы трогательную чистоту задремавшего младенца. Короче говоря: Анна уснула. Даже с тенями усталости, переутомления на лбу и щеках она спала по-детски умиротворенно. Я немного повысил голос: проверить, глубок ли ее сон. Он был как бы вне времени, олицетворял вечный, нерушимый покой. Я вымучил еще что-то вроде шутки. Взметнулся смех; но она не пришла в себя даже настолько, чтобы слабо улыбнуться. Я собрал в кулак все свои способности, всю энергию, чтобы спровоцировать аудиторию на громкое одобрение. Прогремел залп аплодисментов; Анна и тут не проснулась. Высвобождая души таящихся в нас предков, показывает ли сон — как старость и как смерть — и наши уходящие в бездонное прошлое корни? Сейчас на лице Анны проступил нежный овал лика Пресвятой Девы, какой увидишь разве что на иконах глубинной Сибири. Я стукнул ладонью по столу; в ответ раздалось несколько гулких "браво". Головка Анны покачивалась, то как бы говоря "да", то как бы "нет" — словно у дряхлых старцев. Были моменты, когда она опускалась почти на грудь; но, достигнув какой-то определенной точки, вдруг гордо вскидывалась, подобно конской голове на рывок узды; можно было подумать, что в этой красивой шее протянуты скрытые подпруги. Кто-то вышел, хлопнула дверь. Анна безмятежно спала. Она проспала весь мой полуторачасовой доклад. Наконец я закончил и замолчал. В то же мгновение она открыла глаза. Проглотила слюну, улыбнулась.

Мне было приятно смотреть на лицо Анны; наверно, поэтому я, вопреки своему обычаю и, главным образом, подготовке, говорил в тот раз так долго. И полуторачасовое это блаженство я вновь пережил — только, пожалуй, более интенсивно — сейчас, за те две минуты, пока пересекал воняющий бензином и залитый машинным маслом двор, направляясь к заветной двери. Ощущение счастья росло во мне с каждым мгновением; но, едва я коснулся рукой железной скобы, которая заменяла на двери ручку, оно внезапно исчезло, сменившись непонятным щемящим страхом. Я знал, что Анна тоже находится в зале.

Борьба за единое слово

Это был не тот зал, где я вел уроки французского. Помещение это располагалось в задней части двора, на одном уровне с ним. Буквально на одном уровне, так что, если случался дождь, грязная, в разводах машинного масла вода маленьким водопадом лилась со двора прямо к нам. Люди в таких случаях вставали на кирпичи или, если сидели на скамьях, приподымали ноги. Особых хлопот нам это не доставляло: цементный пол в просторном и высоком помещении высыхал быстро. Прежде тут находился какой-то склад или, может, гараж. Окон в нем не было. Зато единственная дверь, широкая и массивная, рассчитанная на грузовики, вздымалась до самого потолка, и открыть ее было по силам разве что крепкому мужчине. В таковых, впрочем, недостатка не ощущалось: во время репетиций массивные петли то и дело натужно скрипели, возвещая о прибытии опоздавших.

Лица же я в основном видел те же, что на субботних занятиях по французскому. Но здесь шли репетиции драматической и хоровой самодеятельности. Так что, скажем, Пилити, на французских уроках такой молчаливый, здесь демонстрировал свой голос в полную мощь. Парни и девушки, которые там, на уроках, только что не прятались друг за друга от застенчивости, здесь расправляли плечи и ходили с гордо поднятой головой. Хеди привычно собирал своих людей в уголке, чтобы о чем-то договориться: если его и призывали к порядку, то призывали не на птичьей тарабарщине, и тут он мог ответить, пускай лишь недоуменно передернув плечами. Шандор Иштванфи, который и после десятого урока воспринимал как признак неизлечимого безумия то обстоятельство, что французы упрямо, невзирая ни на какой здравый смысл, произносят "j" как "ж", здесь пользовался таким уважением, какое выпадает лишь на долю гениев: он великолепно пел в терции. Перспективы открылись наконец и перед Герцогом: резкий, пронзительный голос его давал возможность выразить, в финальном аккорде какого-нибудь революционного марша, всю мощь классовой ненависти. В характере товарища Крупы пробудился талант едва ли не самого замечательного конферансье своего времени. Лишь Карачонь всегда оставался таким серьезным, что другие, глядя на него, почти стыдились своего веселья. Которое вспыхивало то и дело, по малейшему поводу и даже без повода, как в любом коллективе, где большинство составляет — а значит, задает настроение — молодежь обоего пола.

Но в наибольшей мере обрел себя здесь дядя Бодор. Ему не нужно было ни слова произносить, ни по-венгерски, ни по-французски, и все-таки он делал свое дело: одним своим присутствием обеспечивал порядок, дисциплину, почтение к авторитету. Он был негласно избранным старостой, делегатом от стариков, он улаживал все конфликты, и все группы склонялись перед его мнением — хотя бы уже из-за его возраста. Однако разногласий все равно хватало. Но тут надо сказать несколько слов о межпартийном комитете по самообразованию, представлявшем венгероязычных рабочих.

Комитет этот, по аналогии с экономическими организациями — и в согласии с позицией французских рабочих организаций — "призван был обеспечивать" (как гласили, в частности, и вывешенные на стене правила) сотрудничество между самыми различными идейными оттенками, тем самым содействуя незыблемому единству рабочего класса. В комитете принимали участие представители всех партий и фракций, действую-

щие во имя невозможной и потому причиняющей огромные осложнения цели — склонить остальных на свою сторону. Случаев для этого представлялось немало. Ко всем рабочим праздникам готовились, сочинялись — порой, после множества репетиций, добавлений и споров, даже почти достигали стадии готовности — пьесы, хоровые номера, в том числе хоровая декламация. По всей видимости, меньше всего имела значение окончательная стадия: фактическая премьера. Комитет, полное название которого было: Комитет по вопросам самообразования, культуры и организации развлечений, — существовал и так, без всяких видимых и ощутимых итогов: более того, только так он и мог существовать по-настоящему. Члены кружков общались, развлекались, во многих отношениях проводили время с пользой для себя, обучаясь разным вещам в ходе заучивания стихов или сцен. На представление же в последний момент обычно накладывался запрет: какая-либо партия или фракция находила его неприемлемым для себя. Следовали долгие переговоры и утрясания, но в итоге с запретом соглашались, без особых скандалов, и остальные группы.

Если бы не твердость и упорство Карачоня, ни одно из наших мероприятий, пожалуй, не удалось бы довести до финала. Ибо политические разногласия вспыхивали по малейшему поводу и среди молодежи.

В те времена состояние душ повсюду в Европе было весьма неспокойным. Это был тот момент, когда основные лагеря классового противостояния, казалось, на какое-то время прекратили борьбу. Их сбил с панталыку великий восточный пример. Каждый из лагерей поспешно, как бы компенсируя отставание, начал войну внутри самого себя. Во Франции в те годы насчитывалось восемьдесят семь буржуазных партий, союзов и обществ (что вообще-то, на своем месте и в свое время, есть признак здоровья), в Германии — сто тридцать, в Польше — как в двух этих странах вместе взятых. Пусть с меньшим количеством партий, но то же самое происходило и в рабочей среде.

Но то, что в большом мире гремело бурями и штормами, здесь, в кастрюле нашего кружка, под мудрыми, исподлобья, взглядами дяди Бодора, чудесным образом превращалось в плодотворное кипение, которое и смягчало, и бодрило душу. После какого-нибудь инцидента — допустим, в Гамбурге — члены кружка вместо рукопожатия обменивались сухо сверкающими, гневными взглядами. Дядя Бодор в таких случаях вставал, твердо оглядывал всех, затем давал знак Божару, нашему вдохновенному и суровому дирижеру. И, следуя взмахам его руки, члены хора еще звучнее и энергичнее исполняли вокальный номер, предназначенный для какого-нибудь предстоящего торжества: весь свой пыл они — они тоже — выдавали через глотки.

Пение звучало и в тот момент, когда я повернул во двор. На Балканах не прекращались политические покушения, Куно по-прежнему якшался с центром, а не с левыми; петь приходилось все больше. Юный дирижер что ни неделя отбирал у живой речи, то есть у меня, все больше и больше времени.

Складское помещение с высокими, как в церкви, потолками служило прекрасным резонатором для песенного многоголосия. Я остановился перед огромной дверью. Мысленным взором я уже видел, как Божар, стоя на возвышении, сложенном из кирпичей и гранитных блоков, взмахом руки указывает то туда, то сюда. В соответствии с этим звучит то мужской хор — суровые, мрачные рабочие голоса, в которые изредка как будто вплетается доносящийся из неизреченных далей голос моего

отца, — то женский. В свежих, звонких переливах слух мой на мгновение выхватывает нотку, обрывочек голоса Анны.

Хор и на сей раз исполнял боевой марш, положенный на довольно причудливо обработанную мелодию средневековой песни, из тех, что когда-то горланили ландскнехты. Оригинальный венгерский текст марша, после замечаний и возражений, исходящих от различных течений в партии, и долгих согласований, звучал на тот момент так:

Оглядись, пролетарий: кругом
Раздаются глухие проклятья.
Оглядись: угнетенные братья
Стонут под непосильным ярмом.

Я съежился насколько мог, насколько требовала моя скромность, и осторожно-осторожно потянул ручку двери. Щель приоткрылась — узенькая, для мыши; но, конечно, до самого потолка. Пока я бочком протискивался внутрь, все взгляды обратились ко мне. Что говорить, прекрасный пример пунктуальности показывал молодежи я, руководитель секции.

Хор построен был тремя группами. Впереди справа — девушки, слева — парни; обе группы, нетерпеливые, словно горячие кони в умело подогнанной упряжке. А за ними — сдержанно-басовитый рокот взрослых мужчин, как голос возничего на облучке или Юпитера за несущимися облаками. Позади всех прохаживался туда-сюда дядя Бодор. Мы кивнули друг другу.

Я ушел в дальнюю половину склада, куда едва доставал свет лампы, и выбрал место, откуда мне видна была Анна Орос, меня же скрывал полумрак. Положив друг на друга три кирпича, я комфортно, словно в ложе театра, отдался самому приятному зрелищу, какое только можно представить в юности. Стеснение, которое я ощущал в груди, на какое-то время преобразилось в приятное щекотание.

Женщины покачивались, словно зрелые колосья в поле, потом, по знаку Божара, вскидывали к небесам лица с широко разинутыми, круглыми, словно у рыб на берегу, ртами.

Анна не раскачивалась и не хватала ртом воздух; если же ей приходилось сильно открывать рот, она стыдливо отворачивалась; лишь зрачок в уголке глаза слегка скашивался в ту сторону, где она угадывала мою тень.

Я ощущал себя чуть-чуть племенным вождем, который, стоя на одном из мункачских холмов, окидывает взглядом будущие свои владения; и немножко — моряком, который со стесненным сердцем подходит на своем корабле к большой гавани. С Анной у нас в сущности все могло бы уже быть в блаженной гармонии. Мы с ней уже проезжали вместе целых три станции метро, держась за один поручень и ни на мгновение не отводя друг от друга взглядов. Затем была длинная улица, когда она ни разу не вынула из моей руки свой маленький кулачок. Все это оставалось только сформулировать в словах. Вроде того, как крестьяне, сторговавшись, говорят: "лады"; после рукопожатий и нам предстояло произнести некое слово, которое, словно печатью, скрепило бы то, что было — или могло быть — между нами. Но как раз на это было труднее всего решиться; хотя дело выглядело все более неотложным. Ведь пока это не произошло — мы оба чувствовали, — нас ничто не связывает; пока это не произошло, такие же отношения можно сплетать, через взгляды, через пальцы, с кем угодно другим; до высказанной вслух команды глаза, уши, осязание, любой из легиона безмолвных органов — свободны! Слово об-

ладает магической силой. К словам я вообще обращался с опаской. Сидя на кирпичах, я смотрел на Анну примерно так, как борец перед поединком смотрит на соперника; но в то же время так, как принц из волшебной сказки смотрит на принцессу, которая спит в заколдованном сне, ожидая поцелуя, разрушающего чары. Реальная жизнь любви начинается со слов. Меня же сковывала необычная для влюбленных стеснительность.

Слово обладает огромным могуществом, в этом ты можешь убедиться в любой значительный момент жизни. Возьми момент рождения, когда, увидев новорожденного, ты говоришь: Эржебет, или говоришь: Ласло, и с той минуты человек, хочет он того или не хочет, всю жизнь будет вскидывать голову, услышав это слово. Возьми момент смерти, когда лишь произнесенное вслух "отмучился, болезный" по-настоящему ставит точку на жизненном пути усопшего. Церковь очень верно угадала истину, предлагая жениху и невесте произнести "да" перед алтарем. Это "да" и есть истинная печать на их общих намерениях, самый прочный замок, соединяющий их. Все предыдущее: ухаживание, помолвка, жениховство, первоначальный блаженный период любви — есть не что иное, как подготовка к произнесению этого слова. К произнесению слова, а не к совершению действия. В любви самое решающее — соединение душ, а не расстегивание застежек. Есть мужчины, которым куда легче поцеловать женщину, чем выдавить слова "я хочу тебя поцеловать", и есть женщины, которые скорее отдадут свое тело, чем произнесут слово "люблю"; наконец, сплошь и рядом попадаются и мужчины, и женщины, которые сначала вступают в любовные отношения, а уж затем переходят на "ты", то есть разговаривают друг с другом как близкие люди. Слово и сегодня обладает таким же могуществом, как в устах героев "Калевалы", которые какой-нибудь удачной фразой по пояс погружали друг друга в землю-матушку. Люди забыли, что всякая жизнь, если она заслуживает этого названия, начинается там, где глагол действительно становится материальной силой. Творцы жизни, истово влюбленные в нее, еще помнят это. Потому они и испытывают смутный страх перед словом, хотя в то же время уповают на него как на ключ к счастью.

Именно это — одно-единственное, заветное слово — я пробовал взвешивать, примеривать, дегустировать на языке и в душе, когда, сидя на трех кирпичах и начиная испытывать неудобство от этого жесткого сооружения, созерцал Анну. Я предчувствовал, что слова решат все, — как оно на самом деле и произошло. Самый великий поэт не ощущает так остро силу вздымающегося в душе, распирающего грудь вдохновения, как ощущает ее самый заурядный человек, когда он влюблен: ведь им обоим предстоит сотворить нечто из ничего, из воздуха. Чувствовал ли я в глазах Анны ободрение? Время от времени она бросала взгляд в мою сторону, в тот доисторический мрак, в глубине которого я сидел, съежившись подобно сгустку кристаллизующегося разума. Все, что она хотела обо мне знать, она уже знала. Она ждала слов. Выраженную в словах сущность мою и будущее. Я, однако, еще не чувствовал под своими словами золотого обеспечения. Они прозвучали бы легковесно.

Я вынул из кармана жестяную табакерку и скрутил цигарку из черного, словно деготь, табака; скрутил так нетерпеливо, так торопливо, так жаждая дыма, словно в экстазе творчества, когда лишь затяжки одной не хватает, чтобы найти то, единственное, правильное выражение. Какое же слово уместно в отношениях между нами, какое слово — то? Я чиркнул спичкой по цементному полу. Женщины как раз изображали рыб на

берегу; Анна блеснула в мою сторону темным зрачком в углу глаза. Я затянулся — уже не столько из-за дыма, сколько ради огонька: пусть светит ей в темноте искорка света, символ моего сердца.

— Во время репетиции не курить! — враждебно вскинул голову Божар, забыв и о своем таланте, и о нашей взаимной симпатии. Отношения у нас с ним были самыми дружескими; даже, можно сказать, это были отношения нежной дружбы. Но стоило нам, все равно по какому поводу, оказаться в официальной сфере, он смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Так ведет себя добродушный вообще-то фельдфебель, когда переступает порог казармы. Он даже на "вы" со мной переходил. Я пожал плечами, услышав его окрик. — Повторяю, товарищ: прекратите курить! Или выйдите за дверь!

Репетиция давно уже шла за счет моего времени; скажи я всего лишь слово, и с пением было бы покончено! Но пример друзьям-предателям надо показывать и в самообладании. Я сделал глубокую затяжку — как бы сигнализируя красным светом в темноте о своем упрямом несогласии, — потом затоптал цигарку. Полумрак благотворно смягчал мой позор.

Еще больше смягчал его взгляд Анны: сейчас лицо ее было обращено ко мне в полный оборот, почти ощутимо согревая темноту вокруг меня. В этом тепле — мне показалось — я мог высказать если не все, то многое. Но в следующий момент — когда она отвернулась — я был снова во власти того запрета, который висит над нами, заставляя видеть едва ли не кощунство в любой попытке легкомысленно прибегать к словам, как только они наполняются чем-то большим, чем то, что ты желаешь сообщить парикмахеру или барышне в обувном магазине. Слова — те, может быть, четыре-пять слов, которые нам с Анной были нужны позарез, — лежали передо мной, как неподъемные обломки скалы. Я набрал воздуха в легкие, словно готовясь к непомерному напряжению сил. Анне лгать я был не способен.

Само собой разумеется, я тоже испробовал обходной путь, возможность избежать прямого объяснения. Плоть и меня торопила. И — угодил в извечную западню, в извечную трясину уклонения: я попытался писать. К счастью, я все же писал не письмо.

Писал я — в Америку. Зять Анны выписывал венгерский журнал, издаваемый в США; среди двадцати — двадцати пяти направлений, существовавших в венгерском рабочем движении, зятю — один Бог знает почему — подходило именно то, которого придерживался этот журнал. Из него семья узнавала о событиях в мире, да и о парижских тоже, пускай с некоторым, в общем-то несущественным, запозданием. По вечерам, возвращаясь домой на метро, Анна читала — еще на день позже — тот же журнал. Здесь, в метро, я однажды и подсмотрел, у нее под мышкой, адрес редакции. Журнал выходил в Нью-Йорке.

Из тогдашних моих стихов Анна едва ли так уж легко смогла бы понять, какие чувства переполняют мое сердце. И я, в стесненном своем положении и как бы левой рукой, доверил их, эти чувства, прозе, до тех пор презираемой, считаемой, рядом со стихом, по-орлиному парящим в высях, чем-то вроде слепого крота. Для чего нужна проза? Разве что для таких вот вещей. Я написал рассказ.

После поэтических воспарений по этому плоскому, унылому ландшафту я передвигался довольно неуклюже. Подробно и обстоятельно, словно излагая ход происшествия для занесения в полицейский протокол, я описал один из эпизодов первого периода нашего знакомства, на-

зывая строго по имени и улицу, и дом, и знакомых, и саму Анну. Вот только сам рассказ, линия действия в рассказе была выдумана с начала и до конца: она была порождением моего разума, а вернее, моей души. Все это я, с некоторым изумлением, осознал, когда увидел свое произведение в печатном виде.

Герой рассказа, написанного от первого лица, в финале произносил пространный философский монолог о чертах лица Анны, затем, глядя Анне в глаза, озвучивал свои чувства, чтобы затем в решительном и страстном порыве прижать ее, медленно закрывающую глаза, к своей груди. Произведение невозможно было понять как-то не так.

Это мое признание попало с острова Сен-Луи на соседнюю улицу Фобур-Сент-Антуан кружным путем, проделав огромный путь за сорок четыре дня. Редакция печатала его частями, растянув на несколько номеров. Наконец приплыла из-за океана и последняя часть. Я узнал обложку журнала под мышкой у Анны. И решился на невиданную дерзость.

— Прочитали? — спросил я.

— Ну да, — ответила Анна.

— Все части? — спросил я.

— Все, — сказала Анна.

Я в жизни еще не произносил слов: "Это я написал"; вообще не говорил, что пишу, что имею какое-то отношение к литературе. Говорить подобное не позволяет мужская честь.

— Это я написал, — сказал я, в первый и в последний раз в жизни.

— Да ну? — сказала Анна.

— Это я про вас написал, — сделал я еще один шаг вниз, под обрыв, в трясину.

Тогда я еще не знал того, что позже так высоко ценил в ней: в глазах Анны писать — было таким же ремеслом, как строить дорогу или молоть муку. Если я запечатлел ее имя с помощью букв на страницах журнала, на глазах всего мира (так я чувствовал), то для нее это было ничуть не больше, чем если бы я был приказчиком у мясника и выложил бы его из колбасы на полке или, кондитером, написал на торте кремом.

— Очень было мило, — произнесла она, преодолевая смущение. — Я была очень рада, — сказала она, уже улыбаясь, даже, может быть, чуть кокетливо улыбаясь (словно благодарила за букет цветов). — Большое спасибо, — добавила она почти лукаво и победно, то есть оказавшись от меня дальше, чем когда-либо.

Нет, для нее, как и для любой женщины, буквы, бессмертная сущность букв — не значили ничего. Ей, как любой женщине, нужны были слова, живые слова. Ей нужно было живое признание, волшебное слово, магическая формула, которая мечту превращает в явь, желание делает осязаемым; которая из ничего творит мир.

Песня лязгнула последним аккордом, прогремевшим, как внезапно затормозивший поезд, и сразу остановилась. Я вышел из полутьмы, как из какого-то шатра, считая, что теперь пришла моя очередь. Но нет, это был лишь перерыв. Группы в хоре лишь ненадолго утратили стройность. Разгоряченные рты, отдыхая, смачно глотали немой воздух.

— Еще раз! — вновь поднялся на кирпичи Божар; сейчас в нем было нечто от дирижера и от человека, предавшего собственное "я".

Из группы женщин раздался чей-то голос.

— В тексте все еще есть ошибки, — прозвучал холодный голос; такой голос бывает у лицемерных и несчастливых женщин.

Это была представительница одной из фракций, присланная к нам для контроля; в миру — студентка-филологиня, бросившая учебу. Здесь она появилась в первый или во второй раз.

Реплика касалась меня: я отвечал за текст.

Женщина бросила взгляд в мою сторону, но обратилась ко всем.

— Тут говорится: проклятья. — Ее бесстрастный голос тек откуда-то из тех мест, где гортань смыкается с носовой перегородкой. — Вот, во второй строке. Это — устаревшее, суеверное понятие. Теоцентрический, религиозный пережиток!

Вторую строку я переписывал уже трижды. Сначала она звучала обидно для Хеди и Херцога, потом ее нашли слишком уж кровожадной Божар с товарищами. Невыразительностью своей — как это обычно бывает — она и была обязана бесконечным согласованиям. Мне же важны были только первые слова в строчках; вернее, даже только первые буквы. Причина у меня для этого была особая. Сейчас я о ней расскажу.

Божар неожиданно встал на мою сторону.

— А что, уже и проклинать нельзя? — воскликнул он раздраженно.

— Нельзя! Это признак трансцендентного мировосприятия! Самый типичный контрреволюционный идеализм!

У женщины были маленькие круглые очки и слегка выступающие вперед рот с подбородком. В очках блестел свет лампы, и потому лицо ее напоминало сейчас радиатор приближающегося автомобиля, в фарах которого отражается заходящее солнце.

— Там и других сомнительных слов хватает! — донесся из задних рядов задиристый голос Херцога.

Это мне было знакомо. Я ждал следующих высказываний. "А почему глухие? — вылезет сейчас Орова. — С какой стати они глухие? Очень даже громкие! Это у трусливых буржуйских подпевал — глухие!"

Божар совсем разозлился.

— Проклятья — нельзя?! Тогда, может, объятья — можно? Как раз по рифме подходит!

— Это — можно! — ответила женщина, вздергивая очки-фары и подбородок-радиатор. Хористы загудели.

Еще минута, и разразится братоубийственная война. Дядя Бодор встал, окинул взглядом поднимающиеся волны, поднял руку и дважды сложил ладонь, как танцовщица — кастаньеты.

Встал и Карачонь. Он был весь — воплощение серьезности. Все замолчали. Только женщина в очках еще раз, по инерции, выкрикнула — но уже сдавленным голосом:

— Это — можно!

— Тогда за дело, — сказал Божар и поднял, широко разведя, руки. И, как только группы построились, он жестом Моисея, высекающего воду из скалы, вонзил дирижерскую палочку в воздух. Можно было подумать, он попал в какого-то невидимого духа, в самую чувствительную его точку: из воздуха вырвался громовой рев. Басы — со всей мощью и убежденностью — начали песню с первого куплета:

Оглядись, пролетарий...

Это была свежая и горячащая кровь находка Божара: не только каждую строку, но и каждую половину строки он распределил между разными группами. Вследствие чего песня, и без того отличающаяся резким

ритмом, превращалась в лихорадочный, искрящийся страстью диалог. Группы с пылом игроков, сжимающих в кулаке хорошую карту, нетерпеливо ждали момента, чтобы выкинуть своего козыря. Второй куплет они уже выкрикивали хлестко и яростно, словно вошедшие в азарт картежники.

А буржуям наш труд — нипочем.
На земле все присвоено ими.
Но колоннами встанет стальными
Армий строй с пролетарским мечом.

Мне самому текст этот очень нравился. Мощно гремящие начальные слова, первые буквы в строчках прямо-таки кричаще лезли в глаза, как бы даже сверкали. Тут я должен кое в чем признаться.

Дело в том, что первые буквы строк, если читать сверху вниз, составляли фамилию и имя Анны Орос. Приемом этим любили пользоваться хитроумные средневековые грамотеи. Кроме имени, в первых буквах содержалось еще и обращенное к Анне Орос признание в любви, образованное из простых, но выразительных слов — сплошь состоящих из четырех букв, поскольку строфы были четырехстрочные. Слова получались такие: хочу, тебя, лицо, идем, жена, лети. Но и с помощью таких слов, поверьте, можно высказать многое.

Песня — по понятным причинам — была довольно длинной, поэтому хористы держали перед собой листы белой бумаги с крупно выписанными на ней строфами. Чем ближе к концу, тем текст становился все более угрожающим и одновременно все более страстным. Там, где вздымались баррикады и неистово бурлил народный гнев, буквы акростиха составляли самые нежные и откровенные слова. Мы еще увидим, что перемешивание этих двух стихий можно квалифицировать и как богохульство. Для меня же оно было как золотая кисть, порхающая над бьющимся на ветру, покрытым пороховой копотью боевым знаменем, как доносящаяся издалека, из-за орудийного грома, обращенная к родному дому, к матери песня юных новобранцев. Орова, Пилити, Хеди, Херцог никогда не были так дороги моему сердцу, как сейчас, когда они, с охрипшими глотками, багровые от классового гнева, провозглашали месть тиранам и в то же время — не сознавая того — превозносили красоту Анны. Не было ли тут той самой встречи свободы и любви, о которой писал Петёфи? Как в любой юной душе, в моей эти два чувства находились рядом друг с другом и даже, я бы сказал, помимо моей воли тесно переплетались. Я смотрел на Анну. Ни о чем не подозревая, раскрасневшись, вдохновенно и целомудренно она пела хвалу самой себе, повторяла слова обращенного к ней признания.

В последний раз произведя руками некий неистовый вихрь, Божар завершил борьбу с невидимым чудовищем, с которым так часто схватываются молодые хормейстеры. С трясущимися руками и подгибающимися коленками он спустился с кирпичей; вид у него был такой, будто он, проиграв сражение, своим несчастным видом хочет пробудить к себе сострадание. Едва слышным голосом он распорядился насчет следующей спевки. Лишь глаза его, когда он оглянулся из высоченной двери, выдавали, что на самом деле он понимает, какую триумфальную победу одержал! Победу, которая всем может служить примером. И ушел не прощаясь.

Добрых полтора часа размахивал руками и я; там же, где Божар, на том же самом кирпичном возвышении.

И вот мы на улице, в свежей, бодрящей ночной темноте; мы уже дробились на все более мелкие группы. Я и тут продолжал возбужденно говорить о работе, о том, как ее улучшить; но вовсе не своему авторитету лектора я обязан был тем, что вскоре мы остались с Анной вдвоем. Обязан я этим был доброжелательному пособничеству ребят.

Я встал слева от Анны, как бы в знак того, что общественные дела кончились, сейчас мы — на другой территории. И тут вдруг онемел; онемел потому, что она, как мне показалось, бросила на меня ободряющий взгляд. Я был там, где надо было что-то делать. Где надо было говорить.

Слово улетит, буква останется — это девиз биржевых маклеров и нечистоплотных гиен-газетчиков. Между людьми же остается именно слово; лишь произнесенное, теплое слово обретает собственную судьбу. Буква — остынет, окаменеет; кто позавидует такой вечности? Бессмертие слова — бессмертие семени, упавшего на мягкую, плодородную почву: в ней оно сохранится живым, прорастет, как злак, и умножится в самом себе. Букве нужен камень; слово — нечто родственное растению. Если тебе во что бы то ни стало нужно писать, то и здесь, следуя гениальному инстинкту влюбленных, пиши на дереве, на живом. Здесь даже простые инициалы наших имен скажут то, что останется на всю жизнь; здесь они будут расти, расти сами собой, вместе с деревом.

— Хочу с вами поговорить, Анночка, — сказал я.

В ней было достаточно такта, чтобы не поощрять меня словами. Но и быстрый взгляд, из уголка глаза, едва не заставил меня онеметь.

Я взял ее под руку.

Во мне была потребность говорить сразу двумя голосами. Когда ты юн — почти мальчишка еще, — способность любить появляется в тебе прежде чем само чувство. В груди у меня бурлило, просилось наружу и то и другое; беда только, что одновременно.

В общем, я не в силах был произнести ни слова. В этот момент я осознал нечто очень важное. Осознал, почему, говоря с Анной, нельзя играть словами. Анна — не игрушка. Я, по крайней мере, не имею права играть с ней. Объяснить почему — я не мог. Может быть, потому, что она была швеей, а моя мать тоже долгое время зарабатывала на жизнь шитьем? Ребенком я был очень привязан к матери.

Мы прошли километров пять по тому воображаемому — но вполне реально сдавливающему дыхание и голос — натянутому канату, что лежит под ногами влюбленных на асфальте больших городов, вознося их блаженные лица высоко-высоко над землей. Мы давно миновали Бастилию, когда я сумел хотя бы откашляться, прочищая осипшее непослушное горло. Откашляться-то я откашлялся...

Что же сковало в тот час мои голосовые связки; что я хотел — и не мог — сказать Анне? Об этом я размышляю сейчас. Что я ей собирался сказать? Разумеется, то, что диктует сердце любому здоровому двадцатилетнему человеку; то есть: положи свои руки в мои горячие ладони, грудь — к груди, лицо — к лицу, давай закроем глаза, уступим мучительной жажде, и не надо никаких промедлений. Или еще более недвусмысленными словами: если иссушающий этот внутренний жар можно так сладостно утолить друг в друге, чего еще ждать, иди же, Анночка, в мои объятия. Решение вопроса здесь, в Париже, было по-латински простым. Через каждые полсотни метров то слева, то справа вспыхивали в ночи, на вытянутых над улицей руках-кронштейнах, световые рекламы небольших гостиниц, подобные маякам для блуждающих в ночи путешест-

венников. "Давай зайдем туда" — вот что я хотел сказать Анне. Но то был бы голос молодого самца. Обнаружив это, я устыдился.

И тогда, неожиданно для себя, стал говорить о том, что сама судьба предназначает женщину для мужчины, а мужчину для женщины; причем одну или одного, и не более! Ее, единственную, и его, единственного, мы должны дождаться или найти. Ради этого стоит страдать, ради этого стоит терзаться!

И еще о том, что дело мужчины — защищать женщину. Он же должен ею руководить, вести ее по жизни!

Я говорил о том, что жить следует в воздержании. И сам с удивлением слушал свои слова.

— А если считаешь, что уже нашел свою пару? — спросила Анна.

— Все равно — ты должен проверить себя! Себя, а не другого! Ничто не сбивает нас с толку так, как чувства, — звучало откуда-то у меня изнутри, если не из-за спины. Я едва не обернулся — взглянуть, кто произносит за меня эти благоглупости.

Еще я говорил, что тело свое можно отдать лишь тому, кому ты уже вручил, на всю жизнь, свою душу! С кем заключил союз до гробовой доски.

Мы с Анной шли по горной тропе над Дешем. Каким-то загадочным образом мы опять оказались там. На меня накатила небывалая словоохотливость, я даже отпустил локоть Анны, чтобы говорить непринужденно и без помех. После особенно удачных фраз я, приобняв ее за плечи, дружески прижимал к себе.

— Не могу представить себе близких отношений с такой женщиной, — сказал я воодушевленно, — на которой я не был бы готов тут же жениться.

— Ага, — произнесла Анна.

— Да. Иначе я презирал бы и ее, и себя самого.

— Вот как! — сказала Анна. — Спасибо, — добавила она немного погодя, чистым голосом, с той звонкой живостью, в которой ты — именно потому, что он звенит столь живо — не в состоянии расслышать, насмешка ли это, или растроганность, или просто утверждение; живостью, которой веяло не только от голоса Анны, но и, я бы сказал, от ее рукопожатия, от аромата ее волос, от всего ее поведения. Все, что я молол до сих пор, был лишь способ избежать того, что я готовился сказать ей; сказать главное.

Голос Родины

Анну мне и сейчас легче всего оживить в прошлом с помощью слуховой памяти. Даже фигура ее — подобно некой странной неосязаемой статуе — встает в моем представлении словно изваянная из звуков. Видимо, потому она и не старится: голос ведь меньше всего подвержен воздействию времени. Голос Анны был благородным и — не могу подобрать лучшего слова — нетленным. Словно в горле вместо голосовых связок у нее были виолончельные струны.

Даже если она произносила фразу вроде "Видать, огурцы потекли" — этот ласкающий звук обладал такой глубиной и богатством, какие издает виолончель, когда музыкант медленно ведет липким от канифоли смычком по всем четырем струнам.

Фраза эта прозвучала по соседству с толстым, каким-то щепетильно чистым стволом дерева, на лесной экскурсии; экскурсии, которая и мне дает сейчас возможность углубиться в то давно минувшее время. Возле того дерева стоит Анна, она одета в элегантно коротенькую французскую юбку, бежевые чулки, синий жакетик. Дело происходит в конце лета. Мы находимся в лесу. Где именно: в Фонтенбло ли, или в Версале, или, может, в Сюрене, Севре, — я уже не помню. Анна берет у меня из рук бумажный сверток: один из углов его угрожающе намок.

Мы не стали его разворачивать, двинулись дальше, неся в сердце, во всем существе своем искрящуюся, до сих пор еще не изведанную смесь ощущений некоторого чувства вины и свободы. Это был коллективный поход, одна из тех экскурсий для рабочих, где царят более суровая дисциплина и более суровая мораль, чем в прогулке монастырских воспитанников по городу. Херцог и Орова — известные походники — ревностно и с энтузиазмом следили, чтобы природе не был нанесен ущерб: не сломана ни одна ветка, не оставлен мусор, пусть это будет даже трамвайный билет. Жена дядюшки Бодора — такая же известная покровительница детей — выглядела говорливой, счастливой наседкой среди выводка малолеток. Хеди бегал, организуя послеобеденную программу. Молодежь застенчиво исчезала парами. Место обеденного привала было сообщено заранее. "Пожалуй, есть смысл срезать угол", — и я, пользуясь той же нехитрой уловкой, повел Анну на склон горы.

Кроме нас, в лесу не было ни души. Французы только слушать любят поучения Руссо, следуют же им без особой охоты. Даже спустя полтора столетия после Руссо — как свидетельствуют об этом Мопассан и художники-пленэристы — они продвигаются на лоне природы, с бутылкой вина под мышкой и пакетом съестного в руке, лишь до тех пор, пока бордо не начинает согреваться, бараний окорок — остывать, а высокие каблучки зазнобы, прильнувшей к твоему плечу, оступаться на корнях и камешках.

Мы же бодро шагали вверх по склону по камешкам и по корням. Правой рукой я, с излишним усердием, поддерживал Анну, предварительно отобрав у нее сверток. Его я старался держать в левой руке так, чтобы мокрый угол не касался ни одежды, ни руки. Видимо, в самом деле огурцы потекли.

— Или груши совсем размякли, — сказала она. Я посмотрел на сверток и промолчал. Мы шагали уже по лесной подстилке. Листья падали, кружась, при малейшем движении воздуха.

Лес был нам чужим. С тропы я свернул с одной целью: попасть в такое место, где что-то решится. Сердце у меня колотилось не только от подъема. Сейчас я вел Анну не домой, совсем не в сторону Озоры и Деша.

Мы шли под сводами огромных, полосатых, словно зебры, деревьев с прихотливо изогнутыми ветвями. Кора на стволах облезала крупными пятнами, ветки потоньше словно обтянуты были сырой живой кожей: то как гигантские змеи, то как руки великанов, тянулись они там и сям высоко над нашими головами. Кто из вас видел платановый лес? Это был именно такой лес, посаженный, может быть, еще во времена какого-нибудь Людовика. Мы находились в огромном лесу-салоне.

Вот мы уже на вершине. Слова все не являлись. Я был в тот момент таким наивным, таким простодушным варваром, что вдруг поверил: действие равноценно слову, даже может его заменить! С отчаянной решимостью, с какой, наверно, Цезарь направил своих легионеров в реку Рубикон, я вознамерился просто обнять Анну, вот так, глядя ей в глаза.

— Ну-ну-ну, ну-ну-ну! — уперлась она ладошкой мне в грудь.

Превосходство было на ее стороне, сейчас это становилось очевидным. Она видела ситуацию ясно, с пугающей женской рассудительностью. Так ясно, так полно, что сразу же и простила меня.

Меня сбивала с толку моя готовность пожертвовать ради Анны чем угодно. Ради Анны, ради ее счастья, ради одного ее хорошего дня я отдал бы все, что было у меня за душой, не пожалел бы ни здоровья, ни левой руки до локтя, а может, и до плеча. Жизнью, пожалуй, я бы ради нее не пожертвовал, но на карту поставить мог бы наверняка. Отсюда я делал вывод, что люблю ее, не подозревая даже, что готовность к жертве — самое что ни на есть обычное, самое естественное состояние юного сердца. Любая хоть чего-то стоящая молодая душа все рада отдать любимому учителю, или томящемуся в темнице безвестному борцу за свободу, или понравившемуся писателю, или какой-нибудь эффектной идее. Анну я ценил, уважал, был привязан к ней. Даже любил — как любят друга детства. Вот что она увидела и поняла сразу.

Этого ей было мало.

Разумеется, я любил бы ее и по-другому... Но — без участия голоса, без слов, почти как бы и без участия того человека, который учил ее, учил даже после занятий, кто так заботливо, так по-домашнему покровительственно рассказывал ей всякие интересные вещи... Какой бы юной, неопытной она ни была, женский инстинкт подсказывал ей: тот, кому она вот так отдаст себя, будет задыхаться, и стонать, и, наконец, вздохнет удовлетворенно — и спрячет глаза. Этого Анне тоже было бы мало. Да разве не я убеждал ее, что этим ни в коем случае нельзя довольствоваться? Я слишком уж перед ней раскрылся.

Говорить я по-прежнему был не способен.

Но этим я сейчас Анну вовсе не обижал. Лукавый взгляд ее показывал, как ясно она видит все, что со мной происходит.

— О, виноград потек! — сказала она, протягивая ко мне руки, но не для объятия, а чтобы забрать у меня сверток.

Я потянулся следом за свертком. Черт его знает, что со мной в этот момент творилось. Может, стоит взглянуть правде в глаза и согласиться с собственным подозрением, что я был всего лишь идеалистом, недалеко уйдя от тех студентов с доверчивым, чистым взглядом, которых князь Кропоткин, в тысячах и тысячах экземпляров, собирался послать в народ? Достаточно ли красноречиво мое перо, чтобы без фальши написать, что Анну я, кроме всего прочего, воспринимал еще и как младшую сестру, как представительницу класса, находящегося пока в самом низу, класса, который держат в угнетении, можно сказать, в несовершеннолетии, в то время как я себе виделся сильным и умным старшим братом, сумевшим подняться над общим уделом? Мне казалось — абсолютно без всяких на то оснований, — что она нуждается в защите и покровительстве, даже себе вопреки, как выразился поэт той эпохи.

— Придется, видать, развернуть, — сказала она с такой девичьей серьезностью и с такой трансильванской интонацией, что здесь, во французской долине, на меня снова дохнуло Дешем.

Я попробовал было отмахнуться от него, но у меня ничего не вышло.

— Надо взглянуть, что там с ним делается, — сказала она, сильнее, чем обычно, подчеркнув ту звонкую, певучую мелодию, про которую трансильванским венграм избави бог сказать, что это румынское влияние: рискуешь получить лезвие в бок.

Атмосферой этой Анна укрыла себя, как броней. Расчет был верным. В следующий момент я подал ей руку так по-рыцарски, как не смог бы подать и в Озоре, на уроке танцев.

Мы вдруг оказались в каком-то волшебном царстве. Склон холма под нами так стремительно двинулся вниз, что, стоя в гуще леса, меж стволами деревьев с осыпающейся листвой, можно было видеть широкую долину, а на противоположной ее стороне — другой холм, тоже покрытый лесом. Солнце, несмотря на конец лета, светило с неистовым пылом, плавя небо у нас за спиной и почти до невероятных, пугающих размеров вытягивая контрастные черные тени деревьев на медно-красной подстилке. Но волшебство заключалось не в этом. А в том, что лес кишмя кишел птицами.

Они такими густыми роями мелькали меж деревьями, прыгали с ветки на ветку, будто это был не лес, а аквариум с разноцветной рыбьей мелочью, какие иногда выставляют перед харчевнями. Они словно собрались сюда на какое-то птичье вече; или были заперты в этом уголке леса невидимой стеклянной стеной: вспархивая, они тут же возвращались назад. Они не пели, не было слышно даже писка или чириканья; лишь высохшая листва шуршала и разлеталась фонтанами, когда они камнем, пущенным из пращи, вонзались в пронизываемые солнцем кроны. На вытянувшихся ярусами ветвях дубов тесно, будто домохозяйки на галереях доходных домов в Будапеште, когда внизу, во дворе, что-нибудь происходит, — сидели дрозды. По стволам вверх и вниз бегали поползни с красно-розовыми грудками. На нижней стороне веток суетились вниз головой похожие на официантов синички в серых фраках, желтых жилетах, с черным галстуком, кончик которого висел между лапок. Они спархивали на землю, когда какой-нибудь дрозд над ними, вздернув хвост и бесстыдно выставив пушистую гузку, взлетал, сильно оттолкнувшись от ветки. Повсюду десятками суетились пичуги в черных шапочках, которых в наших краях зовут вертиголовками; здесь, безымянные, как бы инкогнито, они браконьерствовали, гоняясь за насекомыми.

— Столько птиц даже у нас в Трансильвании нет, — сказала Анна.

Это в самом деле ощутимо была Франция. Мне почему-то казалось: запой эти птицы, они запели бы по-французски. Мы уселись в самой середине рая. Птицы совсем осмелели, они только что не пикировали нам на голову, сворачивая в самый последний момент. Платановый лес остался ниже. Мы находились в той полосе, где лиственный лес сменяется хвойным — но не сразу, а перемешиваясь. Сверху тек запах хвои.

Французское небо и французский ландшафт клятвенно сговорились покровительствовать любви. Я посмотрел на небо, осмотрелся по сторонам. Во мне вдруг проснулся человек действия...

— А хорошо бы сейчас... — начал я, бросив на Анну такой взгляд, который делал завершение фразы излишней.

— Да уж это точно было бы хорошо, — сказала она не без кокетства, но твердо, так что в голосе ее прозвучало: было бы, да не будет.

Потом последовал коротенький диалог — посредством одних только взглядов. "Почему?" — спросили мои глаза. "А потому. Будь доволен тем, что есть. Сам ведь знаешь почему, — ответил ее девчоночий, но в то же время грустный и умный взгляд. — Знаешь даже лучше, чем я".

— Пора идти нам, пожалуй, — сказала она уже вслух. И добавила с лукавством, таким бесхитростным и, может быть, потому таким трогательным, с лукавством пролетарской девушки: — Зовут нас. Не слышите?

Слышать в этом искусительном месте она могла разве что предостерегающий голос далекой-далекой Трансильвании. Точно ли она слышала что-то; и что именно? Во всяком случае, она некоторое время вслушивалась, отвернув лицо в сторону; но на ноги она не вскочила. Я осмелел.

— Может, сядете поближе, Анночка?

— О, напомните мне, если я забуду!

Она опять оттолкнула меня, при этом ловя мой взгляд. В ее глазах поблескивала ласковая насмешка.

Вытянув обе руки, она удержала меня на расстоянии. Я сделал попытку обнять ее.

— Вы что, хотите меня потом презирать? — сказала она с явным веселым поддразниванием. — Господь вас избави от этого! Да чтоб потом еще презирать и себя самого!

Я оказался в собственной западне.

Однако и инстинкт, и ум подсказали ей, что негоже удовлетворяться дешевой насмешкой. Она посерьезнела.

— Не подходим мы друг для друга, — сказала она.

Ласковая эта твердость сразила меня. Анна была женщиной просвещенной. Из тех, кто воспитывается на вечерних курсах, в рабочих организациях. Она была просвещенной — без тени свободомыслия. Уверенность в том, что она во всех смыслах свободна — что у женщины столько же прав, сколько их у мужчины, — вооружала ее ответственностью, едва ли не скрупулезно строгим отношением к себе. В противоположность ее сверстницам из господских сословий, для которых свобода морали была возможностью все испробовать и поводом для распущенности. Едва ли можно представить более прекрасный пример женского целомудрия, чем эта девушка, почти девочка, которая смотрела на мир глазами женщины, сознающей себя участницей классовой борьбы. О таких вот вдохновенных девственницах мечтали Шиллер и его современники. С семнадцатилетней Анной — которая вместо девичьих романов читала по вечерам Бебеля — можно было, в должной форме, разговаривать и о тайнах зачатия, и о том, что любовь, пожалуй, все-таки прежде всего есть телесная потребность, а потому возникает вопрос, не достаточно ли для любовной связи двух человек желания оказать друг другу такую любезность...

Об этом говорил с ней и я. И не с задней мыслью, как, вероятно, посчитал бы сейчас, услышав подобные речи. Я имел в виду чувство даже меньшее, чем в моем конкретном случае: я не хотел вводить ее в заблуждение! Дело близилось к тому, что слова, те самые, настоящие, вот-вот должны были созреть во мне, прозвучать свободно и без околичностей.

Но они уже были излишни: Анна все поняла. Поняла даже то, для чего, пожалуй, действительно не существует слов. Она окинула меня теплым взглядом. Даже голос ее словно пропитался этим теплом.

— Не подхожу я тебе, — медленно сказала она.

В этих словах было два смысла, и в наступившей затем тишине второй смысл раскрылся следом за первым. Первый подразумевал, что она не годится мне здесь, в этот момент, в роли легкого партнера для оказания "любезности". Второй — что не годится партнером на всю жизнь. Этот, второй смысл был значительнее, весомее, он в два счета затмил первый. Анна моргнула; неужто она сморгнула слезу? Она уже улыбалась. То, что я прочитал в этот миг у нее на лице, ошеломило меня.

Она была моложе меня на три года, но — под влиянием дурацких предрассудков — полагала, что отстает от меня по крайней мере на три столетия. В те годы умами людей владела мания, столь пустая и вредо-

носная, что более пустую и более вредоносную трудно себе представить: культ аттестата зрелости. Анна тоже стала жертвой этого культа; позже она призналась, что считала меня достойным "большего", слишком образованным для нее. Она обязательно станет "препятствием" — казалось ей — на моем "пути". И почему я сразу не объяснил ей, как она ошибается, почему не растолковал, что "препятствие" надо искать вовсе не там? Не потому ли, что несколько лет, которые я провел в средней школе и которые меня только испортили, успели-таки привить мне подлую и высокомерную мысль, что Анна в какой-то мере права? Заблуждение это разделяли тогда и люди с самыми передовыми взглядами, оно вселяло в них глупую уверенность в превосходстве над теми, у кого аттестата зрелости нет. Во мне подобной уверенности не могло бы возникнуть даже в том случае, если бы я ухитрился полностью забыть о том, что за восемь лет средней школы, которые я провел в четырех различных местах, я не научился ничему и по сути дела представлял собой лишь то, что позже стали называть человеком с врожденными способностями, понимая под этим некие природные качества, усвоенные мною в той самой среде, из которой происходила, в которой жила Анна. В Анне меня привлекало как раз то, что она была девушкой из рабочей семьи, работящей, чистой, самостоятельной. Именно это поднимало ее в моих глазах, окружало ее ореолом, сверкающим ярче, чем диадемы всех принцесс мира.

— Почему это ты мне не подходишь, Анночка?

Последний аргумент. Если уж кто-то способен преодолеть дистанцию или неравенство, в социальном ли положении, в образовании, воспитании, состоятельности, то девушка ее возраста точно на это способна. Когда в сказке юная крестьянка за один год превращается в королеву, это, конечно, преувеличение; но преувеличение лишь в том смысле, что — за один год. Уверен: девушка освоится на троне за два месяца.

— Потому. Оторвемся мы друг от друга. Другая вам нужна девушка. Такая, как Ева Семзё.

Это была та филологиня с лицом-радиатором.

Анна сказала это без всякой насмешки; но, сказав, сама весело рассмеялась.

— Вы с ней уж так бы друг друга поняли! — добавила она почти с триумфом. — Ну ладно, давайте я вас к ней отведу. Поднимайтесь-ка. Глядите, в чем вы сидите-то! В муравейнике!

Я, простофиля, попался и на эту бесхитростную уловку, уловку девчонки-швеи. Никаких муравьев там и в помине не было.

Зато грусть над нами как ветром сдуло. До Эриний ли, до битвы ли с ними тому, кто, вскочив с земли, как встрепанный, в панике отряхивает на себе штаны. С Анной нельзя было просто так взять и улететь из предметного мира. Анна умела сказать такое, после чего ты видел окружающее куда как трезво, словно пробудившись утром от долгого и здорового сна.

Птицы вдруг поредели; еще пара минут — и их вообще не стало. Мы находились на огромном зачарованном острове безмолвия и недвижности; птицы мелькали лишь по краям его, и полет их был — как стежки, словно они намерены были зашить нас сетью из черных ниток в этом уголке леса. Только черный дрозд сидел в нескольких метрах, скосив на нас любопытный глаз и повернув в нашу сторону голову, словно подслушивая наш разговор. Потом и его не стало. Прилежные портные исчезли с берегов острова неподвижности. Остались орехи на ветках да запах грибов.

Мы встали с земли, неудовлетворенные, немного потерянные, но в такой дружбе и взаимопонимании, что этому невозможно было не пора-

доваться. И движение это словно что-то встряхнуло в нас, поставив вещи на место.

— Теперь так все и будет, Анночка?

— Пускай будет так, — сказала она.

Я обещал. Мы двинулись в путь. На небе не было ни облачка.

Когда выходишь из леса на открытое место, это всегда немножко словно дорога домой. Едва деревья начинают редеть, у тебя — будь ты хоть в Пиренеях — появляется ощущение, что еще чуть-чуть и перед тобой возникнут два огромных бука и меж ними — глубокая тележная колея, по которой ты когда-то входил в лес, направляясь в соседнее село. Углубляясь же в лес, ты как будто отдаляешься от родного дома. Лес — когда он в достаточной мере велик — для обитателя суши есть точь-в-точь то же самое, что море для жителя побережья: лес и родина всюду находятся в тайной, хотя и неоднозначной, взаимосвязи. На Анну этот французский лес действовал благотворно. В конце концов она даже взяла меня под руку. Первой попавшейся навстречу косуле она лишь помахала рукой, второй — крикнула что-то ласковое по-венгерски. Покойная радость все больше наполняла Анну; это было настолько заметно, так бросалось в глаза, словно ты наливал в стеклянную бутылку, подняв ее к свету, густое красное вино. По ладони ее, лежащей у меня на локте, я чувствовал, как она теплеет, как преображается здесь.

На поляну, где назначена была общая встреча, мы не пришли в числе первых. Но ненамного и опоздали. Приближение основного ядра мы наблюдали со склона холма. Они шли едва ли не в походном порядке. Или скорее в том порядке, в каком движется по степи какое-нибудь кочевое племя.

В середине длинной, разбившейся на пары, на тройки колонны шагал, степенно и гордо, как вождь племени, дядя Бодор. Качмар с друзьями, подобно разведчикам, мелькали далеко впереди. Хеди подгонял отставших. Здесь становилось ясным, кто — тысячу лет назад — был бы носильщиком, кто — воином. Поляна, выбранная для привала, была ровной, уютной; сам Кушид[1], пожалуй, не выбрал бы лучше. Носильщики высвободили плечи из рюкзачных ремней, сбросили горы женских курток и сумок. Одержимые любители костров, щелкая зажигалками, озирались в поисках хвороста; искатели воды и копатели колодцев кинулись рыть хотя бы небольшие ямки для литровых бутылок с водой; строители ставили аккуратные шатры. Благодаря стараниям Хеди появилась свежая родниковая вода, шатры и навесы из ветвей расположились на краю поляны правильным кругом, образовав в середине настоящую площадь, и в конце концов в центре ее запылал общий костер, запылал, надо сказать, буйно — под присмотром опытных специалистов своего дела. У кого было что разогревать, могли сделать это еще до того как дрова, прогорев, осели плотной переливающейся массой жара, сделав великолепную экспозицию к вершинной точке и главной цели похода — поджариванию сала на углях. Музыканты принялись настраивать инструменты.

Лишь с распадом походного строя в действиях и сердцах стал воцаряться некий куда более интимный уклад. Если до того я — через Анну — ощущал весь класс чем-то вроде младшего, нуждающегося в моей опеке братишки, то здесь сам я стремительно превратился в младшего брата

1. Кушид, или Курсан, — вождь одного из венгерских племен, пришедших под предводительством князя Арпада к Дунаю, в края, где находится нынешняя Венгрия.

целого народа. В таком настроении я — а со мной и Анна — спустился с холма и смешался с остальными.

Анна тут же упорхнула от меня, и я, не ведая почему, с легким сердцем смотрел ей вслед. Это был уже результат того настроения, которое исходило от деловой суеты нашего лагеря. Легкость, которую я ощущал, была родом того облегчения, которое, вероятно, овладевает упавшими в воду стволами и ветками. Сердце плавало, колыхалось в податливой мягкой среде, сбросив многое из того, что до сих пор обременяло его. Если кто-нибудь — будь то совсем чужой человек — попытался бы здесь потрепать Анну по щеке, я не стал бы хватать его за шиворот: я бы доверил решить вопрос им двоим. Да и моя рука, если и потянулась бы к рукам и плечам девушек, с которыми я до сих пор не был знаком, то не с тайным каким-то намерением, а исключительно из дружелюбия. Женщины тоже что-то утратили из своей сути: может быть, то высокое напряжение своей женственности, своей чуждости, которое так способно сгущать вокруг них атмосферу. В лагере женщины становятся ближе и человечнее; более, можно сказать, ручными. Ты чувствуешь, что тебе до каждой из них есть дело (надеюсь, меня не поймут неправильно). Над лагерем реял дух некой чистой женской общности, пробуждая память о столь далеких правременах, что сердце щемило. Веяло и точно такой же мужской солидарностью; ты со спокойной душой отдавал свой складной ножик каким-то незнакомым усачам, потом сам держал карманные часы и бумажник впервые увиденного человека, пока он учил другого, тоже впервые увиденного им, приему джиу-джитсу. Теплое дыхание древних племен согревало воздух над лагерем. Любой пожилой мужчина казался тебе едва ли не родным отцом, любая женщина старшего возраста — матерью. Неужто даже партийные склоки утихают на лоне природы? Споры, в иное время бурлящие непрестанно, здесь, на зеленой траве, вдруг умолкли; словно кто-то убрал с огня кипящий казан. Свежий воздух явно проветрил не только легкие, но и головы. На поляне, в согласии и дружелюбии, уживались все оттенки палитры рабочего движения; здесь, представленная своими добровольными посланцами, делала общее дело вся трудовая, с мозолистыми руками Венгрия. Природа почти полностью растворила то ощущение бесприютности, что так давило на душу в городских стенах, — но в то же время усугубила чувство изгнанничества. Родина была пугающе далеко, где-то даже дальше Парижа; в то же время в изобилии звучащая вокруг венгерская речь внушала, пусть небольшую, зыбкую, иллюзию надежности. Так, должно быть, ощущал себя какой-нибудь отряд венгров, отправившихся в набег и очутившихся в Сен-Галлене, на Апеннинах, или, может быть, как раз здесь, в этих местах.

Этот наш лагерь, лагерь бездомных изгнанников и бродяг-авантюристов, был мужским лагерем; женщин в нем было едва ли намного больше, чем в лагере Арпада. Подобно тому, что произошло близ Этиля, когда болгары устроили резню венграм, — так и здесь целая армия холостяков и вдовцов, приходя в себя после треволнений, связанных с обретением новой родины, думала обзавестись семьей. Из женщин, на которых стоило задержать взгляд, разве что одна-две были из прежних, из своих, вроде Анны. Прочие, немногие, были уже новым приобретением, выбранным из туземок; эти женщины-полонянки озирали лагерь и, широко раскрыв глаза, дивились его обычаям. По дороге сюда они еще царицами вышагивали рядом с неуклюже потевшими воинами; здесь, в половодье неведомой речи, они притихли, удовлетворяясь участью рабынь. Воины,

даже те, с которыми они пришли, поглядывали на соотечественниц, представлявших прародину, а то и норовили перебежать к ним.

Свита в два счета возникла и у Анны. Может быть, мужчины учуяли, что она свободна, что ее уже не связывает ничто. Анна тоже явно не чувствовала себя связанной. С кокетливой живостью, позволительной девушке, пока она не выбрала себе суженого, она хохотала, скользя между парнями и лишь изредка посылая мне взгляд из середины круга, и взгляд этот был беглым, охватывая своим теплом, может быть, двадцать лиц, вместе с моим, как бы говоря издали: ты чего там, чего не подходишь ближе? Сверх этого мне доставалась разве что некоторая насмешка.

Да и неудивительно: я в самом деле каким-то образом оказался возле женщины с лицом-радиатором.

— Я не вполне согласна с вашим методом обучения, — тут же заявила она мне. — В нем не проявляется в полной мере тот тактический реализм, который... та целенаправленная социальная педагогика, в которой...

Я отвернулся; мне нужно было что-то сказать Божару.

Я стоял в небольшой группе попавших в рабочую среду интеллектуалов, которые пытались делить с пролетариями уже не только свои идеи, свою судьбу, но и свои развлечения. Среди них был и Венцель. Но почему же все-таки они сбились в отдельную кучку: случайно или по какой-то закономерности? — мелькнула у меня мысль. Я собрался было отойти в сторону, когда к нам вдруг подошла Анна. "Ой, научите и меня чему-нибудь!" — воскликнула она.

Тут же, за ней следом, возле нас оказались двое-трое парней; среди них — Карачонь. С ними я и двинулся дальше, держа под руку с одной стороны — Карачоня, с другой — Анну.

Нет, эта масса совсем не была устрашающей. Даже Кайзерлинг вряд ли увидел бы в ней какие-нибудь мрачные предзнаменования, да и Ортега тоже. Вот и я тщетно пытаюсь найти зловещие воспоминания из той поры, когда я был практикующим человеком массы.

Правда, после обеда атмосфера в самом деле стала достойной Сен-Галлена. С разных сторон доносился женский визг; Крупа, сбросив — или забыв — свое обычное достоинство, ходил на руках; маленький Иштванфи, за ним Херцог вскарабкались — за неимением колокольни — на огромный вяз. Полонянок заставили спеть; потом все созерцали их пляску: пляску они демонстрировали уже с нашими парнями, на траве. Божара его последователи буквально подняли на щит; роль щита играла широкая крышка от какого-то ящика: сидя на ней, он дирижировал своим хором. Потом хор обрел автономию и без дирижера, следуя лишь настроению, на свой страх и риск вздымал в небеса пришедшие в голову песни, вовлекая в общее пение и армию непосвященных. Вскоре гремел весь лагерь. Необычное это было ощущение — среди севрского или трианонского ландшафта выговаривать слова венгерской песни, что-нибудь вроде "Три птенца у перепелочки" или "Яблочко румяное с тонкой кожурой", добавляя к ним бесконечный, новейшего происхождения припев насчет пара, что бодро бьет из-под фрезы. Может, это и было пресловутое восстание масс? Дядя Бодор время от времени появлялся среди молодежи, зорко глядя в оба. Нет, придраться ему было не к чему. Пилити с доброжелательной улыбкой наблюдал, как трещит по-французски маленькая брюнетка. Потом стало смеркаться. Далеко растянувшейся вереницей мы двинулись обратно. Лагерь и войско теряли свою героическую суть по мере того, как появлялись дома. На станции мы уже были

стадом растерянных чужаков. При покупке билетов и в традиционной перебранке с проводниками женщины-туземки вновь преобразились в правительниц, далеко превосходящих нас всех. Решающее слово и указание всегда оставалось за ними. Воины, еще недавно такие шумные, притихли, словно их вели на цепях следом за колесницей триумфатора! А как потускнели, поблекли наши женщины!

— Я ведь и вправду хотела бы учиться больше, — тихо сказала, уже в поезде, Анна. — Так здорово было бы знать все, — добавила она, не краснея и глядя мне прямо в глаза.

Из какого-то вагонного окна вырвалась одна из завершающих строф длинного марша ландскнехтов:

Люди, полно вздыхать и стенать!
Юный мир уж глаза открывает.
Бродит в мускулах сила, играя,
И дрожит угнетенья стена!

— С удовольствием буду давать тебе частные уроки, — сказал я, столь же всерьез принимая свое всезнание, сколь она — свое желание знать все.

Незаметно, как бы между прочим, миновали весна и лето. Экзамены я не сдавал, но уже без всякого страха думал о новом учебном годе; хотя и не готовился к нему всерьез, как решил было в начале лета. Французский шел уже неплохо; особенно если я был дома, в пустой комнате; о, тогда я произносил целые речи, используя лексику, которую насобирал где-нибудь в магазине или в конторе по найму. Или — там же, в обществе стола и стульев — выступал с пламенными обращениями к миру, к его совести, от имени непонятого народа, от имени угнетенных всего мира! Лето — пусть яркое и насыщенное — промелькнуло, как один миг. Как долгое, но не оставившее воспоминаний мгновение лафонтеновской стрекозы.

После вечерних собраний, под звездами парижских окраин, я провожал домой Анну, иногда ощущая такую легкость, такой подъем, словно мы и сами летели с ней среди звезд. Иногда ужинал у Бодоров; но о том, где обедал и обедал ли хоть раз где-нибудь, я не смог бы вспомнить даже под пытками. В летние жаркие месяцы город опустел; иные кварталы казались вымершими, словно Геркуланум. Подметки вязли в расплавленном зноем асфальте; случайные одинокие прохожие ночью шагали словно по неостывшей лаве. Даже клошары исчезли из своих излюбленных берлог на набережной Сены. Мы с Божаром остались без конкурентов, и, когда утром, взобравшись на парапет, стаскивали через голову рубашки — странный, но укоренившийся знак, дававший понять, что мы готовы поработать грузчиками, — нам махали сразу с нескольких барж. Это были дни настоящих трудовых оргий, дни иной раз растягивались до недель, но мы только радовались этому: ведь планов и замыслов у нас обоих было немало. Заработаем по крайней мере на полгода! Правда, в то лето я жадно приобретал и книги, которые до сих пор являются украшением моей библиотеки; например, первое издание "Каллиграмм", или томик Бодлера в оформлении Крепе! Словно рабы алкоголя, добывшие флягу какого-нибудь особо хорошего вина, распить которое стократ приятнее, если есть такая же хорошая компания, мы, сделав очередное приобретение и не жалея сил даже после целого дня тяжелой работы, тут же, не остыв, бежали разыскивать Венцеля и иной раз до рассвета упивались трофеями, воя от восторга и стуча кулаками по столу, так что до-

ставляли соседям Божара едва ли меньше досады, чем если бы опьянели от настоящего хмеля. А Божар как-то нарисовал на длинной доске черные и белые клавиши: именно в те времена он изготовил свое изобретение — беззвучный, в полкило весом суррогат фортепьяно, которым, положив его на спинки двух стульев, с успехом могут пользоваться даже великие композиторы: ведь музыку они все равно слышат в душе!

Восстание ангелов

Кревель, увидев меня, на бегу затормозил и остановился; он не верил своим глазам.

— Вы — здесь? — спросил я его с упреком.

— И вы здесь? — ответил он мне тем же. — Я-то здесь по должности, с инспекцией! А вы? Как вы-то сюда попали? Сюда! — воскликнул он, оглядываясь вокруг с таким выражением, что ясно было: вопрос его относится не только к двум-трем кафе поблизости, но ко всему Монпарнасу и даже дальше, к кварталу Вожирар, Обсерватории. Ко всему тому, что символизирует царство искусства и духовности.

— Не для провинциалов эти места! — продолжал Кревель. — Не для зеленых провинциалов вроде вас! Сколько вам лет?

Мы выглядели ровесниками. Но когда мы сопоставили даты рождения, выяснилось, что он на два — два с половиной года все-таки старше.

— Родительский дом вы наверняка покинули не с таким напутствием! — все не мог успокоиться он. — Считаю долгом своим взять вас под свое крыло, под крыло ангела-хранителя! Я отведу вас в компанию подходящих вам, добродетельных юношей. Прямо сейчас и пойдем.

— Франс умер, — сообщил Кревель, когда мы уже шагали рядом по тротуару.

Я понятия не имел, что делать с этой новостью. Наверное, она должна была меня потрясти. Говорю "наверное", а не "наверняка", потому что, к стыду своему, великого писателя я знал еще недостаточно. Подобно тому как крестьянин, не размышляя на эту тему, начинает пахать поле с края, от пограничной межи, так и я намерен был знакомиться с литературой — с Литературой! — с самых что ни на есть изначальных начал. Литература современности была как бы не столько даже литература, сколько сама жизнь, и я ждал, что она войдет в меня просто так, с воздухом. Короче говоря, я решил, что известие должно меня поразить, а поскольку в юности подобной готовности к какому-то чувству вполне достаточно для пробуждения чувства, то я без колебаний могу сказать, что да, известие меня поразило.

— Похороны будут пышные, общенациональные, с траурным шествием на весь город! — сказал Кревель, останавливаясь, и вошел в маленькую пивную, из тех, где продают и сигареты. Газетный киоск перед пивной был уже полон спецвыпусков, посвященных кончине великого писателя, и его свежеотпечатанных фотографий.

Я остался на улице, размышляя над тем, как бы мне, в присущей случаю форме, сообщить Кревелю, а через него — всему французскому обществу, что я, несмотря на свое недостаточно глубокое знакомство с творчеством гения, тем не менее разделяю всеобщую скорбь.

Моросил тихий дождь, который невольно воспринимался как часть национальной скорби. На фонарных столбах уже укреплялись траурные

флаги. За мокрым стеклом витрины Кревель дернул шнурок газовой горелки и прикурил от вспыхнувшего огонька.

— Мы издадим газету, — сказал он, выходя с дымящей сигаретой в углу рта. — Одноразовую газету, только на этот случай. Будем раздавать ее на Елисейских полях, в похоронной процессии.

Он бросил взгляд на свои часы.

— Как раз сейчас составляют номер. Если хотим успеть пешком, давай прибавим шагу. В такую погоду люблю ходить пешком. Этот дождичек — моя родина.

Легкая изморось наполняла улицы запахом и свежестью леса. Леса невидимого, волшебного. Мелкие капли чертили в воздухе тонкие, ровные линии; путь чуть ли не каждой капли можно было проследить взглядом, как в стихотворении Аполлинера. Хотелось поднять руку и раздвинуть эти серебряные нити, словно жемчужный занавес.

— "Падаль", — сказал Кревель. — Так будет называться газета.

Мы проделали долгий путь по парижским улицам. Позади остался Монпарнас (и сама гора, и ее окрестности были так плотно застроены шести- и семиэтажными зданиями, что, идя между ними, ты не ощущал не то что горы, но даже холма, даже какого-нибудь пригорка); мы перешли мост Искусств. Через площадь перед королевским дворцом мы приближались к Опере — средоточию самых темных мелкобуржуазных джунглей.

Художники, подобно скворцам или волкам, суть существа стадные; но, в отличие от своих шумных эпигонов, скрытные и любящие уединение. После разрушительного нашествия, которому подверглись Монмартр и Монпарнас, после скорбного падения знаменитых литературных кафе "Лапен ажиль", "Ротонда", "Клозери де лила" и "Дё маго" носители священного огня, руководимые умным инстинктом, нашли приют, словно в каком-нибудь диком урочище, в окрестностях Оперы — этом царстве торговцев, ремесленников и мелких клерков из президентской канцелярии; но и здесь они придирчиво выбрали место, которое им больше всего подходило. Более подробную информацию считаю излишней: хочу до конца быть верным слову, которое дал Кревелю. Мы вошли в какие-то ворота и, пройдя по длинной галерее со стеклянной крышей и магазинчиками по обеим сторонам, оказались в святилище — во внутренней комнатке маленького кафе.

Они — те, кому, видимо, полагалось быть здесь, — были в сборе: семь или восемь человек за одним из столиков в углу. Священнодействие уже началось: кто-то читал что-то вслух. Мы молча устроились рядом, лишь поднятием руки обозначив приветствие, словно на тайной сходке в катакомбах.

Я знал всех; знаком был с ними и лично: некоторым уже нанес визит вежливости, другим был представлен друзьями. Переводил, среди прочего, их вещи.

По всей видимости, работа была уже в самом разгаре; кто-то — как раз напротив меня, — слушая, рисовал на листе бумаги заголовок. Из букв, одна за другой появлявшихся из-под его карандаша, складывалась не "Падаль", а другое слово — "Труп". Я вздохнул с облегчением: приличия и чувство меры все-таки победили.

Текст читал располагающий к себе, худощавый, черноволосый молодой человек: это была его статья, предназначенная для публикации, и читал он ее бесстрастным тоном, быстро, словно министерский чиновник, который ждет не дождется, когда же наступит конец.

— "... Я считаю любого почитателя Анатоля Франса дегенератом... То, что вам льстит в нем, что делает его священным, а меня не трогает, это даже не талант, весьма сомнительный, но низость, позволяющая первому встречному бездельнику восклицать: 'Как же я не подумал об этом раньше!'... Бормочите же всласть об этой загнивающей вещи, об этом черве, которым, в свою очередь, завладеют черви, вы, опилки человечества, обыкновенные людишки, лавочники и болтуны, слуги государства, слуги живота, индивиды, погрязшие в грязи и деньгах, вы, потерявшие такого прекрасного слугу суверенного компромисса, хранителя ваших очагов и ваших милых радостей"[1].

В двери, что вела в соседнюю комнату, возникло прелестное, румяное девичье личико. Из тех горящих естественным румянцем, с лучистыми глазами лиц, глядя на которые не понимаешь, для чего существует косметика. Это лицо, однако, было раскрашено, будто вывеска; скорее всего, это была проститутка.

— Ах! — произнесла она; во взгляде ее был вопрос: можно ли войти?

Говоривший лишь щелкнул пальцами; так сбрасывают со стола крошку. Голова исчезла.

— "Я нахожусь сегодня, — продолжал, вовсе не сбитый с толку, молодой человек, — в самом центре этого гниения, в Париже, где солнце бледно, а ветер вверяет трубам свой ужас и томность. Вокруг меня происходит копошение, ничтожное движение космоса, все величие которого стало объектом насмешки. Дыхание моего собеседника отравлено невежеством. Во Франции, как говорят, все кончается песенками. Пусть тогда тот, кто только что подох в сердце всеобщего благоденствия, обратится, в свою очередь, в дым! От человека вообще остается мало, еще более возмутительным будет вообразить себе, *что он был человеком.* Я уже несколько дней мечтаю о резинке, чтобы стереть человеческую низость". — Так он говорил, слово в слово. Память свою я могу проверить буквами найденной случайно реликвии.

Да, эти юноши били наповал, ничего не скажешь. Еще более убийственным показалось мне название статьи. "Avez-vous déjà? giflé un mort?" — таков был заголовок[2]. Без подготовки это подействовало на меня как высокогорный воздух: дышать им было трудно, но кровь бежала в жилах быстрей.

— Подпись есть? — спросил кто-то спокойно.

— Вот подпись, — ответил худощавый молодой человек, бросая статью на стол. Под текстом темнели большие — может быть, даже необычно большие — буквы. Молодого человека звали Луи Арагон.

За ним последовали другие.

Вторая статья начиналась похвалой календарю.

— ...Лоти, Баррес, Франс, — громко читал автор, — отметим, однако, прекрасным белым знаком год, который похоронил всех этих троих мрачных господ: идиота, предателя и полицейского. Последнему мы дадим, я не возражаю, особенно презрительное имя. Вместе с Франсом уходит хотя бы крупица человеческого рабства. Пусть будет праздником тот день, когда мы хороним хитрость, традиционализм, патриотизм, оппортунизм, скептицизм, реализм и неискренность! Подумать только, что самые низкие комедианты того времени кумовались с Анатолем

1. Здесь и далее тексты приводятся по изд.: Антология французского реализма. 20-е годы. М., ГИТИС, 1994. Перев. Е. Гальцовой.
2. То есть: "Вы когда-нибудь давали пощечину мертвецу?" (*Прим. автора.*)

Франсом, и не простим ему никогда, что он украшал в цвета Революции свою сияющую нелепость".

В заголовке статья эта протестовала против того, чтобы прах великого писателя вообще предавали земле.

Статью написал Андре Бретон.

Маленькая проститутка опять просунула в дверь свою очаровательную мордашку. За ней показалась еще одна девичья голова, такая же юная, такая же размалеванная. Кто-то бросил им пачку английских сигарет с опиумом, маленькую пачку „High Life", в которой помещается только десять штук. Они поймали ее, словно цыпленок — зерно, и исчезли; видимо, только это им и было нужно.

Следующим был белокурый юноша с высоким лбом, открытым, благородным лицом. Черты, взгляд, движения — все в нем выражало решимость. И тот упрямый вызов, который проглядывает из-под сдержанности (сочетаясь с прекрасно сохранившимися следами хорошей детской или усилий хорошей матери) и именно поэтому в первый же момент обезоруживает даже противников. Он был похож на взбунтовавшегося ангела — в апогее бунта.

Он обратился прямо к объекту нападения, к жертве.

— ... Труп, мы не любим тебе подобных, — читал он красивым, хорошо поставленным голосом. — Однако у тебя много оправданий для долгой жизни — красота и гармония, которые наполняют тебя уверенностью, возлагают тебе на губы добрую улыбку, улыбку отца семейства. Красота, труп, мы знаем ее хорошо, и если мы соглашаемся на нее, это именно потому, что у нас она не вызывает улыбки. Мы полюбили огонь и воду только тогда, когда возжелали в них броситься. Гармония — ах! гармония — узел твоего галстука, мой дорогой труп, и твои мозги поодаль, прекрасно уложенные в гробу, и слезы, что так сладки, не правда ли.

То, что я больше не способен представить без слез на глазах, — это Жизнь; она является сегодня в маленьких смехотворных вещах, которым поддержкой может быть только нежность. Скептицизм, ирония, подлость, Франция, французский дух — что это все такое? Мощный порыв забвения уносит меня далеко-далеко. Может быть, я вообще никогда не читал, не видел ничего из того, что обесчещивает Жизнь?"

Эти строки написаны поэтом. Полем Элюаром.

Авторами газеты были и другие: Филипп Супо, Жозеф Дельтей и — сейчас посмотрю — Пьер Дриё Ла Рошель. Последовала недолгая дискуссия, печатать ли в газете телеграммы с выражением соболезнования, поступившие президенту Французской республики от "президента аргентинской нации" и от президиума Парламента Мексики. Решили: печатать; а вместе с ними — письмо секретаря Туренского общества искусства и литературы, а также выдержки из выступлений в Парламенте депутатов Пенлеве и Жоржа Леконта. Оставалось только придумать завершающую фразу, которая будет стоять внизу последней страницы. Фраза звучала так: "Скоро — новый труп".

— Кто берется раздавать газету?

Отказавшихся не нашлось.

Наверное, читатель услышит в этих текстах грохот взрывов. Гремят не только бомбы, брошенные смельчаками. Вы здесь — далекие свидетели испытаний духовной атомной бомбы. Если можно использовать буквы в сфере словесного выражения как саблю или горсть динамита, юноши

наши именно так и пользовались ими; целью их работы с "материалом", с "литературностью" было вовсе не украшение жизни.

Собственно говоря, они хотели смешать с грязью не имя великого писателя, а преклонение читателей перед авторитетом; ту духовную лень, которой любое возвышение годится лишь для того, чтобы остановиться перед ним — и тихо загнивать... Если читатель, знакомясь с приведенными "некрологами", почувствует на коже мелкие электрические покалывания — признак досады и раздражения, — значит, юноши своей цели уже достигли. Литература живет по каннибальским законам: стариков здесь полагается поедать, и чем они упитаннее, тем эффектнее обряд. Наши юноши, как и полагается юношам, любой ценой хотели шагнуть вперед. Это обещало быть делом довольно нелегким в эпоху, когда каждый, от миссионера до крупных промышленников уровня Венделя и Шнейдера, хотел "идти в ногу с прогрессом"; когда каждый, без исключения, не желал ничего иного, кроме как обнаруживать в себе неведомые доселе новые мысли и чувства, раскрываться и совершенствоваться. И когда — об этом говорит как раз то, что сказано выше, — начался один из самых интенсивных периодов человеческого поглупения. Юноши наши верили, что против этого есть лекарство.

Они точно знали, чего хотели.

Невозможного.

Для меня тоже не было ничего более притягательного, чем последняя граница, чем невозможное.

Ведь разве не тюремная стена — любая граница? Разве недостижимое — не равнозначно великому?

Crise de conscience, писали наши юноши перед своими статьями, обозначая вместе с тем задачу, стоящую перед ними. Под этим они имели в виду кризис сознания; но выражение это можно смело перевести и как кризис совести, в самом лучшем, самом широком значении этого слова. Одна из попыток лечить застарелый сифилис заключалась в том, чтобы заражать больного бациллами малярии. Вот так и они пытались лихорадочным жаром своей души, своими идеями, всем своим пылающим естеством заразить человеческий дух, который, как они чувствовали, страдает тяжелой формой люэса, ведущего к маразму. Не случайно их вожак, уже упомянутый Андре Бретон, в юности учился на врача. (Когда я увидел его впервые, ему исполнилось двадцать шесть или двадцать семь лет; но решительности и воли в нем было на все сорок. Он был плечист и коренаст; я с удовольствием созерцал его, чувствуя в нем нечто знакомое и убеждаясь: еще лет десять, и он как есть может заменить на пьедестале Дантона, особенно если смотреть с угла улицы д'Эперон. Густая грива, мускулы, в которых словно играет распаляющая его страсть, острый взгляд, подчеркнутый гордо вскинутой головой, — это уже готовый Дантон; к тому же — командный голос, раздающийся из насмешливо искривленных губ и словно поднимающий на восстание; плюс ко всему — римский нос вместо дантоновской бульбы.)

Соратники его были типичные французы, да еще сплошь парижские парни; многие из них и повзрослев ласково звали родной город (на уличном языке парижских гаменов) — Панам, расходуя на него ту нежность, в которой, как истые революционеры, отказывали родной матери. Они были упрямыми хранителями традиции — в том смысле, что у французов склонность к бунту в крови. Взгляд авторитетных, в позолоченных рамках предков, начиная от Вольтера, Нерваля и кончая Лотреамоном и Малларме, вдохновлял их на действие, даже когда они сбрасывали со

стены как раз кого-нибудь из этих предков. Последним именно Анатоль Франс, так глубоко оскорбленный после смерти, учил их здоровой насмешке и непочтительности по отношению к мертвым. Так положение их мало-помалу становилось просто отчаянным: ведь, что бы они ни вытворяли, поступки их были типично французскими. Можно представить, в какую ярость приводила их невозможность избавиться от своей французской природы; что бы вы сделали, если бы вам, с целью подчеркнуть вашу венгерскую принадлежность, силой надели на шею раскрашенную ярмарочную фляжку, а под мышку сунули бы салями с ленточкой национальных цветов? Прежде всего они бунтовали против французского рационализма, французской систематичности и французского объективизма. И все же, надо сказать, бунтовали они очень систематично, рационально, с удивительной привязанностью к объекту. Из собственной кожи, увы, вылезть никому не дано. Это и делало их бунт возвышенным и трагично-прекрасным. Они — не обманывали. Начиная с первой минуты они хотели вырваться из оков и делали это с убийственной серьезностью, то есть так, как — опять-таки — предписывала традиция.

Мы с Кревелем вышли.

— Где будем ужинать?

В самом деле, подошло время ужина. Я торопливо откланялся. Не только потому, что в кармане у меня были всего только две монетки. Я должен был зайти за Анной. Благо это было совсем недалеко отсюда.

Я с удовольствием ждал бы Анну на углу улицы де ла Пэ, напротив мастерской, где она работала, и гораздо дольше. Это вовсе не было неприятным времяпрепровождением. Ты расхаживал взад и вперед по тротуару, на отрезке метров в полсотни, под окнами огромного фабричного здания, среди целой маленькой армии рыцарей в беретах, что стояли или ходили, сунув руки в карманы. Мы уже знали друг друга в лицо и только что не здоровались; один-два дня — и ты без труда узнавал новичков. Говорить здесь не надо было ни слова, и в то же время ты попадал в самый что ни на есть достоверный Париж. И уж тем более не было неприятно — под взглядами стольких ценителей, — когда к тебе подбегала самая стройная девушка из всех, кто выходил с фабрики.

Мы тут же двинулись прочь. Мы шли по берегу, вверх по течению Сены, по набережной Межиссери, где торговали птицами и зверюшками. Как раз в этот час клетки, набитые цветными перьями и беспорядочным гамом, заносились внутрь; за ними исчезали ящерицы, черепахи, зайцы и живые горные орлы. "Кто это все покупает?" — спросила Анна. В одном загончике лежала даже настоящая лань.

— Я бы стакан воды выпил, — сам себя прервал я и остановился, озираясь. Была тут, поблизости, почти напротив острова, маленькая харчевня; иной раз я туда заглядывал. Не столько чтобы поесть: скорей чтобы пообщаться. Там, за угловым столиком, два милейших швейцарских инженера, Прокитт и Свикк, каждый день до полуночи обменивались будоражащими мою фантазию идеями о будущем, о механическом мессии, о прогрессивной роли техники в развитии общества. У Свикка в харчевне был какой-то коммерческий интерес; а может, он просто вел бухгалтерские книги. Половина посетителей здесь были швейцарцы. Это было единственное заведение, в котором — имея в виду привычки швейцарцев — на столиках всегда стояла питьевая вода.

— Все бы вам воду дуть, — сказала Анна, прежде чем я, оставив ее на улице, шагнул в харчевню.

Я был здесь едва ли не завсегдатаем, а потому мог позволить себе, заскочив на минутку, взять с любого столика кувшин и выпить его, не сходя с места, хоть весь.

Поставив наполовину опустевший кувшин, я вышел.

Анна исчезла. Ее не было там, где я ее оставил.

Но в следующий момент она торопливой походкой появилась из-за угла; под мышкой у нее торчал длинный сверток в шелковистой бумаге — типичной упаковке парижских пекарей.

У Анны оказалось достаточно такта — или милой женской хитрости, — чтобы не угощать меня сразу. Мы шли по набережной Селестен, оставив позади прачечные, что располагались напротив острова, когда она рассеянно развернула бумагу на верхушке длинного тонкого батона — багета — и отломила кончик. И тут же съела его.

— Угощайтесь, — повернулась она ко мне. — Пока будете меня чему-нибудь учить.

Это было не только напоминание — о том, что на той достопамятной экскурсии я пообещал давать ей частные уроки, — но и некоторая насмешка. Когда я был рядом с Анной, в душе у меня, рано или поздно, обязательно просыпался учитель. Вот и теперь (мы как раз миновали площадь Сен-Жерве, то есть Святого Гервария) у меня на языке уже был комментарий: дескать, смотрите и удивляйтесь могуществу лингвистики. Когда-то, много веков назад, этот святой возглашал слово истины, сидя под вязом. Отсюда возникла французская поговорка, смысл которой можно передать так: когда-нибудь, после дождичка в четверг или когда рак на горе свистнет. Французы говорят: жди меня под вязом[1]. Вот так цепко держит этих французов, любителей разрушать традиции, прошлое.

Я все же поведал ей этот пример с триумфом лингвистики, даже взяв ее по такому случаю под руку. Тем временем она опять отломила кусочек хлеба; и опять угостила меня.

Лишь тут до меня дошло, что происходит.

Уж не собирается ли она накормить меня ужином?

Я знал, что сама она ужинает дома. Знал, какие жалкие гроши платят девушкам-белошвейкам модные салоны, в которых балканские герцогини и жены детройтских, будапештских заводчиков оставляют тысячи за какое-нибудь вечернее платье. Анна могла уделить мне полтора часа своего времени, а я мог проводить ее потому лишь, что домой она добиралась пешком, и вовсе не потому, что обожала пешие прогулки.

Я ощутил невероятное, неодолимое желание повести Анну куда-нибудь и, сидя вдвоем за столиком, съесть с ней по миске горячего гуляша. С утра, не считая стакана молока и трех чашек черного кофе, у меня маковой росинки во рту не было. А в предыдущие дни!.. После гуляша можно подумать о полной, с горкой, тарелке лапши со шкварками — это было любимое блюдо Анны, о чем она не раз говорила; говорила потому, что здесь, в Париже, такое едва ли можно было найти. Я представил, как мы с ней сидим, от всей души потчуя друг друга...

В молодости тебя редко охватывает отчаяние из-за нехватки денег. (Ведь ты получаешь столько всего другого.) Но это был один из тех ред-

1. Attends-moi sous l'orme. (*Прим. автора.*)

ких моментов. Мне стало так горько, что я сглотнул слюну. Если бы свои металлические деньги французы делали из более хрупкого материала, тридцать сантимов, лежащие у меня в кармане, под моими пальцами превратились бы в труху.

— Прошу, — сказала Анна как бы между делом, в конце очередной фразы. Сама она ела уже третий кусочек.

— Спасибо, я не голоден!

В этот момент в нос мне ударил свежий аромат жаренной в масле рыбы.

Я остановился и посмотрел на Анну. Сначала — в глаза ей, потом — на пакетик, притаившийся возле ее сумочки. До сих пор я его не замечал.

Аромат исходил от него.

— Давайте-ка ненадолго вернемся, — сказал я неожиданно резко.

— Зачем? И куда?

Читатель вынужден узнавать обо мне все больше и больше. Сейчас я скажу нечто очень важное: я в жизни не просил ничего взаймы. И даже одолжения не просил без мучительного смущения.

— В ту харчевню! Хочу одолжить там денег! Вы что это тут накупили? Я заплачу! — говорил я раздраженно, отвернув голову. Однако запах жареной рыбы попадал мне в ноздри и с другой стороны.

Я не думал, что Анна способна так вспылить. И что ум у нее такой проницательный.

— А кто вам сказал, что я это для вас купила? Ишь барин какой! Он, видите ли, брезгует есть на улице! И — со мной!.. Ладно, тогда спокойной ночи, я спешу.

И зашагала прочь. Никогда еще мы не были в такой степени в лесу над Дешем.

Я бросился за ней.

— Вы что, стесняетесь? Темно же, — сказала она, протягивая мне развернутую бумагу с еще теплой рыбой; и первая не спеша отделила себе кусочек. — Неужто откажете мне? — добавила она тихо.

Я взял хлеба, взял рыбы, хотя аппетит у меня уже пропал — насколько может пропасть аппетит, хотя бы и от эмоциональной вспышки, у молодого парня с пустым желудком. Мы шли по бульвару Генриха IV, среди серых казарм. Если бы мы с Анной были государствами, дружеские и дипломатические отношения между нами были бы уже разорваны. Анна время от времени протягивала мне хлеб. Я отщипывал по кусочку, что равнозначно было вручению недружелюбной ноты. Едой это едва ли можно было назвать. Это каждый раз был символический акт.

Так же молча и так же символически я ел рыбу; она была мелкая и похрустывала, ее можно было есть не вынимая косточки. Библейский Илия вряд ли принимал пищу, принесенную ему воронами, более брезгливо и в то же время более растроганно. Внезапно у меня возникло смутное, хотя и не совсем уж неприятное подозрение. Я украдкой взглянул на Анну. Но нет, мне не было нужды опасаться, что она кормит в моем лице некоего непризнанного гения; как Леда, только с более скромными средствами. Речь шла о грубой, банальной рабочей солидарности. Так что сейчас еда была не еда, а солидарность. Снова — символ, а не насыщение. Сознание мое не ело, ел только живот; ел почти независимо от меня, словно какой-нибудь лукавый, себе на уме пес.

— Деньги, — наконец произнес я негромко, но голосом все же давая почувствовать презрение. — Я тоже мог бы зарабатывать деньги.

— Вы? — сказала Анна. Интонация, в которой было одновременно пренебрежение и понимание, даже одобрение, выдавала, что́ она думает о моей способности зарабатывать деньги.

— Знаете, с кем я разговаривал нынче?

— Вы сами и скажете.

И положила мне в руку еще кусочек рыбы.

— С одним из важных шишек венгерской культуры! И знаете, что он мне сказал?

— Вот вам еще хлеба немножко.

— Что? Что вы мне тут суете?

— Ничего. Так вам что сказали-то?

— Что я могу писать сколько захочется! И это будет мой заработок! Потому что еще и платить будут за это! А я буду писать что хочу. И все это напечатают!

— А вот это зря.

В руке у меня опять был кусочек рыбы.

— Как это — зря?

— Коли в Будапеште напечатают то, что вы тут говорите!..

— Ну, может, не совсем то...

— А что же вы можете такое еще написать, если не то, что говорите всегда? — с удивлением смотрела она на меня, опять давая мне, после рыбы, кусочек хлеба.

— Ты не совсем понимаешь, Анночка, — сказал я и принялся терпеливо растолковывать ей то, чего — как выяснилось позже, примерно к середине моей жизни — и сам не понимал. Что-де человек из своей головы может писать и другое, не то, что в его голове рождается. Объяснял я ей и другую бессмыслицу: если-де ты напишешь что-нибудь и поставишь свое имя, это одно, а если напишешь, но не подпишешься, совсем другое.

Анна была совсем сбита с толку.

— С кем же это вы разговаривали нынче?

Я подробно рассказал ей о сегодняшней встрече. И, пока рассказывал, меня вдруг укололо: как ни ежился я, слушая, какую работу мне предлагают, все-таки где-то — в какой-то податливой, аморфной части моего существа — мне импонировало это слово: пресса! Вернее, мне было бы приятно, если бы слово это произвело впечатление и на Анну; или даже пускай не слово, а открывшаяся передо мной возможность подняться в такие духовные высоты.

В ней, однако, ничто не откликнулось; не было в ней чуткости к тому, что меня волновало.

— А, газета? — равнодушно отозвалась она. — Врут они насчет бедняков, все до одной...

— Все, больше нету! — сказала она затем и аккуратно вытерла бумагой, оставшейся от пакета с хлебом, сначала губы, потом пальцы.

Нет, Анне пресса явно не импонировала. Ни пресса, ни мировая известность, ни та слава и власть, которые я заполучил бы посредством армии букв, всего лишь водя пером по бумаге.

Внезапно и в моих глазах радужные перспективы, вспыхнув, угасли. Весь великолепный план, с возможностью более легкой, более свободной — без труда и забот — жизни, лежал в руинах у моих ног. Я решительно перешагнул через него.

Вытерев руки смятой бумагой, я стряхнул с себя крошки.

И только тут осознал, что же произошло.

Я съел провизию, купленную Анной. Съел незаметно и непоправимо; хлеб и рыба — этого невозможно было отрицать, как нельзя было отрицать и приятного чувства относительной сытости, — необратимо были у меня в животе. И — это я тоже понял лишь в этот момент — съел я все почти один. Анна, правда, тоже отламывала кусочки, но, пока я увлечен был своими речами, подсовывала их мне.

Горечь пригвоздила меня к тротуару.

— И все-таки — пойдем обратно! — почти закричал я.

— Газетчики! — сказала Анна, не обращая на меня внимания. — Слыхала я про одного такого. Сначала он в Вараде был, в рабочей газете, а потом взял да и перепрыгнул в правительственную. Знаете почему? Потому что там на двести лей больше платят! Слышали вы такое?

Но я уже ничего не слышал; я дергал Анну за руку и кричал.

Потом, долго еще, этот хлеб, эту рыбу, общей ценой в пятьдесят-шестьдесят сантимов, я мучительно ощущал в животе; наверное, вот так же мучились соратники Дёрдя Дожи[1], когда их заставляли есть плоть своего изжаренного на раскаленном троне вождя. Скорее всего, я преувеличивал. Но тогда я в самом деле чувствовал нечто вроде острого отравления. Факт тот, что у прохожих, которые тем холодным осенним вечером спешили с работы домой, были все причины удивленно оглядываться на худого долговязого парня и на еще более молодую, еще более худую и стройную девушку, которые на площади Бастилии, на том углу, где уходит под мостовую канал Арсенала, так яростно спорили на неведомом, резко звучащем языке, что это уже выглядело как ссора. Не понимая ни слова на этом незнакомом языке, прохожие, однако, по движениям и жестам могли сделать вывод, что темпераментный молодой человек, не по сезону легко одетый, с взлохмаченными волосами и покрасневшим лицом, пытается заставить девушку, тоже раскрасневшуюся от ветра, идти с ним куда-то; затем, поскольку она решительно противилась этому, требует, чтобы она подождала его на набережной, у парапета, пока он сбегает и вернется. И он уже бросился было куда-то, но тут же остановился, видя, что девушка тоже идет, но в противоположном направлении. Потом случайные свидетели, не понимая слов, могли видеть, как молодой человек норовит отдать девушке, суя ей в руки, разные предметы: авторучку с золотым пером (золотое перо он еще и бестактно продемонстрировал ей), янтарный мундштук с отколотым уголком, серебряный перстень с зеленым камешком, какие польские и вообще центральноевропейские дворяне носят на левом мизинце (все эти вещи он вытаскивал из внутреннего кармана куртки), наконец, совсем не предназначенное для молодых девушек произведение Альфреда Жарри "Король Убю" (его он вынул из бокового кармана), и, уж совсем наконец, тридцать сантимов. По мере того как перечисленные предметы девушкой с возмущением отвергались, он клал их на парапет набережной, а тридцать сантимов швырнул прямо в воду — так он был раздосадован. Те, кто проходил мимо немного позже, могли наблюдать, как девушка пустилась в пространные объяснения, сначала также весьма темпераментные, потом относительно спокойные и в конце перемежаемые улыбкой (время от времени она невольно бросала взгляд туда, где канули в воду тридцать сантимов, как бы надеясь, что они еще всплывут); юноша слушал ее, нахмурив брови, но явно поддаваясь ее доводам,

1. Дёрдь Дожа (1475—1514) — вождь антифеодального восстания в Венгрии. Разгромив крестьянское войско, феодалы казнили Дожу, посадив его на раскаленный трон.

и время от времени поправлял посиневшими от холода пальцами длинные волосы.

Анна сама не подозревала, какую бурю она во мне вызвала.

— Если вон Зелигман может работать, то почему я не могу? Не стану я поступать в университет! — сказал я, когда немного остыл.

— Вы с ума сошли? — сердито вскинула глаза Анна.

— Ага, значит, все-таки — в "газетчики"? Значит, обратно, к ним?

— Нет, не надо туда! Туда не... — Анна не закончила фразу. Она крепко схватила меня за локоть. И после продолжительного молчания — словно взвесив что-то про себя — еще раз ощутимо стиснула мне руку. Этим пожатием она словно выразила то, что не посмела высказать в словах. И что я — не посмел понять.

Мы молчали, как путники, долго ходившие по горам и сейчас остановившиеся, чтобы перевести дух, на каком-то головокружительном, узком повороте.

Больше мы к этой теме не возвращались.

Но в последующие дни я снова ловил Зелигмана, чтобы договориться с ним о новой встрече. Вот почему я не сумел принять участие — даже в качестве скромного очевидца — в похоронах великого писателя. На похоронах семь человек было ранено, еще столько же арестовано.

Другой путь

Зелигман никак не хотел поверить, что я собираюсь говорить с ним только о работе.

— Работать? И ты туда же? — спросил он. — Чего вдруг?

В глазах у него светилось подозрение.

Но в конце концов он успокоился.

У него в запасе было четыре или пять профессий.

— Как насчет переплетного дела? — спросил он.

Книги! Такая перспектива воодушевила меня. Когда в девятнадцатом году события в первый раз вытолкнули меня из гимназии, я собирался стать типографским рабочим. А ведь это — почти то же самое!

Зелигман еще в Будапеште решил как-то переплести свои книги. И ради этого даже закончил вечерние курсы. Так что в Париже он сразу нанялся подмастерьем в переплетную мастерскую, успокаивая себя тем, что если он чего-то не знает, то всегда может сказать: у нас в Венгрии делают по-другому, и пускай его научат, как принято тут! (Руководствуясь подобными соображениями, он однажды был уже парикмахером и даже поваром.) В третьей переплетной мастерской он освоился в два счета.

Меня он уговорил легко. Тому, что он усвоил на курсах в Будапеште, он обучит меня за два вечера. Все остальное зависит от того, как себя поставишь. Да ведь и он будет рядом: в его мастерской тоже нужны работники.

Меня больше всего пугало как раз начало; как себя поставить, если не знаешь, что к чему? Во мне все еще жила неодолимая робость перед незнакомым местом; особенно если там нужно было появиться в одиночестве.

Но если он будет рядом, это дело другое. В компании я и в преисподнюю войду не задумываясь.

— Этой моей нынешней мастерской тебе, ей-богу, нечего опасаться, -упорно втолковывал мне Зелигман. — Две тесные комнатенки. Хозяин, месье Пюже, существо безобидное, книги он больше любит читать, чем переплетать. Представь: с ним можно даже о Декарте поговорить. А Платона он просто обожает! Есть там, кроме меня, еще один подмастерье, работает как вол и так впрягается в дело, что ничего не видит, не слышит. А если поднимет голову, тут же тащит на бумажный склад молоденькую брошюровщицу: он только ее и замечает из всех.

Вот так я стал работать в переплетной мастерской.

У дядюшки Бодора и его компании, после того как я наконец обеими ногами встал на ту почву, на которой стояли и они, авторитет мой, как оказалось, вовсе не вырос. При первом же удобном случае я пошел к ним — снять первый урожай славы. За столом я сидел, гордо расправив плечи, как человек, который наконец занял место в большой здоровой семье.

— А школы теперь — все, нету? — спросил дядя Бодор.

Он имел в виду мою школу, то есть университет.

Я пренебрежительно помотал головой, одновременно спокойными, уверенными движениями накладывая себе картошки с паприкой. Я уже не смотрел на еду голодным взглядом; возле тарелки моей даже остался недоеденный кусочек хлеба.

Дядя Бодор, искоса глядя на меня, тоже покачал головой, только очень медленно. Так что покачивание это в конце выражало даже не задумчивость, а порицание.

Вместо теплоты и понимания, которых я ждал и к которым готовился, я ощутил холодок.

— В твои дела я, конечно, не вмешиваюсь... — сказал дядя Бодор, и тон незаконченной фразы этой показывал, насколько не одобряет он моего поведения.

Примерно такая атмосфера воцарилась у нас дома, когда я сообщил однажды, что в школе не стали бы горевать, если бы я избавил их от своего присутствия.

— Что-то не верится мне, что приносить пользу своему классу можно, только если ты не вырвался из него, не вышел вперед! — заговорил Орова. — Телегу, когда она в грязи завязнет, можно ведь и за оглобли тянуть. Вовсе не требуется, чтобы каждый толкал ее сзади, стоя по колено в грязи...

Но как раз на такой аргумент у меня была готова теория.

— Ага, за оглобли! — начал я, наперед радуясь своей правоте; и, отклонившись назад — я сидел на кровати, — вытащил из кармана лежащей за спиной куртки бутылку вина и банку сардин.

— Почему, думаете, в Венгрии нет здорового, сплоченного рабочего движения? Потому что нет здорового рабочего самосознания! Скажем, те же металлисты: как они бьют себя в грудь — мол, мы, рабочий класс! А детей своих при первой же возможности посылают учиться, верно ведь? То есть не очень-то они мечтают, чтобы дети их тоже были металлистами! Стало быть, не так уж они гордятся тем, что сами они — металлисты! А здесь, на Западе, по-другому! Когда я тут товарищам помогал работу искать, случалось мне быть на заводах, где у станка стоят, если брать по нашим понятиям, рабочие-домовладельцы. И там же, рядом, в учениках, их сыновья! То есть эти даже глядя вперед верны своему классу! Западный пролетарий, он вместе со своим классом хочет расти, а не так, чтобы каждый сам по себе. Не так, чтобы каждый, как только пред-

ставится случай, откалывался от своих! Потому они и растут так заметно!

Я разлил вино в стаканы для воды.

— Здесь, если есть силы и способности, да хотя бы и обыкновенный достаток, пролетариат сохраняет все это для себя! Отношение класса к себе самому, степень его самоуважения лучше всего видны в том, куда он посылает своих сыновей. Вот мой отец — человек физического труда и гордится этим, но из меня уже намерен сделать предателя! То есть — послать меня к тем, кто на рабочих смотрит свысока.

— Кто ваш батюшка по профессии? — спросил дядя Бодор. Я ответил. — Не думаю, что он бы радовался вашему решению.

Он произнес это так, словно был моим отцом. Он даже вино пил, как мой отец: разглядывая не цвет, а цену на бутылке.

— Вам бы не вином их потчевать, — сказал он, наконец смягчаясь и кивая в сторону Оровы и остальных.

Орова отвел взгляд в сторону. Он был уже в возрасте и вдов. Мы знали, что он со своей единственной дочерью не переписывается, потому что та вышла за почтового служащего где-то в Задунавье, в том самом городке, где Орова во время революции был председателем директории.

Но самое ощутимое поражение я потерпел там, где больше всего рассчитывал на триумф. У Анны.

— Все еще не одумались? — обрывала она мои хвастливые рассказы.

Она просто не могла представить, что я, с моими-то руками, способен сделать что-нибудь путное.

— Стало быть, у вас и фартук есть? — смотрела она на меня, даже замедлив шаги ненадолго. Мы шли после репетиции; я провожал ее домой.

Почему-то ей было ужасно смешно представлять меня в фартуке. И — с молотком в руке!

Немного похолодало; но в общем погода не сильно менялась. Дома в такое время по небу ползут обещающие снег тучи, здесь же разве что сеял на рассвете и на закате коротенький дождик. Листья наконец опали с деревьев. Лишь сейчас, оголившись, город стал по-настоящему городом: не каменным лабиринтом, а четкой каменной конструкцией. Теперь он напоминал разумно спланированную огромную квартиру, в которой затеяли генеральную уборку и распахнули настежь все окна. Дул ветер, но пальто не обязательно было застегивать. И ходить можно было без головного убора — в самом деле будто в какой-то квартире. Я смотрел вокруг с наслаждением. Только теперь начал я понимать, чего мне не хватало в Будапеште: какой же пустыней набросанных как попало вещей он отсюда казался! Париж же был — словно плодородное, заботливо ухоженное поле. Я с воодушевлением объяснял это Анне. Но отвлечь от прежних мыслей мне ее так и не удалось.

— Покажите-ка руки! Не ушибли опять?

Дело в том, что в самом начале меня угораздило садануть себя молотком по пальцу.

Другая тема была — чаевые.

— Вы хотя бы поблагодарили как следует? И ручку поцеловали? Уж тут так полагается: целовать ручку. Если хотите и в другой раз заказ получить!

Не отвечая, я перевел ее через улицу, открыл перед ней дверь.

— Куда вы меня ведете?

— Здесь, Анночка, мы поужинаем.

Это было не последнее удовольствие: пройдя между белыми столами, сесть с Анной за столик в углу, дать ей в руки меню, спросить у нее разрешения скрутить цигарку. Но самое большое наслаждение было — расплатиться за Анну. Возле кассы сидели все те же два инженера-швейцарца, Прокитт и Свикк, обсуждали будущее человечества, спасение которому принесет машина (Прокитт даже книгу об этом написал).

И вот перед нами блюдо остро пахнущих морем креветок.

Анна с послушной простотой съела половину порции, оглядела зал — и вернулась к тому, что никак не выходило у нее из головы.

Нет, она решительно не одобряет того, что я задумал. Не будет из этого никакого толку.

— Почему?

— Потому что ни то ни се.

— Что значит: ни то ни се?

— Значит: ни два, ни полтора, — сказала она, глядя мне в глаза. — Я в этом не очень-то разбираюсь, но — ни то ни се! А нужда в этом какая? Можно было и другое что придумать! Рабочего из вас все равно не получится. Вы ведь только играете. Играете с тем, с чем играть нельзя!

Ей казалось, что если ты студент, то обязательно богат. На меня она смотрела как на какого-то блудного сына, забредшего в дальние края.

Лучше уж, считала она, мне поехать домой, закончить то, что начал.

— Да ведь дома я в розыске, Анночка!

Она и на это лишь улыбнулась. Что она, не понимает, что ли?

Я объяснил ей, что не смогу вернуться в Венгрию еще пять лет: только тогда мое дело будет закрыто. Если, конечно...

Я стал говорить ей, насколько мне лучше так, когда я работаю. Насколько я чувствую себя увереннее, в своей тарелке. Я поведал ей о своих планах. Хочу жить один, сам по себе. Сниму где-нибудь комнату; по вечерам буду давать ей уроки не на улице: она будет приходить ко мне. Мы будем готовить ужин и разговаривать.

Она смотрела на меня с подозрением. Не из-за того, о чем, наверно, подумал читатель. Ее мысли заняты были вещами более глубокими.

Я не мог не засмеяться, когда сказал ей:

— Помнишь? В конце концов ты, может, еще и забудешь, что мы не подходим друг другу.

Она даже покраснела — от возмущения. К счастью, злость ее выплеснулась в правильном направлении.

— Вы что, хотите сказать, что ради этого с клеем возитесь?

— А что, если уж я все равно с клеем вожусь!..

— Ах! — И она отвернула голову. Это "ах", этот французский поворот головы она успела перенять на фабрике, у девушек-француженок.

На улице мы продолжили.

— И вообще, кто мне при этом мешает учиться? — сказал я. — Что мне нужно? Язык! А здесь мне любой француз — учитель. Даже в мастерской...

— Хороши учителя! Тот лысый и девка с рыбьим ртом. Когда они на склад уходят!

Я уже все рассказал ей о тех, с кем работал.

— Мне даже на университете не нужно окончательно ставить крест. По вечерам буду, как раньше, ходить в библиотеку Святой Женевьевы. Там открыто до десяти. А лекции, которые меня особенно интересуют,

все равно бывают по воскресеньям с утра. Их я могу и дальше спокойно посещать. Да я их и так посещаю.

Это была чистая правда. Свободные вечера я просиживал в библиотеке Святой Женевьевы. А по воскресеньям профессор Дюма, начав с девяти утра, растягивал свои экспериментальные демонстрации и практические занятия в психиатрическом отделении больницы Святой Анны иной раз до двух часов пополудни. Для меня занятия эти в самом деле были самыми интересными. К тому же Пульхер вернулся в Париж. По дороге в больницу он кратко пересказывал мне материал вторничных и пятничных лекций. Из его рассказов я все равно узнавал больше, чем из нескончаемой скороговорки Дюма.

— Ужин готовить — это можно... — сказала Анна. — Но свою часть я оплачиваю сама! Иначе буду платить и за уроки. Потому что так полагается! — сообщила она мне. — Как-никак я зарабатываю! И тоже могла бы жить отдельно!

Она помолчала.

— Я ведь не против, — сказала она потом рассудительным, почти учительским тоном, — чтобы студенты летом работали. Потому что голова у них в это время отдыхает. И вообще пусть трудятся, небось не переломятся! А зимой — не могли бы вы найти работу полегче? Скажем, на час, на два в день?

И, еще помолчав, быстро проговорила:

— И если бы кто-нибудь... если кто-нибудь помогал бы вам, когда понадобится? В долг... Когда остаются деньги.

И посмотрела на меня искоса, осторожно. Я повернулся к ней.

— А летом бы все отдали, — торопливо добавила Анна и покраснела.

У меня захватило дух от счастья; я остановился. И — все испортил.

Я прижал Анну к себе. Но держал ее в объятиях всего минуту, не больше. Может быть, именно потому, что она первый раз в жизни не отстранилась, не оттолкнула меня? Или потому, что в движении ее плеч я словно бы ощутил намек на рыдание?

— Анночка, — прошептал я, тупея от охватившей меня нежности. — Анночка, милая, ну вот видишь, все-таки...

Ладонь ее уже уперлась мне в грудь. Она оттолкнула меня.

— Гляди-ка ты, ну! Еще подумаете, я по вашим красивым глазам умираю! Вы в своем уме?

И она поспешила вперед, уходя от меня все дальше.

Мне еще казалось, что я в седле и крепко держу узду. Луна, точно как в Озоре или в Деше, ковыляла в облаках над башнями Нотр-Дама, напоминая домашнюю утку. Я догнал Анну, схватил ее руку.

И все, что еще могло пойти прахом, пошло прахом. Я стал от всей души, многословно благодарить ее за ее чистое чувство, за смелость. За все, что она и не высказала еще: за заботу, за жертвенность. Я не могу принять эту жертву, но чувствую себя так, будто уже принял. Вот такое и связывает по-настоящему людей. Вот такой представлял я себе ту девушку, ту женщину...

— Ну-ну, ну-ну, давайте, давайте! Кто с тыквой, кто с брюквой, чего там стесняться-то! А в конце даже и презирать девушку не придется, еще чего! Дождусь я еще и такого!..

Она говорила и говорила, в пылу употребляя такие диалектные выражения — например, насчет тыквы и брюквы, которые потому и застряли у меня в голове, что я и сегодня не понимаю, что это значит, — и произнося их так смачно, словно у себя в Деше, уперев руки в бока, пе-

реругивалась через забор с соседкой. Проглатывая сказуемые, отбрасывая глагольные окончания... Я стоял, открыв рот. Трансильванский диалект немного походит на задунайский.

— Не хватает еще, чтоб вы меня замуж позвали за себя!

— А если позову?

— С чего это? Сами-то хоть знаете?

— Потому что люблю!

Я выкрикнул это так, что она почти отпрянула.

Результат был прямо противоположен ожидаемому.

Есть в отношениях между людьми слова, которые можно произнести лишь однажды. Которые — подобно определенной карте определенной масти в иных карточных играх — можно использовать лишь в одном-единственном случае, решая исход игры. Такой козырь я легкомысленно выбросил только что.

Я попытался вернуть его.

Но достиг лишь того, что потерял и остальные.

Более того, я еще и пытался объяснить то, что было у меня на душе. Объяснить — словами! Я обращался к рациональной натуре Анны, к ее просвещенным взглядам на жизнь.

— Знаешь, в чем между нами проблема? — начал я, словно какой-нибудь истовый грек-перипатетик. — Почему мы не подходим друг другу? Потому что я, как ты скажешь, "учился"! То есть, по-твоему, отношусь к какому-то другому сорту людей. Так ведь?

— Так.

— А если бы я не "учился", тогда бы препятствий не было?

— Тогда не было бы! — Ответы ее звучали твердо.

— Можно ли меня осуждать, что я во что бы то ни стало хочу принадлежать к тем, к кому, по-моему, своей судьбой, своей верой принадлежал до сих пор?

— За это — нельзя.

— Я не ради тебя пошел в мастерскую работать! Но если бы ради тебя, тогда был бы тебе не нужен?

Она не ответила.

— То есть ты меня отвергаешь за то, за что, собственно говоря, приняла бы? Верно?

— Говорить — это ты умеешь! — сказала она раздраженно, внезапно отвернувшись. И подняла, почти к самому лицу, свою сумочку, чтобы вынуть платок, и незаметно стерла ту, одну-единственную, слезинку.

Я обхватил ее за плечи, но она опять отвернулась, и я обнял ее сзади. Из меня снова просились слова, но на сей раз я промолчал: уж очень легко готовы были они пролиться. У них не было бы веса.

— Лучше об этом не поминать больше, — сказала Анна чуть позже. — Только тогда у нас все будет хорошо! — И засмеялась, глядя на меня.

— Но если я сниму комнату, ты ко мне придешь? Я тебя и мизинцем не коснусь!

— Хотела бы я посмотреть на того, кто меня коснется, если я не хочу!

— Мы поужинаем, будем беседовать, я тебе буду читать. Кто-то наконец пришьет мне оторванные пуговицы. Я куплю печку на керосине.

Та жизнь, которой живут давно надоевшие друг другу супруги, нам представлялась райской идиллией.

На пороге

Счастливые настали времена. Я ходил меж гостиницами, будто в каком-то гареме. Которую выбрать? На площади Эстрапад, за Пантеоном, было приземистое желтое здание, которое вполне сошло бы за венгерскую сельскую усадьбу. Оно словно специально было придумано для меня: ни горячей воды, ни центрального отопления, зато — как сообщила хозяйка — в нем Бальзак написал свои лучшие произведения. Поселиться здесь? Или там, где написал свои лучшие вещи Верлен? Или — Ади, или — Нерваль, или — Уайльд? Я буквально купался в излучениях славы самых громких имен мировой литературы. А может, поселиться на самой вершине Монмартра? Эти великолепные старинные дома со сводчатыми потолками сплошь скатились до уровня пролетарских гнезд. Одна у меня оставалась забота: как я расстанусь с островитянами?

То, что я пошел работать, воспринято было здесь примерно так же, как у дяди Бодора: со снисходительной улыбкой и с некоторым подозрением. Подозрение это теперь, хотя и неожиданным образом, подтверждалось, так что я не мог не догадываться, что они чувствуют. Ведь я сам не раз говорил им: один класс — одна судьба. И вот выяснилось: я пришел к ним для того, чтобы расстаться.

Вся их жизнь протекала в переполненных пролетарских квартирах, состоящих из кухни и комнатенки; все они от рождения были существа коллективные. Отдельная комната для большинства из них означала не покой, а то же, что в тюрьме — камера-одиночка. Отдельной комнаты до сих пор никогда не было и у меня.

— Так мне будет легче учиться по вечерам... Читать все-таки лучше, когда один... — Я чувствовал, что подозрение, не поддающееся выражению в словах, не рассеивается.

— Ты что, и с острова съедешь?!

У меня были все причины перебраться на Монмартр, поближе к переплетной мастерской, или в Бельвиль. Но — нет, с острова я не могу съехать, это я чувствовал; это было бы уже настоящее предательство.

Свободная Республика Острова Сен-Луи была всего лишь игрой, хотя у нее были уже и свой президент, и официальная газета, и помещение для редакции этой газеты, и время от времени собиралось, с шумными манифестациями, конституционное собрание. На неширокой улице Сен-Луи с тротуара на тротуар порхало столько же венгерских слов, сколько французских. Но и прононс звучавших по-французски приветствий выдавал, кто тут венгр; более того: кто тут венгр из Сегеда и кто из Нограда. Бóльшую часть эмигрантов по-прежнему составляли молодые парни от восемнадцати до двадцати пяти лет; им бы не в чужую страну направляться, а к алтарю. Война разлучила их с девушками. Так что следом за Йожефами, Лайошами, Иштванами вскоре стали появляться на острове Маришки, Юлишки, а там даже тети Мари и тети Юли. По утрам перед молочными и мясными лавками собирались, чтобы перекинуться новостями, женщины в шерстяных деревенских платках, с привезенными из дому корзинками, висящими на локте. Как-то вечером на площади Бастилии, на углу, я увидел горько ревущего малыша. По всему судя, он заблудился; я, конечно, обратился к нему по-французски. Из нечленораздельного рева, сквозь который прорывались какие-то слова, удалось понять, что он венгр; на вопрос, где живут его родители, он от-

ветил: на улице Берчени[1]. Вечерами, возвращаясь домой, я, пока шел от моста до нашего дома, по двадцать — двадцать пять раз снимал, отвечая на приветствия, кепку. Этот остров мне трудно было бы вот так, не говоря ни худого ни хорошего, бросить на произвол судьбы.

В конце концов комнату я выбрал в паре шагов от нашего общего жилья, в одной из боковых улочек, в маленькой гостиничке, на верхнем, шестом этаже. А выбрав, еще несколько недель ходил мимо, глядя с улицы на единственное окошко под крышей, откуда, если высунуться и наклониться вбок, можно было увидеть Сену. Я был словно помолвлен с этой комнатой; наконец я вошел в гостиницу, заплатил и переехал туда.

Нет, туманом это нельзя было назвать. Это была туча, которая в полном смысле слова опустилась с неба на землю. Даже не одна туча, а сотни и сотни независимых друг от друга туч, маленьких и побольше, словно любопытные животные какого-то Гулливерова стада. Они брели куда вздумается, принюхиваясь к крышам домов. Одно-два из них, продравшись между лавками и витринами, двигались по набережной Жеммап вверх по длинной улице Гранж-о-Белль — Амбар Красавиц, — словно рассчитывая попастись на горе. Оказавшись в утробе у такого безобидного чудовища, ты буквально дальше собственного носа не видел. Но едва косматый гигант отползал на шаг, ты оказывался в водопаде чистейшего золотого солнечного сияния. И тогда еще четче видел следующее облако, как раз вывернувшее из-за угла улицы Биша, чтобы невозмутимо процедить свое рыхлое тело сквозь высокую металлическую ограду и шеренгу голых деревьев на берегу. Прохожие беспокойно вертели головами. Это было обычное парижское начало зимы, то есть середина декабря. В компании басков с непроизносимыми именами я спускался с горы, навстречу ползущему вверх облаку. Спутники мои чихали, кашляли и, подняв воротники курток, проклинали северный климат. Я узнал, что организации иберийских эмигрантов так и не удалось добиться, чтобы хотя бы каталонцы признали право басков на независимость; и самим каталонцам ох как еще далеко до того, чтобы испанцы признали независимость Каталонии, и всем вместе ох как еще далеко до того, чтобы все они вернулись домой, чтобы Испания и весь полуостров стали независимыми и свободными! И вообще: что известно миру о басках, о их языке, у которого нет родственных языков, но который — самый древний и самый выразительный в Европе! Но ведь это как раз и прекрасно, это и вдохновляет: одолеть все эти препятствия! Сейчас они обсуждали воззвание — открытое письму Ромену Роллану — и план сборника на французском языке с произведениями умершего недавно баскского эссеиста, равного которому не было в этом столетии. Какое из произведений еще включить в книгу? Они остановились. Я попрощался с ними.

Я спешил домой: вдруг сегодня придет Анна; она ведь говорила, что может явиться в любой вечер. Смыв с себя клей, я разжег свое новое приобретение — керосиновую печку-буржуйку; она и комнату согревала, и чай на ней можно было вскипятить. И уселся в слегка хромоногое плюшевое кресло. На камине, перед потускневшим зеркалом, выстроились мои книги. Я читал, слушал журчание воды в трубах. Чего мне еще не хватало в жизни? В комнате был шкаф, еще одно кресло, кровать и круглый колченогий стол, который когда-то раздвигался в середине и мог

1. Улица в Будапеште.

быть увеличен с помощью отдельной столешницы, однако теперь и в сдвинутом виде готов был развалиться в любую минуту, а расшатанные ножки вовсе не добавляли ему устойчивости. Перед кроватью лежал смятый коврик, истертый настолько, что больше походил на сетку. Не вставая, я поправил его ногой. Если вытянуться немного, то я мог достать ногой почти до любого угла комнаты.

Ко всему этому мне не хватало лишь Анны.

На второй вечер, когда ясно стало, что я опять жду ее напрасно, ее мне уже до того не хватало, что я не мог усидеть на месте. Я чуть не выскочил из комнаты: так плохо я умещался тут с отсутствием Анны. Здесь все тосковало по ней: пустое кресло, кружка на столе, печка, шкаф. Мне пришлось отвернуться, когда в зеркале я увидел только себя. Облик Анны просился и в его облезлую рамку.

Я был поражен; и сильнее всего — собственной слабостью. Неужели мне так трудно вынести, что ее нет рядом? Такого еще не случалось, чтобы я без кого-то не мог обойтись! Я словно услышал донесшееся откуда-то громкое предостережение. Когда мы шли вместе по улице, я не ощущал ни намека на то, что отсутствие ее будет сопряжено с такой болью. В общем, я чуть не бегом бежал к концу смены к ее мастерской.

— Что-то со мной неладно, Анночка, — сказал я, беря ее под руку на углу улицы де ла Пэ.

— Неладно? — рассмеялась она.

— Комната вся в ожидании — и задыхается от нетерпения! Вот-вот завопит. Если ты не придешь, мебель сама к тебе двинется, — говорил я и сам смеялся, потому что рядом с Анной ощущение опасности тут же рассеялось; зато вернулось былое ощущение превосходства. — Ждут они тебя, Анна!

— А если меня еще где-то ждут?

— Тогда эта комната выпрыгнет в окошко! Я сам ее выкину, по кусочку. Или вообще туда не вернусь!

— Может, вы и меня сняли вместе с ней? — искоса глянула она на меня.

Но все же пошла со мной, послушно и без колебаний. Лишь перед дверью подъезда я заметил секундную заминку и взгляд, брошенный куда-то вверх.

— Вон мое окно, на пятом этаже, — сказал я, чувствуя, что взгляд этот улетает дальше, за пределы дома.

Анна посмотрела на меня, я — на нее, и это стало как бы печатью под нашей договоренностью, под моим обещанием, что я веду ее к себе не с той целью, с какой приводят в такие места молоденьких женщин. Она шла за мной решительным шагом, хотя и с заметным смущением. В подъезде она бросила быстрый взгляд направо-налево, словно душа, достигшая врат потустороннего мира. Она со старшей сестрой и зятем жила не в гостинице, а на квартире, в углу темного двора.

— Я еще и не видала французскую гостиницу изнутри.

Лестничная клетка четче любого графика показывала структуру тогдашней французской демократии: до второго этажа лестницу покрывал персидский ковер, а под потолком горели лампочки в сто свечей под абажуром; на третьем этаже был половичок и лампочка в пятьдесят свечей, на четвертом — цовка и голая лампочка в двадцать пять свечей, на пятом — ничем не прикрытый пол и лампочка, изредка, в хорошем настроении, кое-как мигающая. На втором этаже жили проститутки, на четвертом — семейные чиновники, на третьем — несколько рабочих, кото-

рые по дороге домой иногда застревали на втором этаже. Пятый этаж был обитаем далеко не всегда — вроде той халупы на деревенской окраине, куда разве что цыган иной раз забредет. По красным плиткам на полу, кроме меня, хаживала только уборщица. Моя комната находилась в конце пустынного коридора. Сюда и мухи не залетали. Я шел впереди, за спиной твердо стучали каблучки Анны.

В комнате в самом деле все ожидало ее с нетерпением. Она вымыла кастрюлю, поправила занавеску, водворила на место хлеб и ложки, разбредшиеся туда-сюда, и наконец устроилась в кресле, которое с таким содержанием сразу обрело не только форму, но и смысл. С комнатой произошло то же чудо, что в Библии с материей, в которую вдохнули душу живу.

Это было для меня тем очевиднее, что с уходом Анны душа каждый раз исчезала из комнаты, а с приходом — опять возвращалась. Комнату эту без Анны я не любил. Я даже себя ощущал в ней каким-то неполным; так, наверное, должна чувствовать себя нога, оставшись без пары.

Правда, теперь Анна часто приходила уже сама. Для меня — если я надеялся, что она сегодня придет, — приятным было и ожидание. Я ждал покоя, а в его предчувствии и нетерпение становилось сладким.

Лишь когда покой снисходил на меня, когда я вновь становился хозяином самого себя, когда на меня не давило отсутствие Анны, — вот тут-то во мне поднимал голову бес. Тогда просыпалось во мне другое, новое нетерпение.

Но Анна, открыто и просто, справлялась и с этой трудностью. Она и высказать все умела открыто и просто, обнажая суть дела и ставя все на свои места. Я был сыном своего времени — и разговор о любви начинал с братания душ. Дескать, лишь душевное родство пробуждает плоть, только оно вселяет в нее жажду, желание выйти за пределы себя, своей судьбы!

— Да полно вам! Плоть пробуждается от другого, — сказала Анна.

— Что-что? — изумился я.

— От гормонов! — ответила Анна.

— От чего, от чего?

— Да, от гормонов! — повторила Анна и покраснела. Потом четко и ясно объяснила мне, что именно необходимо человеческому телу на разных этапах жизни, чтобы правильно развиваться, чтобы человек жил в телесном и душевном равновесии, пока не умрет!

Я постарался, дав задний ход, выбраться из этого тупика.

— Ну хорошо, давай учиться.

Произношение у нее давно уже было лучше, чем у меня. Соблюдая наш уговор, мы пробежали один-два раздела грамматики. Уже и грамматика у нее отскакивала от зубов. Мы опять оказались лицом к лицу друг с другом, на опасном плацдарме.

— Просветите меня насчет чего-нибудь!

В этом тоже не было ничего, что можно было бы понять не в том смысле. Мы немного поспорили. Потом мне пришлось рассказывать, почему происходят приливы и отливы, как проявляется лунное тяготение, в чем заключается своеобразие венгерской грамматики, которое я, мне казалось, открыл и о котором напишу когда-нибудь главный труд своей жизни, потом проанализировать, как влияли друг на друга Арань и Петёфи. Бывает, что читать лекцию одному человеку гораздо приятнее, чем целому залу. Анна ловила каждое мое слово. Она была идеальной ученицей, из тех, кто не просто слушает, но еще и заинтересованно

реагирует на услышанное, вставляет реплики. Она возводила меня в самый высокий профессорский ранг, когда ты не объясняешь ученику, а убеждаешь его. Победы я одерживал без большого труда. Но словесные поединки, доставлявшие мне такое наслаждение, длились порой часами.

Потом я шел провожать ее, выторговывая станцию за станцией, то есть чтобы она села в метро не на "Сен-Поль", не на "Бастилии", не на "Шалиньи". Иной раз мы доходили аж до площади Насьон. В таких случаях меж нами царил мир. Если какой-нибудь встречный прохожий разделял нас, Анна, бывало, сама брала меня под руку. Мы забредали в темные улочки, из которых на небе видны были звезды: родные Арба, Наседка[1]. В Анне тоже пробуждались воспоминания. Был у нее старший брат. Он поступил учеником к гробовщику. Семья была такой бедной, что они даже одеждой, бельем не смогли его снарядить. И спал он в холодной мастерской, сделав себе в каком-нибудь гробу постель из стружек. Кончилось тем, что простыл брат, заболел чахоткой, но и больной работал, потому что кормили его сдельно; однажды утром нашли его в гробу мертвым.

Так тянулась зима; снега все не было. Жизнь моя текла настолько однообразно, что в одном из писем домой я не удержался и написал, что работаю в мастерской и такой представляю себе всю дальнейшую жизнь. Мне уже повысили жалованье. Анна готовила еду, чинила мою одежду, даже стирала, свободное время мы проводили дома; трат у меня было так мало, что время от времени я даже посылал домой, в Цеце, денежные переводы.

Удар в спину

В организации нашей я познакомился уже и со сладкими муками режиссерской работы, настоящей театральной режиссуры. Не каждый день и не каждому режиссеру выпадает такая задача: дать роль выброшенного на улицу или работающего четырнадцать часов в сутки пролетария действительно выброшенному на улицу или работающему четырнадцать часов в сутки пролетарию; вложить слова оскорбленной и униженной девушки в уста ежедневно оскорбляемой и унижаемой девушки. Я не любил профессиональных актеров: ведь каждый из них изображает графа *вообще*, крестьянина *вообще*, чиновника *вообще*, и от этого уже сам голос их, поставленный, доведенный до совершенства, воспринимался моим слухом как нестерпимо фальшивый. Здесь же и для рабочего был десяток индивидуальных голосов — и какие все достоверные! Конечно, все это имело смысл, только если труппа и зрители хорошо знали друг друга. Но какой стоял хохот, какой успех сопровождал уже репетиции (и как таял, огорошенный своим триумфом, исполнитель), когда, скажем, на роль заядлого выпивохи удавалось привлечь товарища, известного своим пристрастием к горячительному!

Такая вот труппа ждала меня и сегодня. Я пришел раньше времени, но все равно торопливо пересек большой двор, лавируя меж бензиновыми лужами и пятнами масла возле грузовиков. Из-за гигантских склад-

1. Венгерские названия созвездий Большая Медведица и Плеяды.

ских ворот доносился гам, какой стоит в школе на переменах; потом я услышал, как Божар ударил своей палочкой по какому-то стальному стержню или треугольнику: прозвучало долгое "ре". Женский голос запел соло; затем к нему присоединился другой. В конце музыкальной фразы оглушительно грохнули медные тарелки, но женщины продолжали вести свою мелодию, словно это их не касалось; более того, к ним присоединился третий голос. Это была песенная вставка в фина́ле пьесы, предложенная Божаром и им же сочиненная.

Я вошел в зал, прошел на свое обычное место, сел на кирпичи. Анна... Но Анны не было. И тут обнаружил, что перед Божаром, перед его десницей, что взмывала ввысь, словно водная струя, тут же падала и затем, извиваясь подобно змее, горизонтально ввинчивалась в пространство, стояла лишь кучка хористок, не более четверти обычного ансамбля.

В полумраке ко мне подобрался Штейнрейх, присел рядом.

— Вас, товарищ, разве не предупредили? Сегодня вечером репетиции не будет. Все, кому роздан текст, ушли на учредительное собрание спортивного общества.

— Почему?

— Вам, товарищ, разве не говорили?

— Нет.

— Из-за вас, товарищ.

— Из-за меня?

— По вашему делу, товарищ, начато персональное расследование. Будет создана комиссия из представителей разных профессий. Сказали, пока что вам, товарищ, нельзя вести репетиции. Тогда все и разошлись.

Я не знал, что спрашивать раньше.

— По какому такому моему делу? Товарищ Орос тоже ушла?

— На вас, товарищ, поступило заявление, еще вчера. А когда стали искать кандидатов в комиссию, поступило еще одно.

Я мотал головой, ничего не понимая.

— Какое заявление? От кого? Почему?

Божар шикнул на нас.

— Какая-то религиозная пропаганда, — продолжал Штейнрейх. — И еще злоупотребления, чреватые разложением.

— Чем чреватые?

Божар снова ударил по своему треугольнику, потом нетерпеливо и с обычным в таких ситуациях высокомерием повернул голову в нашу сторону. Но фразы, прозвучавшие только что, уже лишили меня способности воспринимать эту игру должным образом. Ведь Божар тоже должен знать, что тут произошло! Я вскочил и двинулся прямо к нему.

— Послушай, что это за решение тут было насчет меня принято? Да еще в отсутствие?.. — обратился я к Божару.

Я был немного взволнован.

— Какое решение было принято, товарищ, к секции не относится, — ответил он. — Это уже дело комитета. А сейчас здесь...

— Брось ты дурака валять, хоть на минуту! Я слышал, кто-то отправил людей домой. Что здесь случилось?

— Попрошу вас, товарищ, соблюдать порядок и знать свое место! Сейчас время репетиции хора! И не смейте выговаривать мне публично!

Он снова щелкнул по треугольнику.

— Слушай, не выводи меня из себя!

Но Божар — возможно, от этих слов — совсем закусил удила.

— На меня, точно так же, как и на вас, товарищ, комитетом по культуре возложена ответственность за порученное мне дело! Будьте добры обратиться к комитету! А к музыкальной секции это отношения не имеет!

— Есть здесь еще кто-нибудь из комитета?

Заговорила, робко поглядывая на Божара, одна из хористок:

— Товарищ Крупа только что был на втором этаже. Туда и товарищ Бодор пошел.

— А остальные?

— Ушли на Гранж-о-Белль, к спортсменам.

Я рывком распахнул огромную дверь, с грохотом захлопнул ее и, прыгая через три ступеньки, взлетел на второй этаж. Дорогу я знал хорошо. На втором этаже была комнатенка, служившая официальным местонахождением для того комитета или совета, который, в порядке общей очереди, ежедневно вселялся туда на час-другой. На заляпанном чернильными пятнами столе не было ни одного предмета, который носил бы отпечаток индивидуальности владельца; видно было, что к столу этому только садились на время, даже не открывая ящиков; от мебели — ее составляли несколько стульев и вешалка в углу — веяло безразличием вокзальных залов ожидания. На стене висел портрет Жореса в рамке, под ним — небольшие, с открытку, прикрепленные кнопками фотографии каких-то не очень известных революционеров: испанских, итальянских, польских и баскских, как можно было судить по прическам, бородам и воротникам. На противоположной стене — огромная карта Европы, с особенно густыми отпечатками пальцев вокруг Милана, Кракова, Ируна[1], Барселоны и Будапешта. В комнате сидели трое. Бодора среди них не было.

Крупа сразу заметил мое состояние — и, вскочив из-за стола, переступил, качнувшись, с ноги на ногу, тем самым сразу выдав свою хромоту. Он представлял в комитете деревообделочников и был в нем заместителем председателя. Первым делом он попытался меня успокоить.

— Садитесь, товарищ. Тут больше дыма, чем огня, — сказал он, когда я пожал его руку и сел на гостеприимно предложенный стул. — Воспринимайте, товарищ, без нервов. Со всеми такое бывает: иной раз вылетит что-то изо рта, с чем ты и сам не согласен. Комитет, кстати, считает, что это было непродуманное решение: отстранить вас от работы, прежде чем пройдет расследование. Я, со своей стороны, тоже об этом сожалею. О вашей работе в области культуры я, например, могу сказать только хорошее. А это — самое главное, даже в таких делах!

— До решения комиссии устав предписывает поступать именно так! — раздался голос Евы Семзё; она смотрела не на Крупу, а прямо на меня.

У края стола, опершись на него локтем, сидел Орова. У него в комитете никакой функции не было. Он был столяр, как Крупа. Потому, наверное, и забрел сюда.

Я старался выглядеть невозмутимым. Но дело было не только в том, чтобы "выглядеть". Разве я не был, как и они, рабочим? Я чувствовал, что душой и телом я — один из них.

— Могу я наконец узнать, в чем меня обвиняют?

1. Ирун — город в Северной Испании, в Стране басков.

Вопрос прозвучал не совсем так, как мне хотелось. В нем можно было расслышать не свойственное мне высокомерие.

– Нам поступило заявление, – официальным тоном заговорил Крупа, внимательно глядя на стол и царапая ногтем какую-то чернильную кляксу, – что на репетициях вы пользуетесь выражениями, которые льют воду на мельницу клерикализма и служат питательной почвой для религиозных предрассудков.

– Я?

– Вы, – сказала Ева.

– Ну, лишние слова говорили... допускали, как сказано в заявлении... – продолжал Крупа.

Он вынул из кармана листок бумаги.

– "Товарищ, – читал он, вглядываясь в написанное, – продемонстрировал типично тео... теоцентрическое мировоззрение... Хотя внешне он как бы и отвергает эту идеологию, его высказывания тем не менее доказывают... что он и сам находится в сфере влияния этой идеологии, а потому... есть все основания сомневаться, по праву ли ему отведена одна из ведущих ролей в духовном воспитании..." Я тут ни слова не понимаю. Кто подал это заявление?

И снова, глядя прямо на меня, заговорила Ева Семзё:

– Я подала. Точнее, я сформулировала.

И показала, что не собирается отводить взгляд.

– Все равно ни черта не пойму.

Я говорил – да и чувствовал, – как человек, который совсем не чужой, который один из них.

– Вы что, не употребляли на репетиции такое, например, выражение: пресвятая дева Мария? Вспомните-ка: когда Хеди отказался суфлировать... Или: царствие небесное? Употребляли, и не раз, у меня все зафиксировано.

Я потерял дар речи.

Крепких выражений я не употреблял; разве что изредка, в шутку. И уж совершенно точно терпеть не мог непристойностей, особенно там, где в последнее время чаще всего их слышал: в среде так называемой грамотной публики.

– Позвольте мне ответить на это одной фразой? – справившись наконец с непослушным языком, сказал я.

– Будьте добры! – Взгляд Евы снова был устремлен в мои глаза.

– Вы – идиотка!

Она вскочила. Я тоже встал. Поднялся и Крупа.

– Вы думаете, вы меня оскорбили? Нет, вы этим продемонстрировали тут, перед товарищами, свою антиобщественную позицию, свою идеологию! Ту трансцендентную идеологию, которую мы не можем терпеть! Мы не позволим тянуть пролетариат обратно, в болото церковного мракобесия! Да-да, это теоцентрический, в конечном счете феодальный и аристократический идейный комплекс, в котором вы психологически погрязли и который мы ясно видим...

Она нащупала-таки мое больное место.

– Где это я погряз? Это я-то погряз? А вы меня будете судить? С вашими куриными мозгами, чтоб вас разорвало! Вы и мне голову задурили, в бога вас с вашими маниями!

– Прошу занести это в протокол!

И она – этаким официальным взглядом – посмотрела на Крупу и Орову.

Я тоже посмотрел на них. Они слушали нас с неподвижными, отсутствующими лицами. Примерно так господа слушают ссору слуг или слуги — ссору господ. Мне стало стыдно. Они были моими учениками, мы не раз вместе ужинали у Бодора — они ведь хорошо меня знали! И знали, что я работаю. Мне вдруг показалось, что я окружен какой-то ледяной стеной. Мною завладела холодная, враждебная мысль: а что я, собственно, знаю о них: о Крупе, об Орове? Что я знаю об остальных — не вообще, а об их человеческой сути, о том, что лично могло бы меня связывать с ними? Я ощутил безысходное одиночество, а сверх того — острое чувство вины, словно я упустил что-то, а что — не в состоянии был сформулировать. Никогда еще не чувствовал я себя в Париже таким чужим.

С минуту стояла полная тишина. Потом Ева, с трудом переводя дух, сказала:

— Надеюсь, товарищи будут потом так любезны и заверят протокол. Вы тоже, конечно, подпишете?

— Только если там будет значиться, что вы — идиотка, — медленно ответил я.

Ее снова затрясло. И снова она вонзила свой взгляд в мое лицо.

— Мужик! — выкрикнула она.

Видел я однажды араба, который кидался с ножом на окружающих. Его довели до бешенства тем, что снова и снова бросали ему в лицо тот простой и очевидный факт, что он — араб. Я повернулся к Еве. Ярость душила меня, лишив голоса; видимо, она, ярость, так преобразила мой взгляд, что Ева отпрянула. Интересное дело: сейчас, услышав подобное оскорбление, я бы лишь улыбнулся и кивнул в знак согласия; но в тот момент лицо у меня, наверное, было страшным.

— Мужик! — повторила она, но уже совсем тихо, едва ли не шепотом. Кровь бросилась ей в лицо. И, не дав мне ответить, она заговорила быстро-быстро, хватая ртом воздух: — Обзывайте меня как хотите, фактического положения дел это все равно не меняет! Те слова и сами по себе растлевают сознание! Я что, говорила разве, что вы сами в них верите?.. А ведь вы верите... Хотя, может, сами об этом не подозреваете, — но я другое хочу сказать. Я говорю только, что вы ими пользуетесь, и говорю, что они вредоносны! Кто берется воспитывать других, тот должен разбираться не только в естественных науках, но и в педагогике. А вы сами не способны понять, где приносите пользу, а где вред!.. Ваша общественная позиция...

Эмоции захватили ее; она опять была на коне. И вдруг запнулась. Но это не значило, что она усомнилась в своей правоте: просто ее занесло на другую дорогу.

— А тот вред, которым чреваты ваши легкомысленные выходки!.. Революционные марши не для того существуют, чтобы превращать их в мальчишеские игры, прятать в них любовные послания, зашифровывать в них имя любовницы!..

— Очень прошу вас, думайте, кого вы вмешиваете сюда!

Крупа опять скреб чернильное пятно. Орова смотрел куда-то в пространство.

— А вот об этом, мне кажется, вам бы надо было раньше подумать! Разве я спрятала в те стихи имя: Анна Орос? Если вы сами не в состоянии это понять...

— Запрещаю вам произносить это имя! Запрещаю публично позорить чистую, ни в чем не повинную девушку!..

Я собирался еще добавить: пролетарку. И вдруг онемел. Волна стыда захлестнула меня.

— Это я позорю? Я?! — взвизгнула Ева.

И, достав из сумки, бросила на стол переписанную фиолетовыми чернилами копию той самой песни. Лишь взгляд мой проводил улетевший на стол и соскользнувший почти до самого края бумажный лист. Начальные буквы в каждой строке были заключены в кричащие красные кружки.

— Это что, я писала? Я?! — срывающимся голосом крикнула Ева.

Капля лжи способна испортить, превратить в ядовитый хмель бочку чистейшей правды. Для души нет опаснее подобной отравы. Демагогия смущает трезвый ум не тем, что в ней почти все — вранье, а как раз крохотной долей содержащейся в ней правды. Тем, что ложь она изощренно смешивает с истиной. Чтобы истину, во имя каких-то целей, тоже сделать отравой! Вот что я осознал вдруг. На какое-то мгновение я почти обезумел от ярости. А в следующее мгновение меня охватила бесконечная, свинцовая усталость. Но правда и ложь уже неразличимо слились перед моими глазами.

— Спасибо, — сказал я с холодным спокойствием. — Я подчиняюсь решению комитета. Я отказываюсь от руководства художественной секцией и прошу комитет с завтрашнего дня подыскать мне замену.

Но теперь и я не смотрел в глаза сидящих за столом.

— Да об этом и речи нет! — сказал Крупа, взглянув наконец на меня. — Не принимал комитет никакого решения. Даже и не обсуждал еще! О времени обсуждения вас известят. А пока просим вас продолжать занятия.

— Считаю эти вещи несовместимыми, — сказал я. Перейдя на официальный тон, я почувствовал себя увереннее — и твердым шагом вышел из комнаты.

Из ворот как раз по одному, по два выходили хористы.

— Привет, — протянул мне руку Божар. — Ну что, дал прикурить этим олухам?

Я свернул за угол и двинулся вверх, к площади Ассоммуар. Туман, словно крышка на кастрюле, прикрывал неровные, с прогалинами, ряды домов, задерживал дым, идущий от заводских труб в низине, собирал его здесь, на возвышенности. Запах гари смешивался с запахом зимней сырости. Я большими порциями вдыхал воняющий керосином туман. Город залит был светом, но небо, почти от самого моего лба, переполнено было чернотой, хотя семь часов едва миновало. Я сел на влажную скамью. Наконец меня перестала бить нервная дрожь. Почувствовав это, я встал.

Может, пойти на Гранж-о-Белль? Я размышлял об этом, уже направляясь туда. Дорога не заняла и пяти минут, и, еще ничего не решив, я уже свернул в переулок Шоссон.

В зале, огромном, как театр, лишь в одном углу горело на стене подслеповатое бра, и спортсмены — человек десять-пятнадцать — совещались под ним, словно у какого-то далекого костра. Никто не заметил, как я вошел. Крупа тоже был среди них. Он сидел рядом с дядей Бодором.

— Можно попросить на минутку товарища Орос? — сказал я из темноты.

— Кто это? — спросили сразу несколько человек, вглядываясь в полумрак. — Анну спрашивают? Анна!

Но кто-то узнал мой голос.

— Ушла Анна.

Меня что-то кольнуло, хотя я неосознанно этого и ждал. Да и чего можно было ждать после всего, что произошло? Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно.

— Давно?

— Она с Карачонем ушла.

Меня снова кольнуло. И я задал еще более невозмутимый вопрос:

— Товарищ Карачонь был на репетиции?

Мне ответили сразу несколько голосов:

— Да нет! Чего вы болтаете тут? Карачонь ее и вызвал!

— Брось ты! Карачоня и в Париже-то нет.

Кто-то засмеялся.

В разговор вмешался — уже направляясь ко мне — дядя Бодор.

— Анна ушла, потому что у Карачоня что-то срочное было... Или по каким-то его делам... То ли известие какое-то от него пришло, то ли ему хотела что передать... точно не знаю. Очень она торопилась, когда уходила, оттуда еще...

Что ж, так и должно было быть. Я поблагодарил и двинулся — в благотворной тьме — к выходу.

В переулке Шоссон меня окликнули. Здесь тоже было темно, и я, чтобы меня было видно, встал под один из умирающих фонарей. Ко мне подошел дядя Бодор.

Сначала он лишь смотрел на меня в тусклом свете.

— Вы, конечно, спортом не занимаетесь, — сказал он наконец. Затем раздраженно — многие лишь так способны преодолеть смущение — продолжил: — Не обращайте вы на них внимания! В таких случаях самое лучшее — делать вид, будто их и нету!.. Конечно, конечно, я ведь вижу, что происходит... Вроде кажется: где-где, а уж среди товарищей-то своих ни о чем не беспокойся, они тебя поймут... А разобраться — чем мы отличаемся от других людей? Вы думаете, у меня такого не было? А все-таки — что в этом случае самое важное? Что бы ни было — оставаться вместе!

К нам подбежал Хеди, с бумагой и карандашом в руках. Конечно, это спортивное общество тоже он организовал. Он обернулся и крикнул в темноту, словно разведчик, ушедший в джунглях далеко вперед, отставшим:

— Здесь они!

В клубах тумана обозначился Герцог. Дядя Бодор хотел было продолжать, но Герцог опередил его:

— Теперь они за вас взялись? Меня им мало было? Нынче только и слышишь: фракция, фракция! А все этот Легени, он каждой бочке затычка! Знаете, что я таким отвечаю?..

— Легени тут ни при чем, — остановил его дядя Бодор.

— А кто?

— Семзё.

— Знаете, что бы я ей ответил? Вы, мол...

Он сказал, что бы он ей ответил; но дядя Бодор перевел разговор на более низкие тона:

— Потолкую я с этим Крупой. Чтоб он головой думал и был порешительнее...

— Да чего там! Тут одно поможет, — горячился Герцог. — Хороший пинок под...

— Эти и Маркса бы исключили.

– Да уж его-то в первую очередь!

– Почему?

– Потому что он еще и революционером был!

– Бросьте. Дайте мне сказать, товарищ...

Но дядя Бодор опять не договорил; на сей раз – из-за Хеди.

– Пойдем обратно, – сказал он мне. – Мы тебя тут же выберем секретарем спортивного общества! Давайте скорее, мы на собрании перерыв маленький объявили!

– Спасибо, это не для меня, – сказал я.

– Я тебя внесу в список. – Хеди смотрел в свои бумаги. – Или лучше – завхозом запишу!

– Ты только буживальских ребят остерегайся! – крикнул Герцог. – Это они воду мутят!

Я не понимал ни слова. Бодор покачал головой.

– Ну ладно, вы пока ступайте себе обратно.

Те, оглядываясь на нас, ушли.

Бодору снова понадобилась небольшая пауза.

– Думаю, вы сейчас не собираетесь сделать какую-нибудь глупость?

Горечь чаще всего выходит из сердца тем же путем, что и любовь: там, где находит протоптанную тропинку. В отчаянии потрясать кулаками нам удается по-настоящему в обществе тех, на груди у которых мы могли бы поплакать.

– Ничего я не собираюсь делать, – ответил я ледяным тоном. – Здесь – никогда и ничего.

Я был почти счастлив, что доставляю боль именно дяде Бодору.

По его лицу видно было: он чувствует, с кем имеет дело. Он грустно покачал головой.

– Так говорит тот, кто знает, что он все-таки не совсем прав.

Я-то ждал, что он будет на моей стороне. Более того, оскорбленный до глубины души, я надеялся, что он отстоит меня перед всеми. Все-таки он тут – главный авторитет! Пускай примет решение! Пускай кинется в бой! Если угодно, именно потому, что понимает: я не совсем прав.

Подобное можно выразить и одним-единственным взглядом. Он меня понял.

Теперь пришла моя очередь, чтобы – тоже из одного его взгляда – понять кое-что, для меня крайне важное и неприятное.

"К чему ругань, к чему склоки? – говорил его взгляд. – Стар я уже, чтобы порядок наводить в доме. Мне нужно, чтобы дом был, чтобы там можно было согреться. Будьте ко мне снисходительны".

Но длилось это не дольше одного мгновения. Он отвернулся, поправил шапку на голове. Улыбнулся, как бы утешая себя. Потом, решив, что все это можно выразить и в прозе, заговорил, уверенный, что говорит на понятном мне языке:

– Пожаловался я как-то одному умному человеку: почему, мол, так грызутся иной раз меж собой вожди социалистов? Почему каждый считает настоящим социалистом только себя? Он засмеялся и ответил: потому что на вас, социалистов, насчет того, как наставить мир на путь истинный, как его исправить, нисходит такое же откровение, какое нисходило в прежние времена на пророков. А Господь ведь не может учить одного – одному, другого – другому, верно? То есть, если на кого-то откровение снизошло другое, не такое, как на меня, значит, кто-то соврал: или он, или Господь. Скажите: вы слыхали когда-нибудь, чтобы два пророка уживались друг с другом?.. Я, конечно, тогда только рукой на не-

го махнул; ну, и тоже посмеялся. А потом задумался над его словами. В самом деле, есть у нас что-то общее с библейскими пророками. Ведь мы, это факт, тоже считаем, что для избавления от несчастий существует только один путь. Да ведь и лагерь у нас может быть только один, это тем более факт. Словом, ничего нам не остается, как терпеливо нести на плечах свое бремя, как несли его пророки.

Он опять тихонько засмеялся.

— Привыкать надо к таким вещам, — продолжал он. — Знаете, как поливали когда-то друг друга "Социальная революция" и "Фольксштимме"? А Варкони и Мезефи? А лассальянцы с бернштейнианцами? Да что когда-то — и сейчас еще... А мне теперь важнее всего — общий лагерь. Усвойте это и вы. Потому что теперь уже все равно. Кто у нас, в нашем лагере, побывал, тот нигде больше не найдет себе места. Разве что выберет одиночество, отшельником станет. А это — не дело. Я это тоже испробовал. Так что не обращайте внимания, пускай себе языком треплют. Потом выяснится, кто на что годен, увидите.

— Не из их я породы, я чувствую, — сказал я с горечью, в которой была и страстная надежда на опровержение. Ведь он-то лучше всех знает, чью сторону, чью жизнь я выбрал.

— А я чувствую, что молоды вы еще очень! Знаете, милый мой, чего я только не перечувствовал в двадцать-то лет! Ну ладно, хватит. Схожу за пальто — и пойдем к нам ужинать.

Я почти заколебался. Слезы были уже у меня в горле; я чувствовал: еще немного, и они поднимутся в глаза (словно путь их в самом деле ведет через горло). Но я вовремя проглотил их.

— Очень жаль, товарищ, дела у меня.

— А на кружку пива, тут где-нибудь поблизости?

— Очень жаль, дела у меня, товарищ.

Мы пожали руки друг другу. Я двинулся обратно, на площадь Ассоммуар; поблизости от нее была станция метро.

Теперь в темноте тонул город. Туман опустился ниже, до самой кромки плато. Крышка огромной кастрюли находилась сейчас у меня под ногами, придавив собой дым и запах керосина. Здесь, на возвышении, воздух был чист и прохладен. Редкие фонари на площади не заслоняли звезд. Небосвод и земля словно перевернулись, поменявшись местами: бесчисленные огни города сияли теперь вверху. Я остановился у входа в метро; что-то мне помешало спуститься.

Я нашел скамью, на которой сидел недавно, — словно оставил на ней решение, что делать дальше. Я сел — и долго сидел, ни о чем не думая, но исполненный ожидания: будто кто-то где-то советовался, как со мной поступить, и мне ничего не оставалось, кроме как ждать решения; я сидел терпеливо, словно обвиняемый в час вынесения приговора. Ход времени ощущало лишь мое тело: я все плотнее запахивал на себе пальто, чтобы не дрожать от холода.

В этот час в рабочих организациях и парткомитетах заканчивались собрания и совещания. Площадь время от времени заполнялась народом. Мимо, громко споря, проходили смутно различимые фигуры; окна пивных с причудливыми названиями, за желтыми и красными занавесками, засветились ярче: там зажгли верхний свет. Когда двери их распахивались, на улицу вырывались возбужденные голоса: там полным ходом шло редактирование коллективных статей, писем протеста, оппозиционных запросов. Маленькие форумы работали во всю мощь, как в тот вечер, когда я впервые встретил здесь Анну. Послышался крик, по-

том что-то громыхнуло; сейчас опять невозможно было понять, что это: выхлоп автомобиля или револьверный выстрел.

Вконец продрогший, я встал и пошел в метро.

— Ваш билет!

Оказывается, я забыл купить билет; пришлось брести назад, к кассам.

Забившись в угол вагона, все еще без единой мысли в голове, я смотрел, как в адском скрежете и стуке вспыхивают за стеклом светящиеся названия станций. *Гар де л'Эст – Сен-Дени – Ле-Алль – Шатле – Сите.*

Здесь мне нужно было выйти. Но встать я был не в силах. Возвращаться в ту комнату? Одна мысль у меня все же возникла. Пойду в Библиотеку Св. Женевьевы.

Сен-Мишель – Одеон.

Я поднялся. Взгляд мой упал на светящийся циферблат станционных часов. Половина десятого!

Ренн – Монпарнас.

Куда же мне деться?

Вавен – Распай – Данфер-Рошро.

Я вышел и пешком двинулся обратно.

Ночь

У входа в гостиницу я позвонил. Наконец дверь открылась. Маленькая деревянная доска перед каморкой портье, куда жильцы, уходя, вешали свои ключи, была пуста; не было даже моего ключа. Я постучал в дверь мадемуазель Дестийё, хозяйки гостиницы: по ночам она, не вставая с постели, нажимала кнопку, открывая и закрывая дверь. Мадемуазель, старая дева из провинции, была крайне скупа на слова и на мимику. Дело в том, что лицо свое для дневного пользования она, с помощью невероятного количества косметики, превращала в застывше-приветливую маску витринного манекена, и любая неосторожная гримаса ее настоящего лица, которого я так никогда и не увидел, а может, даже и громко произнесенное слово могли бы разрушить фарфорово-хрупкий слой косметики.

— Вас ждет дама! — прозвучал из-за занавески на окошечке ее голос. — Давно уже! — крикнула она так звонко и раскованно, что мне невольно пришла в голову мысль: сейчас, наверно, на ней нет маски.

Анна.

До второго этажа я поднимался бегом, потом замедлил шаг, а на следующем пролете, поставив ногу на очередную ступеньку, иногда даже на мгновение останавливался. Об Анне мне случалось думать по-разному. Но с такой чистой нежностью — еще никогда. Это было так приятно, словно она уже была рядом.

— Войдите!

В комнате меня ждала не Анна, а Ева.

Она сидела в кресле, не сняв пальто. Несколько книг и тетрадей, прежде находившихся на камине, лежали теперь перед ней. По-другому располагались и книги на столе. Она читала. Неужели она рылась в моих тетрадях? Должно быть, она слышала мои шаги в коридоре, но когда я вошел, взгляд ее все еще был прикован к раскрытой книге.

Она встала. Глядя в глаза мне, протянула руку, но, не дождавшись ответного жеста с моей стороны, подняла руку к воротнику.

После вечернего разговора она очень много думала. Поехала было домой, в Нейи, но потом решила, что обязана не откладывая прояснить некоторые вещи. Ибо одно дело — принципиальная платформа, и совсем другое — личные отношения. Ей не хотелось бы, чтобы в ее позиции, которая, разумеется, обусловлена par excellence принципиальными соображениями, я увидел какие-то посторонние, так сказать, душевные мотивы. Вовсе не личные предубеждения побудили ее выступить против меня.

— Возможно.

Даже среди тех, кто в идеологическом плане иной раз допускает промахи и вредные отклонения, есть люди, способные к позитивной эволюции. Это — ее принципиальная точка зрения.

— Спасибо.

— Но на вашем отстранении я по-прежнему буду настаивать.

— Ладно, — сказал я и громогласно чихнул. Волосы у меня были совершенно мокрые.

Она пристально посмотрела на меня и сказала:

— Я тоже замерзла.

Я отыскал спички и зажег керосиновую печурку, хотя знал, что тепла от нее немного, если только не сидишь совсем рядом. Но садиться я не стал; Ева тоже осталась стоять.

— Не поймите меня неправильно! Вашу деятельность, ваши поступки я считаю крайне вредными! Но именно поэтому я субъективно могу быть вам полезной. Кого можно спасти, того мы обязаны попытаться спасти для общего дела. Сначала основательно наказать, потом поставить на место.

У меня не было никакой охоты вести такие беседы, да еще в такое неурочное время. Однако круглые стекла ее очков блестели, как всегда, жестко и бодро. Меня одолевала сонливость.

— Вы наши принципиальные разногласия перенесли в личную сферу! Потому я и пришла сюда.

— Не помню, чтобы я что-то куда-то переносил.

— Тем не менее: с самого начала, a priori, в личную сферу перенесли! Что очень для вас характерно! Никакой принципиальной последовательности! Я могу эту позицию объяснять вашей идейной неосведомленностью, той атмосферой, той средой, из которой вы вышли, но...

Эта женщина просто вынуждала быть с ней грубым.

— Идите вы к дьяволу с этой чушью!

Она вскинула голову.

— Люди, даже если они находятся на противоположных позициях, все равно могут найти нужный тон для прояснения разногласий. Антагонизм можно снять только таким образом! Хорошо! Мы стоим на разных позициях! Даже пускай на несовместимых! Я заявила и готова сейчас повторить, что всеми способами буду бороться против ваших взглядов! И если вы не сумеете отделить свою личность от этих взглядов, я и против вашей личности буду бороться! Вы должны это знать! Но еще раз скажу: данный антагонизм для меня — всегда антагонизм идеологический. Вот почему я чувствую себя в преимущественном положении, и вот почему...

Лампа под потолком мигнула: это было предупреждение. Но Ева продолжала невозмутимо:

— ... вот почему я со спокойной совестью осуждаю вас, даже и в психологическом плане! Мне вы можете грубить сколько хотите. Для меня это тоже всего лишь симптом! Симптом, который свидетельствует о ва-

шей опасной для нашего дела отсталости и о еще более опасном забегании вперед! Я подумала, что сумею помочь вам осознать это. И согласна была бы потратить на это хоть целую ночь. Я чувствую, что это мой долг! Чтобы дать вам еще одну, последнюю возможность...

— Чего дать?

— Возможность! Да-да! Объяснить вам все! Чтобы вы наконец заглянули в себя. И поняли бы, какими последствиями чревата такая мировоззренческая позиция.

Мы все еще стояли: я — привалившись к камину, она передо мной. Я закрыл глаза. В голове у меня неслись, метались какие-то тени. Это продолжалось не более десяти секунд. Но голова моя упала. Я так резко вскинул ее, что стукнулся затылком о стену.

Она, видимо, и в очках своих оставалась сильно близорукой — и подошла ко мне совсем близко.

— Вы... Вы что? Пьяны? Или больны?

Той прозрачной чистоты, которую я ощутил, поднимаясь по лестнице, в самом деле уже не было у меня в голове. Но сейчас мне всего лишь хотелось спать.

— Вы где были ночью? Пили, что ли? Показательно для вашей душевной конституции! Будто какой-нибудь провинциальный джентри!

Но вдруг тон ее изменился. Теперь она почти шептала:

— Из-за... всего этого? Из-за меня?..

И — без всякой связи с предшествующим:

— Моя мать была баронессой.

Электричество, как это принято в парижских гостиницах попроще, погасло во второй раз, теперь уже окончательно. Крохотные сигнальные лампочки в каморке портье показывают, в каком номере имеет место перерасход электроэнергии, и хозяева таким нехитрым способом призывают жильцов к экономии.

— Из-за моей мировоззренческой позиции? — шептала Ева.

— Ради Бога, оставьте меня в покое! Какое ваше дело? Идите к чертовой бабушке с вашими дурацкими выдумками! Со мной все в порядке. Спать я хочу, вот и все!

— Хорошо, — сказала она, отыскивая свой портфель. Но в дверях остановилась.

Керосиновая печурка давала немного света.

— Метро закрыто уже. А пешком мне до утра до дому шагать.

— Ну и шагайте! Сами же виноваты! Или здесь оставайтесь, мне все равно!

— Я посижу в коридоре.

Меня распирала злость.

— Может, хватит ломать комедию? Зайдите в комнату! И закройте наконец дверь!

— Я тут посижу, в кресле.

— Полно болтать! Ложитесь!

Я погасил печурку и распахнул окно: в такие минуты комнату наполняла керосиновая вонь. И устроился в дряхлом плюшевом кресле, сиденье в котором под моим весом провисло чуть не до пола.

— Вы замерзнете... Голова у вас совсем мокрая.

Но она уже нащупывала в темноте кровать. Стукнули о пол туфли. Я закрыл глаза. Сцена у меня в голове тут же ярко осветилась.

— Мне достаточно и перины. Одеяло хотя бы возьмите.

Я встал из кресла. Ева, закутавшись в перину, жалась к стене. Одежду она не сняла.

На широкой французской кровати свободного места оставалось больше половины. Я снял башмаки, пиджак, галстук и лег, плотно завернувшись в одеяло. Ева повернулась ко мне спиной.

— Вам не холодно? Спокойной ночи, — сказала она в стену.

Мне было холодно. Я надеялся, что, если я лягу, безумный спектакль в голове закончится. Не тут-то было: сейчас-то он и набрал настоящий темп. До какого-то момента я думал: ничего страшного, обычные фантазии, разве что поживее, поярче. Но с подобной назойливостью и яркостью я имел дело впервые. И с подобной скоростью тоже. Я был просто смят и раздавлен... Я, молодой ученый, стоял на какой-то головокружительно высокой трибуне и ораторствовал перед толпой, огромной, как Атлантический океан; потом, верхом на коне, с дымящимся револьвером в руке, взлетал на мост через Шио, откуда, однако, открывался вид не на Озору, а на далекий, сказочно красочный Деш. Я перевернулся, лег ничком. Видения понеслись так стремительно, что стали сливаться и путаться. Теперь, ради разнообразия, амбициозный юный ученый занимался в лаборатории чем-то невероятно важным, на нем был белый халат, и он только что, между делом, изобрел лучи смерти. В дверях стеснительно переминалась с ноги на ногу депутация, прибывшая, чтобы его приветствовать. Наконец депутация протиснулась в лабораторию, но теперь это была уже группа крестьян — они пришли благодарить меня, своего помещика! Он скупил все плодородные земли в Венгрии и сейчас объявил, что раздает их бесплатно! Вот он стоит рядом со своей юной женой, у нее выпуклый лоб и большие, орехового цвета глаза, вокруг них целый выводок детишек; он улыбается: да, он собирается прожить жизнь простым хлеборобом. Я стиснул зубы. Господи, долго мне еще быть зеленым юнцом? Долго еще будет длиться это мучительное унижение? Помещик пожимает крестьянам руки. И снова готовится выступить с пламенной речью... Как мне покончить с этим хлыщом, который так подло выдает меня с потрохами? В нетерпении я повернулся на спину, потом — на другой бок. И — оказался вплотную около Евы.

И тут произошло странное.

Я обхватил Еву за плечи и изо всех сил, отчаянно — так утопающий борется за свою жизнь — прижал ее к себе. Но было поздно. Подступившие к горлу рыдания я уже не мог удержать. А когда взял себя в руки, меня стало трясти. Озноб бил меня с такой силой, что я не мог успокоиться, даже стиснув зубы.

Злость на того, кто прятался внутри меня, распирала мне грудь. Чертов хлыщ, пустышка, зеленый мечтатель! Чего ему теперь-то от меня надо. Ведь я знаю, чувствую: все это — пошлая, слюнявая комедия. Я рывком сел на кровати.

Ева тоже села. Она гладила мне лицо, целовала где-то около уха, плакала. Я вскочил с кровати, надел в темноте башмаки.

— Мне надо идти, — сказал я.

— Я тоже пойду! Который час?

Она еще всхлипывала. Я чиркнул спичкой.

— Пять.

— Метро уже открыто.

Я не стал ее ждать и ушел.

Было еще темно, но от рынков уже доносился звук колес: подъезжали повозки с овощами и зеленью. Голова у меня прояснилась, но мыслей в ней не было. Я шел куда-то, без всякой цели, но все-таки в определенном направлении, словно то, что определяло мои поступки, погрузилось в глубинные сферы, глубже, чем сфера мышления. Я перешел Сену; передо мной была площадь Бастилии. Миновал улицу Шарантон, прошел вдоль бесконечной улицы Монтрей, пересек площадь Насьон. На улице Федэрб я узнал ту бойню, перед которой нас однажды остановило полчище крыс. Лишь тут я понял, куда направляюсь, что за тайная потребность вела меня до сих пор. Но к этому моменту я уже стоял перед домом, где жила Анна.

Подъезд был еще закрыт. Наконец вышел какой-то жилец; он открыл дверь своим ключом, но тут же и захлопнул ее за собой. Впрочем, я все равно не посмел бы войти. Я ходил взад-вперед перед домом. Анне на работу к семи. Из дому она выходит в четверть седьмого. Ждать оставалось недолго.

Дверь подъезда теперь все время была открытой. Вышел зять Анны.

— Могу я поговорить с товарищем Орос?

— Что-то много народу интересуется ею со вчерашнего вечера! — сказал он, поглядев на меня. Но все же вернулся в дом. — Сейчас выйдет; только накинет на себя что-нибудь, — буркнул он, появившись снова.

Светало; пока это был лишь полумрак, в котором едва можно было что-нибудь видеть. И в полумраке этом расползался плотный холодный туман. Уличные фонари еще горели.

Вышла Анна; голова ее была не покрыта, пальто лишь запахнуто на груди. Ноги она, не надев чулки, сунула в туфли на высоких каблуках. Но под мышкой была женская сумка, с которой она не расставалась. Лицо выглядело бледным, измученным. Но на нем, когда она поздоровалась со мной, была тихая улыбка, с которой она тоже не расставалась.

Кому из нас начинать разговор, кому надо сказать больше?

— Я тебя искал вчера вечером, — начал я. — Хотел все объяснить. Даже если бы ты после этого рассердилась и навсегда меня прогнала.

Мы шли по улице. Тротуар был покрыт слоем серого инея, ноги оставляли на нем черные следы. Больно было видеть маленькие ноги Анны в тоненьких туфельках, ступавших по измороси и ледяным лужицам. Женщины в эти годы носили очень короткие юбки. Голая кожа на ее щиколотках покрылась от холода красными точками.

— За что мне сердиться-то на тебя? — сказала она как бы между делом.

— За те дурацкие стихи. Я же тебя перед всеми ославил!

— Ах, — сказала Анна таким тоном, словно ей было досадно, что я вообще говорю о такой чепухе.

— Хочешь, попрошу у тебя прощения? Или — что мне еще сделать?

Я хотел сказать, что согласен на все, чтобы искупить свою вину.

Она печально мне улыбнулась. Словно жалела, что я озабочен такими вещами. Ее душа полна была чем-то иным.

Рыцарского благородства во мне не было ни капли. Я рассказал ей о визите Евы.

Мне показалось, в тот момент, когда я упомянул, что Ева провела у меня ночь, в грустноватой улыбке Анны мелькнула искорка озорной иронии.

— Вот как, — сказала Анна, но видно было, что это не очень ее задевает.

— Я слыхал, ты вчера с Карачонем ушла, — сказал я, не удержавшись от судорожного глотка.

Она помотала отрицательно головой.

— Бодор говорил, что Карачонь приходил за тобой! — продолжал я, чувствуя облегчение от того, что можно перейти в наступление. — Он попросил тебя вызвать. Мне до этого никакого дела нет. Делай что хочешь. После всей этой истории имеешь полное право...

Она остановилась. Прижимая локтем к груди пальто, чтобы не распахнулось, она вынула свою сумочку из-под мышки. Вокруг нас на тротуаре звучали шаги: улица незаметно наполнилась прохожими. Это была характерная для окраины большого города утренняя картина: множество людей большими шагами спешили, почти бежали наперегонки в одну сторону — к ближайшей станции метро.

Анна открыла сумку и сунула в руки мне сложенную венгерскую газету. Я не мог понять, что это должно было значить. Анна сама нашла страницу, которую я должен был прочитать.

В те времена чуть ли не каждый месяц пресса поднимала шум, сообщая о каком-нибудь "грандиозном и чрезвычайно опасном", "охватившем своими щупальцами всю страну" тайном заговоре, чью цель, "свержение существующего строя", и чье "сенсационное разоблачение" газеты подавали с помощью набора стандартных оборотов — тех же самых, что использовались при раскрытии нашего заговора. Этот случай был похож на все предыдущие.

Я глянул на огромные кричащие буквы заголовка, пробежал глазами вводную статью, полную демагогии; я искал главное — имена; имена тех, кто был схвачен на этот раз.

Имен была целая охапка. Но сплошь незнакомые. Зато следующий абзац перехватил мне дыхание.

"Из окруженного полицией дома все же ухитрились бежать два преступника: Имре Карачонь, рабочий-металлист, 25 лет, и раненый Ласло Венцель, студент, 21 года. Они, как считают в полиции, и были организаторами дьявольского заговора; ожидается, что в течение нескольких часов их разыщут и схватят".

Я не мог вымолвить ни слова. Но потом, с восстановившимся дыханием, я словно вдохнул и добрую порцию надежды. Венцель-то уж как-нибудь вырвется! Да и Карачоня вытащит!

Но слов я все еще не находил. Карачонь и Венцель вдруг так живо встали передо мной, как я не видел их, даже стоя лицом к лицу. Новость ошеломила меня. Я смотрел куда-то поверх головы Анны; на топорщившихся прядях наспех причесанных волос золотыми бисеринками поблескивал осевший туман. Я еще не успел обдумать как следует то, что узнал: на меня давило другое. Я все еще видел перед собой Венцеля и Карачоня. Вернее, не то чтобы — перед собой; неточно и слово "видел". В глазах и ушах у меня были не гордый греческий профиль Венцеля, не четкий, неторопливый голос Карачоня. Они сами, всем своим существом, всей своей судьбой были растворены во мне. Если бы я мог обнять их, стиснуть в объятиях, то и тогда бы не ощущал полнее, кто и что они для меня. Из книг я очень даже хорошо знал, что истинное знание философия называет отождествлением. Но — в книгах — это было мне не очень понятно. Не о том ли шла речь в данном случае? Это было словно удар молнии: так неожиданно и так исчерпывающе, казалось мне, я узнал этих двух человек.

Я взял Анну под руку, чтобы вести ее дальше. И в то же мгновение отпустил. Лишь спустя некоторое время я наконец заговорил.

— Что у тебя было с Карачонем?

Задав этот для меня самого неожиданный вопрос, я узнал больше, чем надеялся узнать из ответа. Вопрос разоблачил меня в собственных глазах полнее, чем в глазах Анны.

— Ничего. Он был хорошим товарищем, — просто ответила Анна.

— Я имею в виду: что тебя с ним связывает?

— Он — умный, порядочный парень.

Потом, после некоторой паузы, словно по инерции, словно в том эпизоде с гормонами, добавила:

— Настоящий товарищ!

Но тут до нее дошло, что в вопросе моем было нечто большее. Она смутилась, взяла меня под руку; так мы прошли несколько шагов. Она заглянула мне в глаза.

— И мысли же у тебя, я погляжу! Чего там только нет, в твоей голове!

Однако теперь и она отпустила мою руку.

Вот когда я мог бы поговорить с Анной начистоту, все до конца прояснив. Сколько всего я высказал бы ей, накипевшего на сердце; высказал бы наконец-то — свободно, без примеси фальши. Я с восторгом смотрел на нее, невольно отступив на шаг, чтобы видеть полностью.

Улицы становились все более людными. Несколько человек, торопясь, прошли между нами.

— Работать все равно надо, — сказала Анна.

Она, это видно было, озябла. Мы расстались.

У меня еще было время, чтобы вернуться домой. Но назад я тоже пошел пешком. Я забыл о времени, забыл о переплетной мастерской. Движение густело и на мостовой: повозки, авто, трамваи. Я свернул с бульвара Дидро, шагая по тихим, заброшенным переулкам. Я шел, углубившись в себя, без мыслей, но все же такой переполненный чувствами, словно я один стал четверыми сразу: кроме себя — еще и Венцелем, Карачонем, Анной. Такова уж вмещающая способность юной души.

Придя в гостиницу, я прошел мимо окошка портье. Ключ висел на своем месте, на гвоздике.

— Un petit billet pour vous[1], — сказала мадемуазель Дестийё сдержанно и негромко, в полных доспехах своей чопорной вежливости.

Petit billet оказался телеграммой из Венгрии. Удивить меня ничто уже не могло. Я двинулся вверх по лестнице, но круговое движение в этом узком, как штопор, колодце после пятого этажа оказалось выше моих сил. Я сел на ступеньку и разорвал ленточку, которой заклеена была телеграмма.

„Во вторник встречай на станции — Фери".

Такие телеграммы мы обычно посылали домой, возвращаясь из города: ждите на станции с телегой. Что-то тут было не так. Я вскочил на ноги: Господи, сегодня же вторник! Я любил своего старшего брата, но сейчас мне хотелось, прижимаясь к стенам, выбраться, незаметно для всех, из города — куда угодно, хоть в межпланетное пространство. Меж нами будет настоящая битва. Готов ли я к ней? Я почти зримо видел, как стучит по рельсам, подъезжая все ближе, поезд, везущий Фери, везущий Озору! Прогремев сумасшедше по маленьким и большим станциям, на-

1. Тут для вас письмецо (*франц.*).

рядный восточный экспресс напористо, как на ипподромном финише, несся в сереньком утре Шампани к Парижу! Ярко высвеченная вереница вагонов, словно ряд домов с освещенными окнами, и станет в своем неудержимом стремлении главной улицей Озоры, явившейся за мной, чтобы забрать меня и увезти на родину.

Что могло меня защитить? Что могло стать моей крепостью?

Я вышел на улицу.

На меня вдруг заново обрушилось все, что происходило со мной за то время, пока Париж врастал в меня, становясь моей малой родиной. Я попытался привести в порядок воспоминания.

Но все события, как мне в этот момент показалось, находились на равном расстоянии от меня, и от этого весь минувший год приобрел облик некоего круга. Я даже остановился. У меня было ощущение, что я нахожусь на арене цирка, по которой вокруг меня несутся невиданные, порожденные фантазией животные, а на спинах у них акробаты и клоуны выполняют головоломные трюки.

Тротуар под ногами стал белым. Это был снег. Снег — в Париже! Но тем чернее были следы, которые оставляли на нем шаги прохожих. Снежок был слабым и сразу таял.

Прошел год, как я уехал из дома.

Да, не более чем за год все, что было со мною, слилось в один круг (в круг, который с этого дня будет неостановимо вращаться в моей голове); теперь должны начаться настоящие события.

Постскриптум, написанный в 1970 году

Открывая эту книгу, читатель, конечно, обратил внимание, что за титульным листом следует еще один лист, пустой, с одним-единственным словом: "Панорама".

Это значит, что автор планировал написать несколько книг, целый цикл, и "Гунны в Париже" должны были стать первой, вводной к ним частью.

Да, я готовился создать цикл романов; а в книге, которая служила к ней увертюрой, собирался обрисовать лишь место действия, дать почувствовать атмосферу времени, господствующее в те годы состояние душ. Все три цели казались мне даже более интересными, чем заключенная в них — тоже задуманная как роман с продолжением — история человеческих отношений. Ведь местом действия был Париж — средоточие и колыбель новейших явлений европейской духовной жизни. Временем действия — эпоха между Первой и Второй мировыми войнами, самый поучительный период этой духовной жизни, интенсивный накал которого отбрасывает яркий свет далеко вперед и назад. Состояние душ в тот период характеризовалось брожением, лихорадочным поиском, когда во всеобщем распаде, стимулируемом по крайней мере с двух сторон, складывались новые центры тяготения, формировались новые единства; когда, высвобождаясь в ходе стремительных перемен, духовные силы, подчиняясь извечному инстинкту человеческой солидарности, порождали новые формы, новые способы взаимодействия.

Молодые художники, подгоняемые неслабеющей жаждой учебы, способны чуть ли не ежедневно заполнять по нескольку альбомов реалистическими (или абстрактными) набросками и эскизами — трофеями своих наблюдений (или фантазий); подобное рвение и меня побуждало

фиксировать на бумаге как можно больше фигур, собирать настоящую коллекцию моделей, которые станут потом, может, главными, а может, проходными героями.

Обычный удел альбомов, заполненных такими набросками, сделанными торопливой юной рукой, — десятилетиями пылиться в самом темном углу мастерской, где-нибудь за ненужными рамами. Но иногда случается чудо. Годы, просто благодаря тому, что протекают над ними, облагораживают их; так песок подвала, в котором закопаны бутылки, облагораживает их содержимое. Мы знаем немало великих художников, на чьи, заполненные беглыми набросками, альбомы и папки — когда они обнаруживались к концу их творческого пути — знатоки взирали как на нежданно-негаданно найденный клад, а сам мастер — как на целебный источник, омолаживающий дух и тело.

Мое рвение подстегивала не только юношеская жажда рисовать и рисовать. Меня торопило само время: оно настойчиво сигнализировало об опасности, о близкой гибели, о катастрофе, грозящей уничтожить весь наш мир. Все чаще, все громче звучали суровые обвинения, затем публичные — эффектно звучащие — приговоры. И не только в адрес идей, не только в адрес так называемых "западных" духовных и общественных движений, что были особенно популярны на французской земле. Но и против Франции в целом; против Западной Европы в целом.

Уже шла Вторая мировая война, уже пал Париж, когда однажды вечером меня усадила за стол, заставив написать первые страницы этой книги, не столько даже охота к письму, сколько страх, некое внутреннее стеснение. Борьба идей, во всемирных масштабах, еще далеко не завершилась. Тот дух, которому — если речь идет о Париже — удивительно подходит старинное выражение "genius loci", еще не постигла столь же суровая судьба, что постигла город: дух спасся из него, улетел, ища на бегу убежище. Так исчезли из города — и из моего поля зрения — бывшие мои товарищи по идейным увлечениям и спорам: мои учителя, которые учились и у меня, мои ученики, которые и меня обучали. Многие из них исчезли раньше, внезапно, втайне даже от близких друзей, удалились в сторону испанских полей сражения, многие — навсегда.

Я не был уверен, не исчезнет ли в скором времени, окончательно и бесповоротно, и весь этот мир. Слишком часто постигал меня крах лучших надежд, слишком много я пережил катастроф, разрушающих веру и убеждения; хотя все это не приучило меня — отчасти и уроки событий тут помогли — отказываться служить делу, даже если я видел его безнадежность. Не стану вдаваться в пустые домыслы насчет того, что, собственно, вложило мне в руки перо, что им двигало: желание сберечь память прошлого, упрямство, верность себе, еще что-то?

Под стынущим небосводом одобрительно говорить об искусстве, которое в те годы называли уже не "модерным", а просто-таки "выродившимся", — это было занятие, которое, по-другому и не скажешь, горячило сердце; это и в самом деле было упрямство, но упрямство, омолаживающее душу. А писать о разлетевшихся по всему миру подобно пчелиному рою революционерах-эмигрантах (для которых самым мягким проклятием было тогда: "изменники родины") как о светлых примерах высокой морали, как о залоге будущего возрождения нации, как о людях, в чьей жизни и деятельности опробовались, оттачивались нормы нового общежития, — это требовало немалой смелости, от которой кровь бежала быстрее в жилах. Работа эта стала для меня формой духовного сопротивления; хотя, надо сказать, укрытие я в ней обрел до-

вольно сомнительное. Готовые главы книги публиковались в журнале "Мадьяр чиллаг"[1]. Одну из последних глав я приготовил к печати в марте 1944 года, всего за несколько дней до оккупации Венгрии немцами.

Возвести этажи над заложенным, в соответствии с тем давним планом, фундаментом, — наверное, это был бы мой вклад в ту огромную, для настоящих мужчин, работу по возрождению мира, которая помогла бы забыть ужасы постигшей нас катастрофы. И как только, отстраненный от редакторства, от общественной деятельности, разочаровавшийся во всем этом, я высвободился для письменного стола, это была первая рукопись, которую я к себе придвинул, чтобы продолжить, подвести под крышу то, что вынудили меня в тот мартовский день на долгое время отложить немецкие бомбардировщики, на бреющем полете проносящиеся над Будапештом.

Уже готовый текст, добрых пятьсот страниц, в глазах многих моих друзей достоин был увидеть свет сам по себе, в форме отдельной книги. Так что, мол, нечего ждать, когда будут написаны другие планируемые части, надо издать то и в том виде, что и в каком виде сделано.

Так и случилось.

Что с того, что перед текстом значилось: "Панорама"; что с того, что на последней странице говорилось: настоящие события только теперь и должны начаться! Тогдашняя критика (с близорукостью или, если угодно, подслеповатостью, о причинах которой менее всего догадываются те, кто ею страдает), ссылаясь именно на особенности сюжета книги, поторопилась сбросить ее с той, как раз в те годы воздвигнутой парадной полки, на которой должны были выстроиться новые литературные произведения — пусть их хватит лишь на половину полки, на один ее краешек, — увековечивающие борьбу венгерских трудящихся, венгерских революционеров.

Резко сформулированные на страницах прессы, еще резче — устно (на обычных в те годы обсуждениях, а также в докладах, звучавших с трибун разной высоты), претензии к моей книге сводились к тому, что автор-де рисует своих героев, глядя на них сверху вниз, с намерением вызвать у читателя улыбку, а не сопереживание и тем более катарсис, само же революционное движение изображает не изнутри, а извне, выдвигая на первое место мотивы психологические — даже там, где налицо был диктат исторической необходимости. Самым ошеломляющим для меня был неизменно повторяющийся вывод: книга-де эта есть не что иное, как автобиографический роман, повествующий о том, как писатель поворачивается спиной к рабочему классу, к делу революции. Как раз тогда и сложилась эффектная, до сих пор охотно используемая формула: автор-де наш, простой провинциал с интеллигентскими амбициями, попав в Париж, сближается с миром рабочих, однако, под воздействием эстетствующих и других буржуазных кругов, вскоре отрывается от него.

Это верно: именно там и тогда моя жизнь самым тесным образом сплелась с этим миром, миром рабочих. Но, что скрывать, и половины ложных толкований — в сущности, политических обвинений — было достаточно для того, чтобы я остановил разбежавшееся было перо, закрыл папку, наполнявшуюся заметками, набросками продолжения, и закинул ее на самый верх скромного домашнего стеллажа.

1. "Мадьяр чиллаг" ("Венгерская звезда", 1941—1944) — литературно-публицистический журнал, один из центров духовного сопротивления войне и фашизму, защиты гуманистических ценностей. Дюла Ийеш был одним из редакторов журнала.

Закинул — едва ли не со вздохом облегчения. Книга моя только кажется автобиографическим романом. Да, в общем и целом она строится на материале личных впечатлений, наблюдений за конкретными, из плоти и крови, людей; однако события, которые в ней описаны, мне пришлось изменять, зашифровывать, а главное, давать другие имена изображенным в ней людям. Я не мог позволить дать кому-либо почву и повод для конкретных обвинений, для выражения злой воли. Ведь мои герои в значительной части находились в то время в начале жизненного пути. У меня не было никакого права сообщать такие сведения из их жизни, которые они, из личных ли соображений, в интересах ли дела, не хотели бы делать достоянием общественности.

Пульхера, инициатора имевшего место в Сорбонне — и описанного мною с документальной точностью — скандала, звали на самом деле — Политцер. Он тождествен тому Жоржу Политцеру, которого французские философы середины столетия оплакивают как одного из самых многообещающих своих коллег, а участники французского Сопротивления — как своего выдающегося героя[1]. Первые тревожные вести о его трагической судьбе я получил, уже работая над книгой, — потому и постарался писать о нем как можно меньше: ведь сведениями о нем, о формировании его характера, об идеях, которым он следовал в юности, я мог бы, пожалуй, ему повредить, когда он стоял перед полевым судом.

Почти так же связаны были мои руки, когда речь шла о другом вдохновителе наших споров, также представленном уже в первой главе, — Венцеле. Сегодня он живет среди нас, в атмосфере дружбы и тепла, которые испытывают к нему лучшие представители нашего искусства; узнать его столь легко, что мне ни к чему сообщать здесь его настоящую фамилию[2]. Но в те годы и о нем приходили — если приходили — одни лишь беспокоящие слухи: в дальних-дальних краях он проверялся на прочность в таких испытаниях, выдержать которые не удается порой даже самым стойким. Не только моя фантазия — фантазия ни одного из писателей Европы не была достаточно изощренной, чтобы предвидеть ту череду нелепостей, которые он — а с ним еще не один герой моей книги — пережил в реальности. И — остался жив!

Они исчезли из моего поля зрения, и мало с кем из них мне удалось свидеться.

Что касается женских персонажей, то модель, описанная в книге наиболее подробно — и вместе с тем почти биографически достоверно, — относилась, к моей вящей радости, к числу тех, кого мне удалось позже увидеть. В недавнем прошлом одно из наших издательств преподнесло мне сюрприз — авторский экземпляр антологии рассказов. Под моим именем в антологии значилась новелла с названием "Анна". Я прочитал новеллу, как незнакомое и увлекательное произведение; на самом деле произведение это было делом рук редактора антологии, который взял из моей книги один из фрагментов, изображающих Анну, и присовокупил к ним несколько страниц, которые описывали ее же спустя двадцать лет и там же, в Париже; это были странички из моего путевого дневника, то

1. Жорж Политцер (1903–1942) — французский философ венгерского происхождения; был расстрелян немцами как участник Сопротивления.
2. Имеется в виду Ласло Весели (1904–1978) — профессиональный революционер, публицист. После 1919 г. был в эмиграции (Германия, Франция, Бельгия), затем перебрался в СССР. В 1938 г. был репрессирован. В 1948 г. вернулся в Венгрию, работал в издательствах ("Европа" и др.), переводил художественную литературу с русского и французского языков.

есть опять же материал, лишенный всякого вымысла. Я изумился, насколько цельной, законченной получилась эта новелла, этот дружеский подарок: две ее части, такие далекие друг от друга по времени, выглядели как органическое, великолепно скомпонованное единство. Дело, конечно, в том, что сама жизнь Анны была удивительно цельной, а характер ее — даже среди множества испытаний — органически гармоничным; судьбу свою она создала, выстроила сама, всегда сохраняя душевную прямоту, чувство истины, правдивость, самоотверженность. Каждый раз, когда я бывал в Париже, мы всей семьей гостили у нее, вернее, у них, общаясь с ее мужем и сыновьями. А как рады мы были однажды принимать ее у нас в Тихани! Она умерла недавно, всего несколько месяцев назад; известие пришло издалека, кружным путем, но невероятно близко затронуло нас; Анна — это семейная наша потеря, семейный наш траур.

Некоторые персонажи сами позаботились о том, чтобы читатель узнал, как сложилась дальнейшая их судьба. Задиристые юноши, сочинявшие номер газеты "Труп", в последующем вписали свои имена в историю современной французской литературы, хотя и в далекие друг от друга главы. Один из них, Арагон, стал, как известно, Тиртеем вооруженного национального восстания; другой, Дриё Ла Рошель, сам застрелился, чтобы избежать казни; Кревель, самый смелый и последовательный из всех, расстался с жизнью в трагически противоречивый момент художественной и социальной революции. Элюар вступил в компартию, Кокто — в лоно Церкви, Монтерлан — в Академию... А Тцара, Бретон? И все прочие герои тех лет, юноши с горящими по-мальчишески глазами, чьи первые шаги, чьи нетерпеливые поиски своего пути я наблюдал, находясь, можно сказать, рядом с ними? Я исписал немало бумаги, изображая формирование их личностей, их характеров, особенно тех из них, кто, приезжая в Венгрию, удостаивал своим посещением и своего бывшего неловкого протеже; но все эти попытки осуществлялись не в форме романа, а в статьях или очерках, так что наброски их портретов, которые читатель найдет в этой книге, я могу дополнить лишь в той же степени, в какой портрет Анны дополнен заметками в путевом дневнике, сделанными спустя двадцать лет.

И — еще один человеческий подарок, преподнесенный мне судьбой. Вскоре после появления моей так неприветливо встреченной книги я получил приглашение на новоселье. Подпись, выведенную трясущейся рукой, я не смог разобрать; только улицу, номер дома, квартиру, где меня ждали "на настоящий парижский ужин". В крохотной передней нового жилого микрорайона в Обуде меня встретил — кто бы вы думали? Дядя Бодор, совсем дряхлый, сгорбленный, с трудом ориентирующийся; его поддерживала лишь броня ветеранской роли да, может быть, прежний умный юмор. А на празднично накрытом столе, в парадном фарфоровом блюде, дымилась горячая картошка с паприкой, источая те самые, неподдельно венгерские ароматы, которые тетушке Бодор каким-то чудом удавалось сотворить в парижском пригороде Сент-Антуан.

Джон Апдайк
Памяти Р. К. *Нарайана*

Два эссе о творчестве Нарайана

Нарайан вошел в нашу жизнь достаточно рано, можно сказать, в начале своей славы — и сразу форс-мажорно: романом "Гид", который по сей день многие считают его лучшим произведением[1]. За "Гидом" последовали другие романы — "Людоед в Мальгуди", "Продавец сладостей", "Художник малюет вывески"[2], рассказы, эссе и, наконец, удивительная по своей лаконичности и глубине автобиография "Мои дни".

Мы полюбили созданный Нарайаном город Мальгуди на юге Индии, где происходит действие практически всех его произведений. Улицы Мальгуди — Базарная, Лоули, Винаяк-Мудали, Элламана, по которым бродили его герои, мечтатели, чудаки, наивные жулики и предприниматели, река Сарайу, где они сиживали, ведя неторопливые беседы и слушая рассказы о появившихся в их краях святых и гуру, Мемпийские горы на горизонте стали для нас чуть ли не так же реальны, как окружавшая нас действительность. И мы не удивлялись этому: редкий дар писателя превратил далекую, непонятную и "экзотическую" страну в близкую, понятную и чуть ли не до боли знакомую, "свою".

Такую индийскую литературу мы не знали. Описание жизни соплеменников в разных ее проявлениях, проникновение в их мысли и чувства соединяются в творчестве Нарайана с тонким юмором и иронией, дистанцированностью от изображаемых событий и лаконичностью. Читая его рассказы, вспоминаешь знаменитое чеховское: "Вот пепельница... Хотите, напишу вам о пепельнице?" Чехова Нарайан знал и любил с ранней юности.

Восток и Запад — эта тема занимает писателя в самых различных ее поворотах, бытовом, психологическом, политическом, философском. В одном из поздних его рассказов "Конь и две козы", в котором беседуют не знающие языка друг друга проезжий американец и нищий пастух, она получает почти символическое воплощение.

В советские годы мы успели перевести многое из Нарайана, однако лучший, на мой взгляд, его роман "В ожидании Махатмы" так и не вышел на русском языке. Сначала мешала тема — ведь это роман о Махатме Ганди и о том, как преломлялись его идеи в умах людей "из глубинки". Потом издатели стали как-то чураться Востока. Впрочем, сейчас, кажется, это проходит... Роман переведен — и ждет своего часа.

© John Updike, 1994, 1975
© Н. Демурова. Перевод, вступление, 2003

1. "ИЛ", 1960, № 6, 7. Перевод с английского И. Бернштейн и Н. Демуровой. По-русски роман был опубликован под названием "Святой Раджу", что придало ему, увы, излишне прямолинейный характер. До сих пор не могу себе простить, что мы согласились на изменение заглавия, поддавшись на доводы редакции и М. Ф. Лорие, которую глубоко чтили и которая была нашим редактором. (*Здесь и далее во вступлении – прим. Н. Демуровой.*)
2. См.: "ИЛ", 1964, № 2; 1969, № 1, 2; 1978, № 10, 11.

В 1964 году Нарайан приезжал в нашу страну, и нам представилась возможность познакомиться с ним лично. Как-то я повезла его в Архангельское; при входе в парк нам встретился Александр Пятигорский. Обрадовавшись этой случайной встрече, я представила их друг другу. Услыхав имя писателя, Пятигорский переспросил: "*Тот самый* Нарайан?" А затем повернул с нами в парк. Встреча эта и последовавшая за ней беседа произвела на Нарайана глубокое впечатление. Я же запомнила необычайную простоту "*того самого* Нарайана" и то чувство уравновешенности и спокойствия, которое охватывало тебя в его присутствии. И еще разговор, происшедший у нас накануне его отъезда. Я спросила Нарайана о Грэме Грине (Грин первым начал печатать незнакомого ему индийского писателя) и о романе самого Нарайана "Учитель английской словесности", где герой общается — сначала через медиума, а потом и без его помощи — со своей умершей женой. Нарайан ответил коротко: "Так оно и было". У нас этот роман не переводился; в Соединенных Штатах он вышел под измененным названием "Благодарный жизни и смерти". Позже Нарайан описал этот эпизод в своей автобиографии.

Два эссе Джона Апдайка, я думаю, послужат наилучшим способом почтить память Р. К. Нарайана, которому столь многие из нас обязаны моментами прозрений, испытываемых нечасто и только при чтении большого писателя.

Индия идет своим путем

R. K. Narayan. *Malgudi Days.* Viking. 1982

Р. К. Нарайан. *Дни Малъгуди.* Вайкинг. 1982

В книге "Индия: Раненая цивилизация" (1977), дающей трезвый анализ ситуации в стране, из которой вышли предки автора, В. С. Найпол посвятил несколько глубоких и прочувствованных страниц Р. К. Нарайану, крупнейшему англоязычному писателю Индии. Он признает за Нарайаном огромный талант "прирожденного писателя, настолько естественного, настолько верного своему опыту и чувствам", что даже менее удачные из его романов служат ключом к пониманию того общества, в котором он живет. За книгами Нарайана он признает также особую связь со своим собственным опытом: "Изображаемая им Индия с ее колониальным аппаратом странным образом походила на Тринидад моего детства. Его интуитивное понимание сути этого аппарата и тех, кто приводит его в действие, было близко к моему; в индийской жизни, описываемой в его романах, я слышал отзвуки жизни индийской общины на другом конце света, к которой я принадлежал". Что это были за отзвуки? "[Мы] были жителями колоний, людьми порабощенными, которые научились жить с мыслью о порабощении. Мы жили в этом мире, переставшем быть просторным; мы даже делали вид, будто он остался таким же, как прежде, ибо мы забыли о том, что прежний порядок был разрушен до основания. Беспорядки, нестабильность, развитие – все это было где-то еще; мы же, потерпевшие поражения в войнах и удаленные от крупных событий, жили покойно". В ранних романах Нарайана, отмечает Найпол, "сами британцы находятся где-то далеко, об их существовании свидетельствуют лишь учрежденные ими банк да миссионерская школа. Автор наблюдает более скромную жизнь, текущую подспудно: маленьких людей, скромные планы, громкие разговоры, ограниченные средства, – жизнь, настолько замкнутую, что она кажется цельной и ненарушенной, и самая ее убогость и малость никого не удивляет, хотя все чувствуют, что Индия огромна".

С некоторыми поправками то же можно сказать о ранних романах самого Найпола, действие которых происходит в Тринидаде, – начиная с "Таинственного массажиста" (1957) и "Дома для мистера Бисваса" (1961). Но Найпол не остался в Тринидаде: в семнадцать лет он отправился в Окс-

форд и Лондон, а ныне странствует по свету словно некий темнокожий англичанин, чьи произведения – как статьи, так и романы о различных континентах и субконтинентах "третьего мира" – отличаются глубиной, убежденностью и той яростной правдивостью, которые недоступны путешественникам с более бледным цветом кожи. Твердо и даже жестко отвергая все разговоры о мистическом предназначении слаборазвитых стран, он склонен обвинять колонизированные некогда народы в лени и заблуждениях, с которыми они никак не желают расстаться, и высказывает свои мысли с прямотой, которую не мог бы себе позволить ни один из рожденных в здешних широтах честных европейцев, представляющих европейскую цивилизацию. Среди интеллектуалов, которых нам дал "третий мир", Найпол занимает диаметрально противоположную позицию по сравнению с Нарайаном, у которого каждая страница дышит фаталистическим спокойствием; в 1961 году, встретив своего младшего собрата в Лондоне, Нарайан сказал ему просто: "Индия будет идти своим путем". Посетив на следующий год Индию, Найпол признался: "...романы Нарайана не подготовили меня к царящей там нищете" и пояснил, почему:

Он пишет слишком хорошо. Его комедии принадлежат к произведениям того рода, которые требуют ограниченного социального пространства со строго определенными правилами... Однако действительность была страшна и жестока. Индия его книг казалась доступной; реальная Индия оставалась закрытой. Погрузиться в мир Нарайана, ощутить упорядоченность и непрерывность традиции, которую он видит в распаде и убогости Индии, согласиться с его ироническим приятием этого положения и наслаждаться его комедией значило бы игнорировать слишком многое из того, что я увидел, и во многом отказаться от самого себя: от моего исторического чувства и даже от простейшего понимания человеческих возможностей. Я не перестал восхищаться Нарайаном; но я почувствовал, что его комедия и ирония – не совсем то, чем они кажутся на первый взгляд, это часть индуистского ви́дения мира, ви́дения, которое я не могу больше принимать.

Вышедший недавно сборник рассказов Нарайана "Дни Мальгуди", похоже, иллюстрирует это "индуистское ви́дение мира". Даже на оформленных по просьбе автора форзацах нарисована карта, составленная для академического труда под названием "Город Мальгуди как выражение упорядоченного индуистского космоса". Авторское введение не только проникнуто спокойным приятием сегодняшней Индии ("Приятно жить в обществе, которое не подверглось стандартизации или механизации и свободно от монотонности. В таких условиях автору достаточно выглянуть в окно, чтобы найти героя"), но в нем чувствуется добродушная улыбка, с которой писатель оглядывается на дом 3 по Уэст-стрит, где, начиная с 1959-го, он жил "месяцами, приезжая время от времени в Нью-Йорк". К удивлению читателя, Нарайан пишет: "Даже в Нью-Йорке я встречаю персонажей из Мальгуди... памятники и люди все те же – вон пьяница отдыхает на ступенях синагоги, вон магазин вывесил объявление, яркими красками возвещающее: *Все наши товары должны быть проданы* в *течение этой недели*... Все на своих местах, как и прежде, все знакомо и дышит непоколебимой устойчивостью".

В этих рассказах индуизм нередко составляет основу самой ткани повествования: в одном из них, озаглавленном "Исваран", юный студент настолько погружается в видения "тамильского фильма, в котором участвуют все известные боги", что позволяет воображаемому коню погрузиться вместе с ним в реку и тонет; в другом, под названием "Змеиная песнь", герой с таким вдохновением играет на флейте, что вызывает бога Нага Раджа – огромную черную кобру, которая заставляет его повторять ту же песнь всю ночь напролет. Среди разного люда, заполняющего узкие улицы Мальгуди, немало астрологов и заклинателей, и многие из персонажей живут, погрузившись в трясину праздных размышлений, не вызывая при этом неодобрения автора. В этих рассказах просвечивает не-

кое кроткое равнодушие, и это приводит к тому, что порой заканчиваются они неубедительно: "Раман понял, что сон его кончился, нашел выход из зала и отправился восвояси, к песчаному берегу реки Сарайу". Написанные ранее рассказы, особенно те, которые были отобраны из сборников "День астролога" (1947) и "Улица Лоули" (1956), отличаются краткостью и легковесностью басен, а также известной приглаженностью, заимствованной, возможно, из английских журналов типа "Стрэнд" или "Меркури", которые, как рассказывает Нарайан в своих воспоминаниях, увлекали его в юности, что и привело к первым попыткам писать.

При всем том было бы несправедливо утверждать, будто бедственное положение Индии не находит отражения на страницах сборника "Дни Мальгуди" или что автор отводит взгляд от царящей в стране нищеты. Во многих рассказах речь идет о людях, которым достаточно лишь нескольких рупий в день — или даже одной рупии (что составляет около десяти центов), чтобы спастись от голода. В "Наге" описан десятилетний мальчик, которого бросил отец — заклинатель змей, оставив ему восемьдесят пайс мелочью (восемь центов) да старую змею, которая слишком слаба для того, чтобы произвести впечатление на уличную толпу. "Никто тебя не боится, — говорит мальчик змее, — и знаешь, что это значит? Я голодаю, вот и все". В рассказе "Памятник" описано разорение булочника, когда на излюбленном им перекрестке, где он продает свой товар, сначала вспыхивает бунт, а потом появляется памятник. Героиня рассказа "Добровольное рабство" — запуганная нянька, которой платят так: "Она получала еду два раза в день, пятнадцать рупий в месяц и три новых сари в год"; герой рассказа "Собака-поводырь" — нищий слепец, поймавший и мучающий бродячую собаку; такая же обездоленная, как и он, собака возвращается к нему в рабство, после того, как злобная толпа освобождает ее (это особенно жестокий рассказ). "Сорок пять в месяц" повествует о мелком чиновнике, который так измучен бесконечной работой, что почти не видит свою дочку и не может повести ее, как обещал, в кино. "Лучше бы мне с семьей умереть с голоду, чем столько работать за жалкие сорок рупий в месяц, которые вы мне платите вот уже столько лет!" — восклицает он, но его протест приводит лишь к тому, что он получает мизерную прибавку. "Кот в горшке" рисует, правда в комических красках, ужасы коммунального быта; "Топор" — садовника, посвятившего всю свою жизнь старому особняку и саду; его грубо вытесняет компания, намеревающаяся построить на этой земле "десятки домишек, не оставив места даже для травинки". В "Острие" с симпатией изображен бродячий точильщик ножей, а в рассказе "Зеленый блейзер" — карманный вор: и тот и другой должны содержать семью. Украв кошелек, вор "вынул деньги, отшвырнул кошелек и отправился домой, довольный, что на сегодня выполнил свой долг... Он покупал сласти, книжки и грифельные доски для детей, а порой и отрез жене на кофточку". Даже сравнительно обеспеченные персонажи остро ощущают финансовые затруднения, особенно когда надо выдавать замуж дочь. В этом однообразном, нищенском существовании любая трата становится тяжким испытанием. Дважды Нарайан использует в комических целях тему громоздкой собственности: в "Паровом катке" рассказчик выигрывает на ярмарке паровой каток — избавиться от него ему поможет лишь землетрясение; а в "Улице Лоули" герой приобретает чрезвычайно солидную, но неудобную (в политическом смысле) статую британского администратора в центре Мальгуди[1]. В этих рассказах одна лишь популярная певица Селви обла-

1. Комизм ситуаций в двух этих рассказах выдержан в индийском стиле: сдвинуть паровой каток с места может лишь ассистент Свами, который должен проехать на нем по своему хозяину, демонстрируя его йогические силы; судьба же статуи меняется, когда оказывается, что ее оригинал был не обыкновенным колониальным угнетателем, а "первым англичанином, который советовал британскому парламенту привлекать все больше индийцев к решению индийских проблем". (*Здесь и далее – прим. автора.*)

дает огромным состоянием, но и она кончает тем, что со смертью матери отказывается от карьеры и возвращается в свои старые комнаты в трущобах Мальгуди: "Моя мать была моей наставницей; здесь она учила меня музыке, здесь жила и умерла... Я тоже буду жить и умру здесь; то, что было хорошо для нее, хорошо и для меня".

В рассказах Нарайана нищета присутствует, но не вызывает ужаса; автор проявляет снисхождение к "заброшенности и убогости" и даже, как утверждает Найпол, наслаждается ими. "Дни в Мальгуди" настолько свободны от всякого протеста, что приводят на ум замечание Найпола, сделанное им позже в его обличительном портрете Индии: "...социальный анализ находится за пределами индийской традиции; журнализм в Индии всегда считался приятной разновидностью секретарской или чиновничьей работы". Если что и вызывает ужас у этих милых клерков в рассказах Нарайана, то только новое, современное, реформаторское. В своем последнем романе "Художник малюет вывески"[1] Нарайан высмеивает семейное планирование, ставя его пропагандистов в смехотворные положения эротической комедии, а в рассказе "Острие" он представляет программу по стерилизации населения, возвращаясь снова и снова к описанию безумно острых ножей, от которых в ужасе бежит герой — немолодой отец семерых детей.

В рассказе "Бог и сапожник" сапожник с улицы Лоули с удовлетворением наблюдает превращение иностранца — американского пилота, бомбившего Вьетнам, в нищего хиппи. Сапожник думает, что хиппи, возможно, — бог; хиппи смотрит по сторонам и с радостью дивится тому, что "никто не протестует против пыли, шума и превратностей беспорядочного уличного движения". "Хиппи был поражен тем, что жизнь здесь принималась во всей ее полноте". В рассказе "Второе мнение" молодой человек, эмансипировавшись благодаря досугу и тайному чтению западных философов из отцовской библиотеки (он слышал о книге, в которой Индия называется "раненой цивилизацией"), кончает тем, что соглашается на выполнение сыновнего долга и устроенный родителями брак. Все эти поздние рассказы, которые не включались в другие сборники, более пространны и сложны, чем рассказы ранних лет. Нарайан-индуист не меняется. В рассказе "Эмден", последнем и одном из лучших в сборнике, очень старый и когда-то могущественный человек выходит из дома с кулечком джилеби (сластей) для своей возлюбленной, забыв о прошедших с тех пор пятидесяти годах. Он путается: улицы изменились; он тычет палкой в серую дворнягу, свернувшуюся в пыли и, когда та огрызается, роняет кулек. Дворняга хватает джилеби и убегает. Эмден утешается мыслью, что, возможно, давно исчезнувшая возлюбленная перевоплотилась в собаку.

Такова жизнь; такой, по крайней мере, видит ее Р. К. Нарайан в созданном им Мальгуди. С завораживающим даром и несомненным сочувствием к своим героям он показывает нам не "жестокую и всесокрушающую" реальность, а, как правило, вполне правдоподобную жизнь. Маленькие люди ищут спасения среди лишенной всякой надежды людской массы, приводящей приезжих репортеров в отчаяние. Возможно, какой-либо новый Толстой или Сервантес могли бы представить Индию более полно, без того налета спокойствия и иллюзорности, которые сообщает ей индуистская настроенность Нарайана. И все же в этих простых историях о нищете и примирении с несчастьем чувствуется тот же социальный протест, что и в таких классических рассказах, как "Горе" Чехова, "Дары волхвов" О. Генри или "Ненастоящий черномазый" Флэннери О'Коннор: изображать нищету зна-

1. Его герой, Раман, вновь появляется в рассказе "Голодный ребенок", где действие происходит на местной ярмарке с двусмысленным названием "Экспо 77 — 78". Раман прогуливается по ярмарке, размышляя о том, забеременела Дейзи или нет, и сожалея о том, что она исчезла из его жизни вместе с тетушкой: "День за днем пустота, ничего не планируешь, ни на что не надеешься... дом опустел и совершенно заброшен, никакой жизни — даже воробьи, видно, улетели..."

чит поднять против нее голос. Роману, собственно говоря, крайняя бедность героев мешает; с бедняками ничего особенного не происходит, их усилия слишком однообразны и безнадежны, они не могут себе позволить той любви и нравственных сомнений, которые составляют содержание романа. Однако рассказ, словно зажженная спичка, выхватывает из тьмы человеческие лица и обнажает глубины, недоступные статистике. Все люди сложны, удивительны и достойны сострадания — такова, как мне кажется, мораль Нарайана, к которой трудно что-либо прибавить. Широтой социального охвата и умением представить все население страны в целом он намного превосходит большинство американских писателей, которых можно еще обвинить и в том, что они "игнорируют многое, что открыто глазу". Американская литература занята в основном любовными и моральными проблемами молодых людей из верхнего слоя среднего класса; приехав в Нью-Йорк, человек, прочитавший, к примеру, рассказы Энн Битти или Дональда Бартелми с тем вниманием, с которым Найпол читал Нарайана, будет совершенно не готов к индустриальным размерам Квинза или к зрелищу черных трущоб Бруклина, к убогому веселью широких авеню и скрытой угрозе боковых улиц, которую ощущаешь с наступлением темноты. Возможно, некоторая склонность к комизму и благовоспитанности была всегда присуща прозаической литературе, которая возникла вместе с буржуазией и все еще зависит от ее покупательной способности; авторам, стремящимся уйти от этой зависимости, возможно, не худо было бы поучиться индуистской терпимости и кроткому живительному состраданию Нарайана.

"Жив и свободен от бесполезных занятий"[1]

R. K. Narayan. *My Days.* Viking. 1974

Р. К. Нарайан. *Мои дни.* Вайкинг, 1974

Строго говоря, у писателя-романиста нет нужды в автобиографии: в своем творчестве он использует материал из собственной жизни, придавая ему различные формы и облики. Читая роман "Людоед из Мальгуди" (только, конечно, не следует принимать его героя Натараджа за его автора — Нарайана), мы узнаем больше о взглядах Р. К. Нарайана и о той Индии, в которой он живет, чем из его лаконичных воспоминаний. Нельзя сказать, что лукавая скромность мистера Нарайана не придает приятной окраски повествованию об этой лишенной особых событий жизни или что реальные факты мешают его восхитительному дару карикатуриста. В автобиографии Нарайана, как и в его романах, мы встречаемся с людьми, настолько поглощенными собственными эгоистичными интересами, что они превращаются в гротескные фигуры и символы. Юный Нарайан, озабоченный поисками места, отправляется на встречу с возможным работодателем, одевшись особенно тщательно, а тот выходит к нему на веранду "обнаженный по пояс, с телом, блестевшим от масла, — он собирался делать массаж; он несколько раз сморгнул, стараясь получше разглядеть меня; масло капало ему в глаза и мешало как следует видеть... Все мои старания, потраченные на прическу и одежду, пошли прахом — в его глазах я, верно, походил на фотографию, снятую дрожащей рукой". Он грубо отказывает юноше и начинает метаться по веранде, "словно толстый медведь в клетке". Вероятно, такая самососредоточенность, когда каждый страстно, пусть даже себе на

1. Здесь и далее цитируется по: Р. К. Нарайан. Мои дни. Автобиографическая повесть. Перев. с англ. Н. Демуровой. В кн.: Р. К. Нарайан. Тигр для Мальгуди. М., 1986. Первая публикация в "ИЛ", 1978, № 10, 11.

погибель, стремится к осуществлению своей дхармы, того, что христиане назвали бы призванием, которая в английской литературе достигла наивысшего выражения у Диккенса, невозможна без религиозной основы. Современный писатель считает, что характеры доступны внешним воздействиям, в то время как традиционные авторы обязательно ищут в своих персонажах застывшего жеста и неизбывной страсти. Нарайан признается, что его дядя был для него "ценнейшим образцом — его подход к людям, неизменная, где бы он ни оказался, агрессивность, его напор и безрассудная отвага... и в особенности его увлечение спиртными напитками всех видов и сортов. (Я изобразил его под именем Кайлас в "Бакалавре искусств"; он же служил мне прототипом всякий раз, когда мне нужно было изобразить подвыпившего человека.)". Со времен Диккенса мало кому из писателей удавались красочные изображения людской толпы, подобные тем, которые создает Нарайан в выдуманном им городке Мальгуди; его персонажи напоминают выбитые резцом фигуры на храмовом фризе, они заполняют его весь, и кажется, будто за углом толпятся другие.

Меж тем жизнь их создателя, описанная в "Моих днях", начинается в одиночестве. Мальчик, живущий с дядей и бабушкой, играет лишь с домашними животными, да и те то и дело погибают. Он поступает в школу и испытывает к ней отвращение. "В первый день я плакал от страха. Меня потряс вид моих соучеников". Он не умеет лепить из глины и весьма неряшливо пишет на грифельной доске. Постепенно он превращается в энергичного участника всевозможных уличных игр, но так и остается трудным, непредсказуемым и нерадивым учеником. "Я возражал против системы, при которой некие бездушные анонимы, в обязанность которых входит отбор учебников, устанавливают обязательные пособия для обучения, против такой системы, при которой человек получает клеймо хорошего или плохого в результате занятий по этим учебникам... Мне нравилось быть свободным, чтобы иметь возможность читать, что я хочу, и не сдавать никаких экзаменов". При сдаче экзаменов в университет он проваливает английский, в котором был сильнее всего. В последовавший за этим год досуга он начинает постигать свою дхарму — свое призвание.

Прочитав дальнейшие чарующие главы, понимаешь: особенность этого призвания заключается в том, что оно исключает все остальные. Поиски юношей места в бизнесе завершаются юмористическими катастрофами; с маниакальным упорством собственных персонажей он саботирует учительские обязанности в школе, где директорствует его отец, — карьеру, которая могла бы обеспечить ему респектабельное положение. Глава, где рисуется властная тупость школьных педагогов, от которой он снова и снова бежит, написана чуть ли не с яростью; последующие главы не так накалены: в них прослеживается медленное продвижение к успеху, наступившее после того, как героем было найдено свое место в жизни.

Это все определило. После того как я занял столь решительную позицию [отказавшись стать учителем], у меня на сердце стало легче и веселее. Я ни с кем не советовался и не вступал ни в какие разговоры на эту тему. Я чувствовал, что это вызывает уважение. Во всяком случае, мои домашние одобряли то, что я знаю, чего хочу. День у меня был строго расписан, график выполнялся деловито и строго. Напившись кофе и совершив утреннее омовение, я брал зонт и отправлялся на прогулку. Зонт был мне нужен, чтобы защитить голову от солнца. Порой я захватывал с собой блокнот и ручку, усаживался в тени дерева у подножия Чамунди и начинал писать. В иные дни я садился на велосипед и ехал миль десять по дороге в Карапурский лес, устраивался у придорожной канавы и писал, а не то размышлял о жизни и литературе, глядя, как крестьянин пашет поле и как блестит на солнце вода в канале. Потребностей у меня не было никаких, я не строил особых планов и радовался тому, что живу и свободен от бесполезных занятий.

По-моему, индийское общество 30-х годов хорошо характеризует то

обстоятельство, что после некоторого вполне понятного сопротивления оно позволило этому юноше, не имеющему перспектив, взбунтоваться против выгод, доставляемых службой; американская семья тех лет скорее всего вынудила бы его отправиться во Францию или погрузиться в богему, удалив тем самым из родной среды, которая питала творчество Нарайана. Вымышленный городок Мальгуди навеян Мадрасом, где писатель вырос, и Майсуром, где поселился. "В сентябрьский день, выбранный бабушкой, ибо он был благоприятен для начинаний, я купил школьную тетрадку и написал в ней первую строку своей повести; я сидел в комнате, кусал перо и размышлял о том, что́ писать, как вдруг у меня перед глазами возник Мальгуди, совершенно законченный и готовый, с крошечной железнодорожной станцией и платформой, по которой бежал некий персонаж по имени Сваминатан". Эта повесть в конце концов вышла в Англии под названием "Свами и его друзья".

Благодаря журналам, которые выписывал отец для школы, литературный Лондон, где царили Шоу и Уэллс, Конан Дойл и Вудхаус, "Стрэнд" и "Меркури", оказался в центре жизни юного Нарайана; к тому же в колониальной Индии было множество выходивших по-английски изданий, правда, невысокого пошиба. (Пишущий эти строки имел однажды возможность спросить мистера Нарайана, появятся ли в современной, националистической Индии, где не приветствуют преподавание английского языка, другие мастера, пишущие по-английски; он ответил учтиво, но не обнадеживающе.) В первый год жизни свободного художника Нарайан заработал девять рупий и двенадцать анн (приблизительно доллар с четвертью); на второй, он получил за рассказ восемнадцать рупий; на третий — тридцать за детскую повесть. Он много работал как корреспондент мадрасской газеты "Джастис"; в Англии почитателем его таланта стал Грэм Грин, находивший издателя для каждого романа, но они имели успех лишь у критики. Нарайан женился; внезапная смерть любимой жены от тифа, его горе и медленное возвращение к жизни благодаря парапсихическому общению с умершей — единственный эпизод, выпадающий из повествования о постепенном освобождении от журналистской поденщины и приходе международной известности, договоров на экранизации и — самое главное — о получении гранта Рокфеллеровского фонда на поездку в Америку. В годы обеспеченности и славы его воображение работает столь же плодотворно, как и тогда, когда Мальгуди с его железнодорожной станцией впервые возник перед его внутренним взором: "Во время моих путешествий по Америке у меня сложился замысел романа "Гид"; я остановился на три месяца в Беркли, снял номер в отеле и написал его".

Скупые откровения Нарайана о том, как он пишет, усугубляют ценность его воспоминаний. Желание писать по-английски возникло из его юношеского увлечения английскими романами, начиная от Скотта и Диккенса ("Я... полюбил его Лондон и его чудаковатых героев") и кончая романтизмом Райдера Хаггарда, Мэри Корелли и мистера Генри Вуда ("В романах мне нравились трагические концовки. Я выискивал книги, концовки которых оставляли меня совершенно разбитым"). Когда от мистических стихов он обратился к своей первой повести, он дал свободу воображению: "Садясь ежедневно за работу, я понятия не имел о том, что буду писать. Единственное, в чем я мог быть уверен, — это в главном герое". Своей готовностью к неожиданностям рассказчик таким образом оказывается гораздо ближе к слушателю, чем это полагают университетские профессора, изучающие сюжетосложение. "Ни с чем не сравнить восторг, который испытываешь, когда у тебя на глазах рождается роман". Однако плодовитость Нарайана была бы скучна, если бы он не обладал даром лаконизма и сдержанности; он описывает, как за днями чистого восторга наступали ночи, когда он "правил, редактировал, сокращал" и "как по мере правки... из того, что пишется поверх первоначального текста, из путаницы исправлений над и под

ним [возникает] истинный и окончательный вариант". Единственная доктрина, на которой Нарайан решительно настаивал, заключалась, по его словам, в том, чтобы убедиться, "можно ли писать о чем-либо, кроме любви... Я ополчился против тирании Любви — мне хотелось проверить, есть ли у писателя в жизни иные ценности, помимо неизбежных отношений между Мужчиной и Женщиной". То, что в романах Нарайана действие строится, в основном, вокруг мужчин, возможно, объясняется уличной жизнью, хитросплетением мимолетных, случайных бесед, о которых он не раз вспоминает с теплотой. Время, проведенное в собирании материалов для газеты, безусловно, укрепило его интерес к жизни людей, однако первоначальный импульс восходит, вероятно, к тому дню, когда, одиноким ребенком, росшим в бабушкином доме, он обрадовался приглашению "пойти вместе с дядюшкой прогуляться по улице с лавками". Уже будучи писателем, он обычно начинал свой день с прогулки:

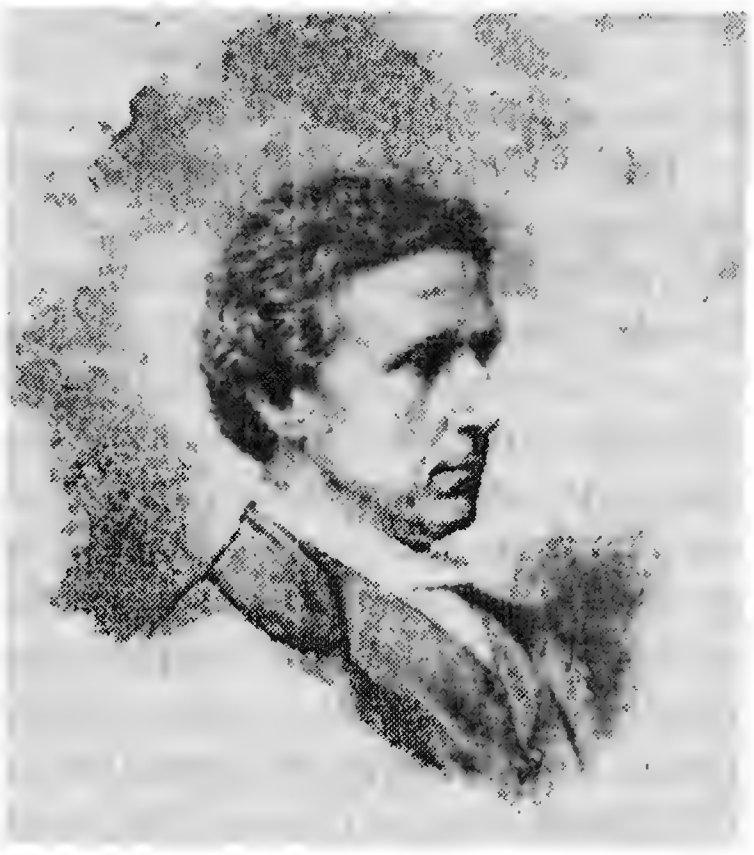
Все утро я бродил по улицам. На каждом углу я встречал персонажей, которых хоть сейчас можно было вставить в рассказ. Во время этих прогулок возникали замыслы, которые я развивал или, случалось, терял, отвлекшись каким-нибудь уличным происшествием. По главной улице Майсура Сайаджи-Рао-роуд нельзя было пройти, не останавливаясь каждые несколько шагов – поболтать с каким-нибудь знакомым. Майсур не только внешне похож на древнегреческий город, привычки его граждан также в высшей степени эллинские. Важнейшие проблемы, включая философские и политические, анализировались и решались жителями Майсура (по крайней мере в те дни) прямо на улицах.

Нарайан принадлежит к исчезающему виду писателя-гражданина. Он может отправиться к муниципальным чиновникам, чтобы пожаловаться на плохое освещение улиц, или "строчить язвительные письма в газеты о коррупции и халатности". Его протесты не кажутся принужденными, как в случае многих американских общественников, — за этим не прячется стремление к власти или самооправданию. "Если я о чем-то беспокоюсь, это что-то внешнее по отношению ко мне, по большей части меня не касающееся". Какое богатство материала открывается писателю, который может столь просто заявить о своем чувстве общности! У нас есть писатели, которые хотели бы занять пост мэра города, однако мало кто рвется стать гражданином. У нас есть писатели-исповедники, прикованные к собственной биографии, писатели-исследователи, развешивающие на безжизненных сюжетных линиях листки с информацией, словно белье на веревках. Однако последним из тех писателей, которые погружаются в материал, и благодаря этому черпают свои повести из жизни окружающего общества, был наш великий романист Фолкнер. Инстинктивное и почтительное отождествление себя с жителями того или иного места дается не так-то легко в наше время угрожающе больших городов и безликих окраин, однако без этого невозможна подлинная вера в ценность человечности и в человечные ценности.

Переводы с английского Н. Демуровой

А. Борисенко, Н. Демурова

Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы



Ч. Л. Доджсон. Рисунок Гертруды Томсон

Ему казалось — на трубе
Увидел он Слона.
  Он посмотрел — то был Чепец,
Что вышила жена.
И он сказал: "Я в первый раз
Узнал, как жизнь сложна".

Льюис Кэрролл.
Песня садовника[1]

В жизни Пушкина еще так много
неисследованного...
Кое-что изменилось с прошлого
года...

С. Довлатов. *Заповедник*

Наше время, не опасаясь преувеличений, можно назвать временем мифов, их бурного роста и широчайшего распространения. Можно было бы задаться вопросом о том, как и почему это происходит. Как соотносятся в мифе вымысел и факт? Что активизирует данную людям от века способность к мифотворчеству? Потребность ли заполнить образовавшуюся по тем или иным причинам пустоту в их жизни? Усилия ли массмедиа, культивирующих интерес к "знаменитостям" с особым упором на интимные, а зачастую и просто грязные подробности?.. Вглядываясь в знакомые черты, мы видим, как они меняются, послушные веяниям времени: сквозь глянец парадного портрета вдруг проступает карикатура, а то и совсем иная физиономия. Изображение колеблется, лицо ускользает.

Взять хотя бы Льюиса Кэрролла, математика и священнослужителя, авто-

© А. Борисенко, Н. Демурова, 2003
1. Перевод Д. Орловской.

ра двух сказок — "Приключения Алисы в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", принесших ему мировую славу.

Всем известно, скажем, что Льюис Кэрролл (он же Чарльз Латвидж[1] Доджсон) был застенчивым, неуклюжим заикой и нелюдимом. Мы знаем, что он скучно читал лекции, двух слов не мог связать в светской беседе и лишь в обществе детей оживлялся и становился вдруг — о чудо! — изобретательным и веселым рассказчиком. Мы знаем, что он всегда ходил в цилиндре и перчатках, отличался чопорностью и педантизмом, писал множество писем (в основном детям, разумеется) и воплощал в себе все викторианские добродетели.

Известно также, что превращению мрачного чудака в фантазера и сказочника способствовали не просто дети, а исключительно маленькие девочки. К которым этот чудесный сказочник испытывал — о ужас! — вовсе не отеческий интерес. Злоупотребляя доверием наивных мамаш, он увлекал юных спутниц в рискованные длительные прогулки, забрасывал их письмами и даже фотографировал в обнаженном виде!

В сущности, мы знаем не одного человека, а двух — Льюиса Кэрролла и Чарльза Латвиджа Доджсона; и эти двое оказываются почти антиподами: Доджсон, как видно, весьма умело дурачил недалеких современников, скрывая свою истинную сущность под скучной благопристойной личиной. Но и проницательным потомкам приходится нелегко — Кэрролл двоится в глазах, не дается в руки: "Он шел по жизни таким легким шагом, что не оставил следов"[2]. Поразительней всего то, что речь идет о человеке, чья жизнь была столь подробно и тщательно документирована... После его смерти остались дневники, письма, воспоминания современников. В том числе и его некогда юных приятельниц, которых он называл "my child-friends".

1. В России по традиции "среднее имя" Кэрролла читают как Лютвидж; быть может, настала пора приблизиться к английскому звучанию — Латвидж.
2. В. Вулф. Льюис Кэрролл. В кн.: Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Перев. Н. Демуровой. М., Наука, 1978.

Попробуем разобраться в удивительных метаморфозах кэрролловского образа.

Сразу же после смерти Чарльза Доджсона его племянник, преподобный Стюарт Доджсон Коллингвуд, издал подробную биографию Кэрролла. Она называлась традиционно: "Life and Letters of Lewis Carroll", что на русский язык переводится так же традиционно: "Жизнь и творчество Льюиса Кэрролла", и "Letters" здесь означает все, что вышло из-под его пера, в том числе и переписку. Архив Чарльза Латвиджа Доджсона был огромен. Всю жизнь он, как типичный викторианец, вел дневники, писал множество писем, внося в специальный реестр всю отправленную и полученную корреспонденцию, сочинял политические и научные трактаты, стихи и прозу — словом, трудно даже представить себе объем "бумажного" наследия, который остался в распоряжении душеприказчиков. Душеприказчиками были два младших брата Кэрролла — Уилфред и Эдвин. Именно Уилфред после смерти Кэрролла сжег часть его личных бумаг, — возможно, выполняя волю умершего. (В переписке с Анной Хендерсон Уилфред Доджсон упоминает о конвертах, где хранились личные записи и фотографии с надписью "В случае моей смерти уничтожить, не вскрывая". Не исключено, что писатель оставил и другие инструкции.) После смерти Кэрролла "комнаты" в Крайст-Черч[1] (так называли преподавательские квартиры, расположенные в самом колледже), которые он занимал в течение стольких лет, надлежало срочно освободить. Огромный архив Кэрролла разбирали второпях, часть, как уже упоминалось, была сожжена, остальное, по всей видимости, было поделено между родственниками, что-то впоследствии затерялось.

По-видимому, Коллингвуд во время работы над биографией Кэрролла имел в распоряжении всю его переписку, все дневники и реестр корреспонденции: биография снабжена

1. Крайст-Черч — один из колледжей Оксфордского университета; с ним была связана вся сознательная жизнь Кэрролла.

множеством цитат из этих документов. Выпускник того же колледжа Крайст-Черч, в котором учился, а потом преподавал его дядюшка, кроткий и образованный священнослужитель Стюарт Доджсон Коллингвуд создал идеализированный портрет своего прославленного родственника. Эта первая биография, вышедшая в сентябре 1898 года, то есть спустя всего семь месяцев после смерти Кэрролла, стала основным документальным свидетельством, на которое ориентировались все последующие биографы. Отчасти это объясняется тем, что письма и дневники Кэрролла не были доступны последующим исследователям во всей полноте. Но, конечно, дело не только в этом.

XIX век создал свой миф о Кэрролле, миф о том, что было дорого викторианской Англии — о доброте и эксцентричности, о глубокой религиозности и удивительном юморе, о строгой и размеренной жизни, изредка прерываемой короткими "интеллектуальными каникулами" (Г. К. Честертон), во время которых и были написаны сказки об Алисе и некоторые другие произведения. Коллингвуд в своей книге приводит проникновенные отзывы современников о Кэрролле. "Я с радостью вспоминаю и наши серьезные беседы, и то, как великолепно и доблестно он использовал юмор для того, чтобы привлечь внимание множества людей; и его любовь к детям, простоту его сердца, заботу о слугах, его духовную заботу о них"[1], — пишет один. Другой вспоминает "ту сторону его натуры, которая представляет больший интерес и более заслуживает того, чтобы о ней помнили, нежели даже его поразительный и чарующий юмор, — я имею в виду его глубокое сочувствие всем страждущим и нуждающимся. Он несколько раз приходил ко мне по делам милосердия, и я всю жизнь учился у него готовности помочь людям в беде, его бесконечной щедрости и бесконечному терпению перед лицом ошибок и безрассудств". Третий отмечает, что "та чуть ли не странная простота, а порой непритворная и трогательная детскость, которая отличала его во всех областях мысли, проявлялась в его любви к детям и в их любви к нему, в его боязни причинить боль любому живому существу...". В предисловии Коллингвуд лаконично предваряет эти и многие другие подобные воспоминания современников Кэрролла словами: "Узнать его значило его полюбить".

После смерти братьев и сестер Кэрролла его бумаги перешли на хранение двум незамужним племянницам — Менелле и Вайолет — и оставались у них до самой их смерти (Менелла умерла в 1963-м, Вайолет — тремя годами позже). За это время многие бумаги были утеряны (включая четыре тома дневников), кроме того, отдельные дневниковые записи были вырезаны ножницами. В 1953 году тщательно отобранные племянницами фрагменты дневников были изданы в двух томах под редакцией Р. Л. Грина[1], который объясняет в предисловии, что так как Коллингвуд уже использовал при написании биографии дневники Кэрролла, "не было необходимости тщательно их сохранять — и они на много лет исчезли, вместе с остальными уцелевшими бумагами. По прошествии времени они вновь нашлись в подвале, выпав из картонной коробки; оказалось, что из тринадцати томов недостает четырех...".

Конечно, объяснение звучит малоубедительно — да и следы ножниц в дневниках достаточно красноречивы. (В более поздние годы племянницы Кэрролла признались в уничтожении отдельных дневниковых записей.) Изданные фрагменты дневников ничем не нарушали уже сложившийся образ аскетичного ученого чудака, жившего скромной и спокойной жизнью...

Однако как бы ни скрытничали лояльные племянницы, XX век уже начинал творить свои мифы. После Великой войны (так называли англичане Первую мировую) образ Кэрролла стал неуловимо меняться. Это были годы "победного шествия" пси-

1. Здесь и далее цит. по кн.: Collingwood S. D. The Life and Letters of Lewis Carroll. London, 1899.

1. The Diaries of Lewis Carroll, edited by Roger Lancelyn Green. 2 vol. London, Cassell, 1953.

хоанализа, быстро распространившегося в Европе, Америке, России и даже в консервативной Англии. Уже в краткой "Заметке о Шалтае-Болтае", вышедшей в 1921 году в связи с новым переводом "Алисы в Стране чудес" на немецкий язык, Дж. Б. Пристли высказывал провидческие опасения относительно того, что этой книгой вскоре займется "добрая тысяча важных тевтонцев", что "на сцену неизбежно явятся Фрейд и Юнг со своими последователями, и нам предложат чудовищные тома о *Sexualtheorie* в "Алисе в Стране чудес", об *Assoziationsstudien* Бармаглота и о сокровенном смысле конфликта между Труляля и Траляля с психоаналитической и психопатологической точки зрения".

Алиса Лидделл в веночке (фото Л. Кэрролла)

В своем эссе Пристли высказывает еще одно предположение, которое, увы, не оправдалось; впрочем, он и сам этого опасался. "Что до самой Алисы... — пишет он, — но нет, Алису пощадят; я, во всяком случае, не собираюсь разрушать иллюзий задумчивой тени Льюиса Кэрролла. Да пребудет он еще немного в неведении о том, что там на самом деле творилось в Алисиной головке, этой — с позволения сказать — особой стране чудес".

Увы, Алису не пощадили. "Психоаналитическими и психопатологическими" толкованиями с жаром принялись заниматься — и по сей день занимаются! — отнюдь не одни лишь "тевтонцы". Пристли, посвятившему столько прочувствованных страниц старой доброй Англии, даже в страшном сне не могло присниться, что будут писать об Алисе в этой самой Англии и в других англоязычных странах. Романтическое отношение к детству и детям, в котором ранняя пора жизни виделась как царство невинности, уступило место совсем иным взглядам. Начался век психоанализа, и книги Кэрролла, как казалось, предлагали весьма благодатное поле для новомодных умозаключений.

Отправной точкой для психоаналитиков стало уже закрепившееся мнение, с беспощадной категоричностью повторяющееся в каждом исследовании: "У него не было взрослых друзей. Ему нравились девочки, и только девочки". Это слова Пола Шилдера, и взяты они из "Психоаналитических заметок об Алисе в стране чудес и Льюисе Кэрролле" (1938). Шилдер строго вопрошает: "Каково было его [Кэрролла] отношение к собственному половому органу?" — и отвечает, что воплощением фаллоса является не кто иной, как сама Алиса... (Бедный, наивный Дж. Б. Пристли!) Тони Голдсмит, который, собственно, и положил начало психоаналитическим толкованиям "Алисы" — именно в его писаниях любовь Кэрролла к детям впервые приобрела зловещий оттенок, — пространно теоретизирует о символике дверей и ключей, отмечая, что объектом особого интереса становится именно маленькая дверка (то есть девочка, а не взрослая женщина). Дальше — больше. В книгах Кэрролла каждый смог найти то, что искал: неврозы, психозы, оральную агрессию, эдипов комплекс... Ну и конечно, излишне объяснять, что такое *на самом деле* кроличья нора... ("Когда *я* беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше", — сказал Шалтай-Болтай презрительно.)

Не будем далее углубляться в эти концепции: они уже давно навязли у всех в зубах. Справедливости ради надо заметить, что потребность в скандалах и сенсациях не исчерпывалась одной лишь сексуальной тематикой. Во второй половине XX века то

и дело возникали новые толкования кэрролловской "Алисы". То обнаруживали в "Стране чудес" записанные особым кодом цитаты из Ветхого Завета, то выяснялось, что это послание психоделика, созданное под влиянием особых галлюциногенных грибов (помните гриб, на котором восседала Синяя Гусеница, посоветовавшая Алисе откусить "с одной и с другой стороны"?). Особенно много шума наделала теория, согласно которой автором "Алисы" была сама королева Виктория! Об этом даже в советские времена у нас писала центральная пресса и люди спорили в университетских буфетах.

После выхода в свет набоковской "Лолиты" (1955), популярность которой с каждым годом все росла и росла, массовому читателю стало окончательно ясно, что Кэрролл, конечно, был педофилом. Теперь, наконец, кэрролловский эвфемизм "child-friends" открыл свой истинный смысл: "нимфетки"! С новой жадностью читатель вглядывался в мемуары кэрролловских "нимфеток", пытаясь читать между строк.

Теперь уже ни один серьезный исследователь творчества Кэрролла не мог обойти молчанием проклятый вопрос о том, как именно любил Кэрролл маленьких девочек. И если исследователь не желал признавать писателя педофилом и извращенцем, ему приходилось занимать оборонительную позицию и выстраивать систему оправданий.

"Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками совершенно невинной; у нас нет оснований сомневаться в том, что так оно и было. К тому же в многочисленных воспоминаниях, написанных позже его маленькими подружками, нет и намека на какое-либо нарушение приличий. <...> В наши дни Кэрролла порой сравнивают с Гумбертом Гумбертом, от чьего имени ведется повествование в "Лолите" Набокова. Действительно, и тот и другой питали страсть к девочкам, однако преследовали они прямо противоположные цели. У Гумберта Гумберта "нимфетки" вызывали плотское желание. Кэрролла же потому и тянуло к девочкам, что в сексуальном отношении он чувствовал себя с ними в полной безопасности. От других писателей, в чьей жизни не было места сексу (Торо, Генри Джеймс), и от писателей, которых волновали девочки (По, Эрнест Даусон[1]), Кэрролла отличает именно это странное сочетание полнейшей невинности и страстности. Сочетание уникальное в истории литературы", – пишет Мартин Гарднер, автор "Аннотированной Алисы"[2].

"Льюису Кэрроллу доводилось сражаться с дьяволом – а, как мы знаем, для викторианцев секс часто был личиной дьявола. Я убежден, что Кэрролл выходил победителем из этих сражений. <...> В глубине души Кэрролл сознавал, что если он хоть раз уступит малейшему искушению в дружбе с детьми, то никогда не сможет возобновить этой дружбы. Он был своего рода викторианским Ловцом во ржи, однако он не был Гумбертом Гумбертом"[3], – утверждает другой известный исследователь творчества Кэрролла, Мортон Коэн.

Но как бы ни пытались некоторые благородные умы защитить эксцентричного сказочника, обыватель не может оторвать завороженного взгляда от жутковатой картинки: дитя наедине с коварным искусителем, у которого карманы набиты игрушками, а в голове бродят нечистые мысли. Это зрелище ужасало почтенную публику чуть ли не до конца XX века...

А между тем после смерти Менеллы и Вайолет сохранившиеся дневники Льюиса Кэрролла все-таки были проданы наследниками Британскому музею. Некогда запертые за семью замками заветные листки стали доступны для изучения. Но – ничего не произошло. Неказистые тетради в серых обложках уже никого не интересовали. Биографы и исследователи Кэрролла продолжали опираться на привычные факты и приходить к привычным выводам.

1. Эрнест Даусон (1867–1900) – английский поэт.
2. Martin Gardner. The Annotated Alice. N. Y., Clarkson N, Poier Inc. 1960.
3. Morton N. Cohen. Lewis Carroll and Victorian Morality: Sexuality and Victorian Literature. Tennessee Studies in Literature. Vol. 27. Edited by Don Richard Cox. The University of Tennessee Press. Knoxville.

Очередной поворот посмертной судьбы Кэрролла начался с любезной его сердцу математики. Почти одновременно в двух разных странах два пытливых исследователя занялись, представьте, сложением и вычитанием. И тут обнаружилось, что многие из милых крошек в момент знакомства с Кэрроллом уже перешагнули рубеж семнадцати, восемнадцати, двадцати, а то и тридцати лет... Как же так? — спросит недоверчивый читатель. Неужели никто раньше не удосужился *посчитать*, сколько лет было девочкам? Да, такова таинственная магия мифа. Его гармония не терпит грубого вмешательства алгебры (и даже арифметики).

Очень показательно, что на незыблемые, давно установленные истины покусились в известном смысле аутсайдеры — французский профессор (*иностранец!*) Х. Лебейли и не имеющая отношения к науке *актриса (!)* Кэролайн Лич. (Ученое сообщество не пришло в восторг от этого вмешательства.) Лебейли изложил свои выводы в научных трудах[1], Кэролайн Лич опубликовала книгу, рассчитанную на широкого читателя[2].

Результаты пересмотра известных фактов и сохранившихся документов оказались сокрушительными. Как карточный домик, рассыпаются глубокомысленные построения и гипотезы... ("Вы — просто колода карт!" — говорит разгневанная Алиса и просыпается.)

В качестве примера можно привести хорошо известные воспоминания актрисы Изы Боумен (1873—1958), в чьей судьбе Ч. Л. Доджсон принимал искреннее участие. (Доджсон помогал также ее сестрам и брату; все они играли на сцене.) Ее книжка "История Льюиса Кэрролла, рассказанная настоящей Алисой в Стране чудес", вышла через несколько месяцев после биографии Колингвуда, в 1899 году. Алисой она называет себя на том основании, что в 1888 году ей довелось играть знаменитую кэрролловскую героиню.

Мемуары Изы, написанные живо, с несомненной любовью к Кэрроллу, которого она называет "дядюшкой", тем не менее оставляют странный, слащавый привкус — знакомый нам всем по школьным "рассказам о Ленине". "Маленькая девочка и ученый профессор! Какое странное сочетание!" — восклицает она то и дело. Портрет ученого чудака расцвечен описаниями игр, прогулок, ее долгих визитов в Крайст-Черч... Словом, читателю не приходится жаловаться на отсутствие "картинок и разговоров". Так, мы находим в воспоминаниях весьма драматичное описание ссоры и примирения "профессора и маленькой девочки":

В детстве я часто развлекалась тем, что рисовала карикатуры, и однажды, когда он [Кэрролл] писал письма, я принялась делать с него набросок на обороте конверта. Сейчас уж не помню, как выглядел рисунок, — наверняка это был гадкий шарж, — но внезапно он обернулся и увидел, чем я занимаюсь. Он вскочил с места и ужасно покраснел, чем очень меня испугал. Потом схватил мой злосчастный набросок и, разорвав его в клочья, молча швырнул в огонь. <...> Мне было тогда не более десяти-одиннадцати лет, но и теперь этот эпизод стоит у меня перед глазами, как будто все это было вчера...[1]

Итак, по утверждению Изы, в момент описанной размолвки ей "не более десяти-одиннадцати лет"... Однако на деле ей гораздо ("О, гораздо!" — сказала Королева...) больше. "Примечательно, — ядовито замечает по этому поводу Кэролайн Лич, — что Изе уже исполнилось тринадцать, когда она познакомилась с Доджсоном. К тому времени, как он оплачивал ее уроки актерского мастерства и возил ее на каникулы, ей было лет четырнадцать-шестнадцать, в последний раз она гостила у него в Истбурне в двадцатилетнем возрасте".

1. Hugues Lebailly. Charles Lutwidge Dodgson's Infatuation with the Weaker and More Aesthetic Sex Re-examined; Dodgson's Diaries: The Journal of a Victorian Playgoer (1855—1897) и др.
2. Karoline Leach. In the Shadow of the Dreamchild: a New Understanding of Lewis Carroll. Peter Owen Ltd, 1999. (Далее цит. по указ. изд.)

1. Здесь и далее цит. по кн.: Interviews and Recollections, edited by Morton N. Cohen, London, Macmillan, 1989.

Гипноз коллективно созданного образа так велик, что уже другая "юная подружка" Кэрролла, Рут Гэмлен, в мемуарах, написанных в семидесятилетнем возрасте, отчетливо вспоминает, как в 1892 году родители пригласили на обед Кэрролла с гостившей у него в то время Изой — Иза описана как "застенчивый ребенок лет двенадцати". "Прелестно и убедительно, — комментирует этот пассаж Кэролайн Лич, — однако в 1892 году Изе уже исполнилось восемнадцать..."

В случае Изы Боумен речь, конечно, не идет о случайной ошибке. Ее мемуары пестрят навязчивыми напоминаниями о том, что Кэрролл был "величайшим другом детей" — это определение повторяется не однажды.

"Я думаю, что сделала все, что было в моих силах, чтобы показать самую светлую сторону его натуры — Льюиса Кэрролла как друга детей. <...> Я надеюсь, что мой скромный вклад поможет сохранить память о величайшем друге детей..." — пишет Иза, прекрасно зная, что большая часть описанных эпизодов относится отнюдь не к ее детскому возрасту. Объяснить такую настойчивость несложно. Одно дело рисовать идиллические картинки вечеров у камина, долгих прогулок рука об руку, поездок к морю, когда речь идет о "маленькой девочке и ученом-профессоре". Другое дело бросать вызов обществу, повествуя об отношениях необычных, не укладывающихся в рамки общепринятого, — об отношениях с неординарным человеком, живущим по собственным, неординарным правилам. Правдивое изложение фактов, отмечает Кэролайн Лич, могло губительным образом отразиться на репутации Изы — к тому времени преуспевающей актрисы. Нетрудно представить себе выводы, к которым пришли бы добродетельные викторианцы, узнав, что немолодой профессор оплачивал уроки музыки, визиты к дантисту и другие расходы молодой актрисы, отнюдь уже не ребенка. Между тем, Иза не была исключением в жизни Кэрролла — ни в качестве "child-friend", ни в качестве заботливо опекаемой подопечной. Кэрролл много общался с детьми актеров[1] и много помогал им. Широко известна многолетняя дружба Кэрролла с актерским семейством Тэрри — и с самой знаменитой из них, Эллен Тэрри, на чьи спектакли он неизменно водил своих приятельниц.

Актриса Эллен Терри (фото Л. Кэрролла)

Едва ли не каждая из "child-friends" Кэрролла, чьи мемуары собраны в вышедшей в 1989 году книге "Льюис Кэрролл: интервью и воспоминания", отмечает, что она была исключением из правил, поскольку ее дружба с Кэрроллом не прервалась с окончанием детства, а продолжилась в более зрелые годы. Читая одно за другим эти утверждения, начинаешь недоумевать, что же это за правило, из которого так много исключений? Гертруда Аткинсон, например, пишет об этом так: "Многие утверждают, что он любил детей, только пока

1. Примечательно, что Кэрролл был одним из первых среди тех, кто заговорил об ограничении рабочего дня маленьких актеров, день за днем выступающих в дневных и вечерних спектаклях, а также о необходимости обеспечения их образования. В специальном письме, посланном в газеты, он говорил о том, что их работа никак не должна мешать им получить наряду с другими детьми обычное школьное образование, и ратовал за специальный парламентский акт, закрепляющий за ними это право. Следует отметить, что по прошествии некоторого времени такой акт был принят.

Гертруда Томсон. Феи (книжные иллюстрации)

они оставались детьми, и терял к ним интерес, когда они вырастали. Мой опыт был иного рода: мы оставались друзьями всегда. Я думаю, иногда возникали недоразумения оттого, что многим выросшим девочкам не нравится, когда с ними обращаются так, будто им все еще десять лет. Лично мне эта его привычка всегда казалась очень милой".

Иные "child-friends" подружились со знаменитым сказочником, будучи уже вполне взрослыми людьми. Таково было знакомство Кэрролла с художницей Гертрудой Томсон. Внимание Кэрролла привлекла серия ее рисунков под названием "Страна фей", завязалась переписка, за которой последовало личное знакомство; Гертруде Томсон было в это время 28 лет. Впервые Г. Томсон и Льюис Кэрролл встретились в Саут-Кенсингтонском музее — они легко узнали друг друга в толпе несмотря на то, что никогда не виделись прежде.

Увидев его стройную фигуру и чисто выбритое, тонкое и выразительное лицо, я про себя сказала: "Вот Льюис Кэрролл", – вспоминает Гертруда Томсон. – Кэрролл, который пришел на встречу в сопровождении двух девочек, посовещавшись со своими спутницами, решительно подошел к художнице.

– Как вы догадались, что это я?

– Моя маленькая приятельница нашла вас. Я сказал ей, что должен встретиться с молодой леди, которая знает фей, и она тут же указала мне на вас. Но я узнал вас еще раньше...

Гертруда Томсон вспоминает и другой эпизод, недвусмысленно демонстрирующий настороженное отношение общества к дружбам такого рода:

Однажды за меня взялась приятельница мистера Доджсона – добрая женщина весьма практического склада, вся опутанная правилами приличия.

Мы [с Кэрроллом] провели утро у нее в доме, делая зарисовки с ее детей. <...> Он ушел еще до ланча, и, когда трапеза была завершена, хозяйка отослала детей и уселась передо мной с шитьем.

– Я слышала, позавчера вы провели день в Оксфорде, у мистера Доджсона.

– Да, и это был очень приятный день.

– Такие вещи не очень приняты...

– Мы оба часто делаем то, что не принято.

– Мистера Доджсона нельзя назвать дамским угодником.

– Иначе он не был бы моим другом.

– Он – убежденный холостяк.

– А я – убежденная холостячка, кроме того, по возрасту он годится мне в отцы!

Мгновенье она пристально глядела на меня, потом сказала:

– Я объясню вам, в чем дело. Мистер Доджсон не думает о вас как о молодой даме. Вы для него скорее – взрослый ребенок.

Я весело рассмеялась.

– Я не возражаю, чтобы он считал меня своей прабабушкой, лишь бы приглашал иногда в Оксфорд!

Но я была глубоко задета. Наша чистая и прекрасная дружба была, казалось, омрачена грубым прикосновением[1].

1. Цит. по кн.: Interviews and Recollections, edited by Morton N. Cohen, London, Macmillan, 1989.

Вместе с Гертрудой Томсон Кэрролл часто работал над портретами детей — в том числе обнаженных девочек. В викторианской Англии все еще господствовало представление о ребенке, унаследованное от предромантиков и романтиков — Блейка, Вордсворта, Колриджа. Образ девочки воплощал для викторианцев чистоту и невинность, красота детского тела воспринималась как асексуальная, божественная, изображения обнаженных детей были весьма обычны для того времени.

Фотографический портрет девочки работы Л. Кэрролла

Кэрролл был чрезвычайно щепетилен во всем, что касалось его маленьких моделей. Во время сеансов непременно присутствовала какая-нибудь дама (мать, тетушка, гувернантка и пр.), Кэрролл писал: "Если бы я нашел для своих фотографий прелестнейшую девочку в мире и обнаружил, что ее смущает мысль позировать обнаженной, я бы почел своим священным пред Господом долгом, как бы мимолетна ни была ее робость и как бы ни легко было ее преодолеть, тут же раз и навсегда отказаться от этой затеи".

В июне 1881-го, спустя год после того, как Кэрролл оставил занятия фотографией, он принимает решение уничтожить снимки и негативы обнаженных девочек во избежание кривотолков в случае его смерти (ему скоро исполнится пятьдесят лет — солидный возраст по тем временам). Он пишет письма матерям своих моделей, спрашивая, не прислать ли им фотографии и негативы, и сообщая, что в противном случае они будут уничтожены. Сохранилось всего несколько таких снимков.

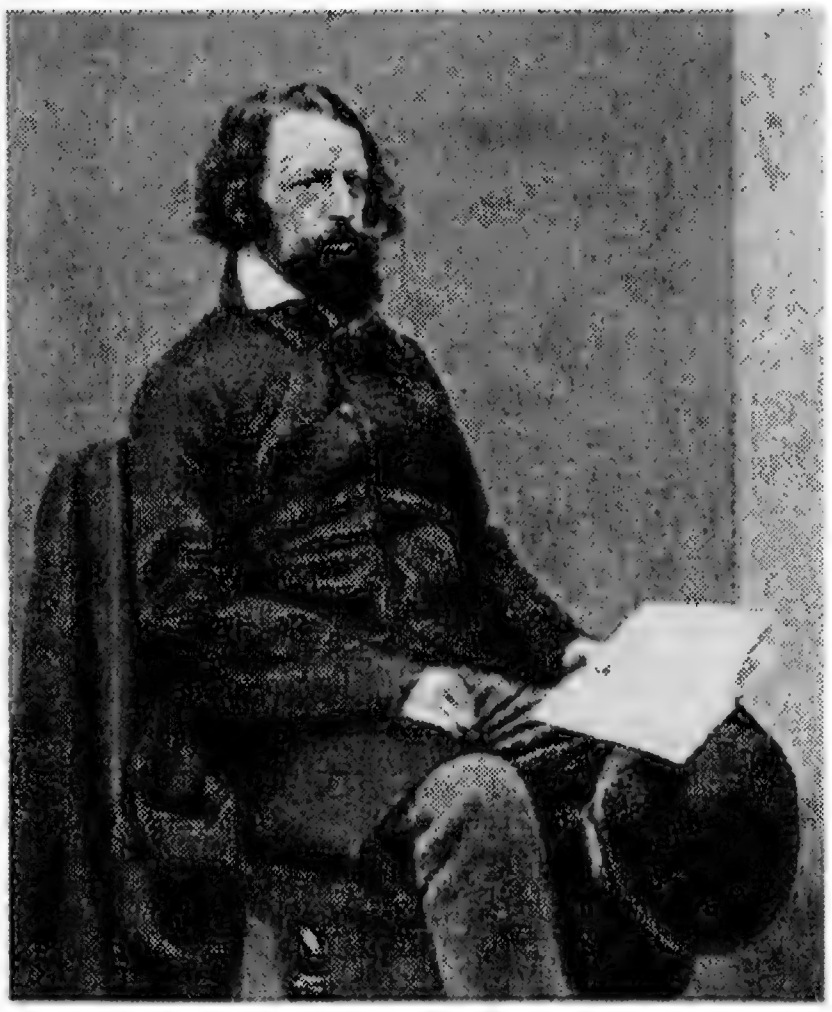
Вообще говоря, Кэрролл фотографировал много — детей (как девочек, так и мальчиков), а также, разумеется, и взрослых: своих родных, друзей, коллег по Оксфорду, писателей, художников, актеров, священнослужителей, включая и епископов и архиепископов, государственных деятелей, в том числе премьер-министра (с большинством из них он был знаком по Крайст-Черч). Правда, прославился он благодаря фотографиям детей: из работ фотографов-любителей XIX века его детские портреты считаются лучшими. Недаром на знаменитой фотовыставке "Род человеческий", объехавшей в 1956 году многие страны и побывавшей в России, из своих современников был представлен он один[1].

Вопреки устоявшемуся мнению, круг знакомств Кэролла был также весьма широк и разнообразен и включал в себя множество мужчин и женщин самого разного возраста. Откуда же взялось столь устойчивое убеждение в том, что знаменитый автор "Алисы" общался исключительно с маленькими девочками?

И что же все-таки скрывала семья? Что заставляло братьев, сестер и племянников проявлять такую сдержанность, такую осторожность в обращении с бумагами Льюиса Кэрролла?

Разумеется, как справедливо замечает Кэролайн Лич, "страницы не вырезаются сами собой". Но какие различные причины могут скры-

1. Кэрролл, разумеется, не был фотографом-профессионалом, однако многие годы с большим увлечением занимался фотографией. Из современников его сравнивают по мастерству лишь с Джулией Кэмерон, которая занималась фотографией профессионально; однако Кэрролл ни в чем не уступает ей. Композиция, глубина психологического портрета, простота и непритязательность его работ привлекают внимание; художественная одаренность Кэрролла дает себя знать и в этой области.



Альфред Теннисон (фото Л. Кэрролла)

ваться за холодным щелканьем ножниц! Вырезанных страниц не вернуть. Менелла и Вайолет — хотя бы отчасти — обеспечили своему великому родственнику право на *privacy*[1] — этот непереводимый оплот английской души.

Кэролайн Лич весьма запальчиво пишет о пропаже дневников и писем Кэрролла, обвиняя его семейство в умышленном искажении образа писателя, в желании утаить от публики "правду" и других тяжких грехах; по-видимому, она нисколько не сомневается, что "народ имеет право знать". Невольно вспоминается знаменитое письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому с затертым от постоянного цитирования пассажем: "Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой подлости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы; он и мал и мерзок не так, как вы, — иначе". А начинается эта известная тирада так: "Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны..."

Но вернемся к сохранившимся тетрадям, которые все-таки попали в Британский музей, и к открытиям Кэролайн Лич и Лебейли.

Из переписки Кэрролла с сестрами явственно следует, что кое-какие страницы его биографии доставляли хлопоты родственникам еще при жизни писателя. Дело в том, что Ч. Л. Доджсон — оксфордский лектор, священнослужитель и джентльмен — всю жизнь был не в ладах с "миссис Гранди", то есть, выражаясь по-русски, не заботился о том, "что будет говорить княгиня Марья Алексевна". ("Ты не должна пугаться, когда обо мне говорят дурно, — писал Кэрролл обеспокоенной сплетней младшей сестре, — если о человеке говорят вообще, то кто-нибудь непременно скажет о нем дурно".)

Его страстная любовь к театру считалась совершенно неподобающей для священнослужителя (ведь в театре показывали и фарс, и водевиль, и бурлеск, которые Кэрролл очень ценил), так же как и любовь к живописи, в частности, восхищение полотнами, изображающими обнаженных женщин; а дружба и свободное общение с молодыми и не очень молодыми дамами и вовсе не укладывались ни в какие рамки.

"Истории о том, как молодые женщины без сопровождения проводили каникулы у моря с Льюисом Кэрроллом, вряд ли могли бы умилить добропорядочное викториан-

Данте Габриэль Россетти (фото Л. Кэрролла)

1. Новый большой англо-русский словарь под ред. Ю. Д. Апресяна дает следующие определения *privacy*: 1 — уединение, уединенность; 2 — тайна, секретность; 3 — личное, частное дело.

ское общество, к которому принадлежало большинство читателей Коллингвуда. Совсем не это хотелось услышать публике о создателе "Алисы"! Легко понять, что и семейство Доджсонов стремилось положить конец сплетням, неизбежно окружавшим подобные эскапады. Сказать публично правду — признаться в печати, что Льюис Кэрролл обедал, гулял, ездил к морю *наедине* с молодыми девицами; оставался ночевать в домах вдов и замужних женщин, чьи мужья находились в отъезде, было все равно, что предположить в преподобном Доджсоне прелюбодея и совратителя! Это просто никуда не годилось", — пишет Кэролайн Лич.

Самым невинным из всех увлечений Кэрролла, с точки зрения викторианской морали, казалось его увлечение маленькими девочками. Именно это увлечение, такое уместное для сказочника, и подняли на щит сначала Коллингвуд, а вслед за ним и многочисленные мемуаристы и биографы. Кто мог знать, что в следующем веке все встанет с ног на голову и любовно наведенный современниками "хрестоматийный глянец" отольется в столь рискованные формы!..

В викторианскую же эпоху считалось, что до четырнадцати лет девочка остается ребенком и, соответственно, до этой поры стоит выше всего земного и грешного.

По словам Кэролайн Лич, именно эти представления "стоят за наивными попытками семейства убедить публику, что все его многочисленные приятельницы были моложе роковых четырнадцати лет. Эта манипуляция становится особенно прозрачной, когда выясняется, что даже в тщательно отобранной Коллингвудом переписке почти половина цитируемых писем написана девочкам старше четырнадцати, а четверть адресованы девицам восемнадцати лет и старше".

В результате сравнения опубликованных фрагментов дневников с более полной версией, хранящейся в Британском музее (пусть даже с вырезанными страницами и пропавшими томами), профессор Лебейли приходит к такому выводу: "Отнюдь не трогательный интерес дядюшки к прелестным ангелочкам оберегали от постороннего взгляда престарелые викторианские дамы, но его склонность к сомнительным, по их мнению, спектаклям, в которых играли бойкие молодые актрисы, его благосклонные отзывы о полотнах, изображающих обнаженных женщин; доказательства столь вульгарного вкуса казались им поистине скандальными, и они замалчивали их последовательно и методично, не подозревая, что тем самым подпитывают распространенное представление о Льюисе Кэрролле как об извращенце и маньяке"[1].

И в самом деле, как могли они предположить, что, оберегая викторианские добродетели, обрекут своего знаменитого родственника на гоаздо более грозные обвинения? Великолепная ирония, достойная Кэрролла!

Возможно, сам Кэрролл отчасти способствовал возникшей путанице. Взять хотя бы изобретенный им термин "child-friend". По сути, это словосочетание указывало не столько на возраст (или даже возрастную разницу), сколько на тип отношений, столь обычный для Кэрролла и столь мало понятный обществу, — вероятно, сегодняшнему так же, как и тогдашнему. Впрочем, само слово "child" и в XIX веке все еще сохраняло отзвуки иных оттенков значений. Слово это могло указывать не только на возраст, но и на характер отношений, в частности, определяемый разницей в возрасте или в социальном положении (ср. принятое в XVIII веке выражение "дети и слуги"). Кстати говоря, не зря, видимо, многие современники упоминали, как внимателен был Кэрролл к слугам, — по всей видимости, для него особое значение имели отношения с более слабыми, зависимыми, в известной степени более уязвимыми, — не стоит забывать, что Кэрролл рано узнал бремя ответственности за восьмерых младших братьев и сестер...

Однако в употреблении Кэрроллом слова "child" был, конечно, и иг-

1. Hugues Lebailly. Charles Lutwidge Dodgson's Infatuation with the Weaker and More Aesthetic Sex Re-examined.

ровой компонент, на что справедливо указывают и Кэролайн Лич, и профессор Лебейли. Он частенько употреблял слово "ребенок" применительно к особам женского пола в возрасте двадцати, тридцати, а то и сорока лет...

В 1894 году Кэрролл пишет миссис Эгертон, приглашая на обед двух ее дочерей, шестнадцати и восемнадцати лет:

Одна из главных радостей моей – на удивление счастливой – жизни проистекает из привязанности моих маленьких друзей. Двадцать или тридцать лет тому назад я бы сказал, что десять – идеальный возраст; теперь же возраст двадцати – двадцати пяти лет кажется мне предпочтительней. Некоторым из моих дорогих девочек тридцать и более: я думаю, что пожилой человек шестидесяти двух лет имеет право все еще считать их детьми[1].

Примерно такое же рассуждение содержится в письме к двадцатичетырехлетней Гертруде Четуэй, которую Кэрролл зовет погостить у него в Истбурне. Вот как он оправдывает необычность подобного приглашения:

Во-первых, если я доживу до следующего января, мне исполнится пятьдесят девять лет. Если бы подобную вещь предложил мужчина тридцати или даже сорока лет от роду, это было бы совсем другое дело. Тогда бы об этом и речи идти не могло. Мне самому подобная мысль пришла в голову лишь пять лет назад. Только накопив действительно немало лет, рискнул я пригласить в гости десятилетнюю девочку, которую отпустили без малейших возражений. На следующий год у меня неделю провела двенадцатилетняя гостья. А еще через год я позвал девочку четырнадцати лет, на этот раз ожидая отказа под тем предлогом, что она уже слишком взрослая. К моему удивлению и радости, ее матушка согласилась. После этого я дерзко пригласил ее сестру, которой уже исполнилось восемнадцать. И она приехала! Потом у меня побывала еще одна восемнадцатилетняя приятельница, и теперь я совсем не обращаю внимания на возраст.

По мнению Х. Лебейли, поведение Кэрролла объясняется прежде всего крайней независимостью характера, стремлением самому, в соответствии со своим разумением и своей совестью, принимать решения и контролировать ситуацию. Он избегал всего, что могло быть ему навязано. (До такой степени, что даже не хотел, чтобы ему назначали время встречи, ограничивая тем самым его свободу.) Что может быть менее обязывающим, менее требовательным, чем общение с "child-friend"?

При этом, продолжает Лебейли, Кэрролл вовсе не чурается женщин. Однако будучи человеком крайне щепетильным, Кэрролл строго регламентирует свое общение с "прекрасным полом": в молодости он держится подальше от девиц на выданье и только к старости начинает проявлять известную беззаботность относительно возраста своих приятельниц... На основании строго подсчитанных отзывов Кэрролла о живописи и театральных постановках Лебейли делает вывод, что цветущая женственность привлекала его на деле значительно более девичьей незрелой прелести[1].

Словом, миф лжет: автор сказок об "Алисе" был вовсе не таким, каким его привыкли считать...

Миф лжет, вторит профессору Кэролайн Лич. Кэрролл вовсе не был застенчивым, мрачным отшельником — напротив, порой он наносил в день по полдюжины визитов, водил в театр своих бесчисленных приятельниц; никогда не избегал мужчин и уж тем более не испытывал ненависти к мальчикам; он получал удовольствие от жизни и любил общество молодых женщин... Впро-

1. Здесь и далее письма Кэрролла цит. по кн.: The Letters of Lewis Carroll, edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green. 2 vol. London, Macmillan, 1979.

1. Согласно подсчетам, сделанным Лебейли, большая часть спектаклей, упомянутых Доджсоном в дневниках, вообще не включала детей-актеров; из 870 комментариев, сделанных им по поводу актерской игры, 720 относятся ко взрослым актерам и только 150 — к детям.

чем, яростно развенчивая старый миф, Кэрролайн Лич тут же начинает создавать новый — головокружительную историю любви Кэрролла к миссис Лидделл. И можно быть уверенными, что новые сенсации не за горами. Возможностей масса: роман с гувернанткой, роман с миссис Лидделл, роман с ректором Лидделлом... Возможно, выяснится, что Кэрролл любил *только мальчиков.* Возможно, найдется и какой-нибудь подозрительный домашний питомец или возлюбленный труп. И в этом отчасти будут повинны злополучные викторианские дамы, затерявшие и изрезавшие драгоценные томики дневников. Ибо ничто так не будоражит воображение, как тайна. Сколько лет дописывают за Диккенса его последний неоконченный роман, сколько лет волнует умы десятая, сожженная глава "Евгения Онегина"! Вероятно, и Кэрроллу предстоит еще немало удивительных метаморфоз...

Но мы, пожалуй, остановимся. Передохнем и оглядимся. Может быть, у нас наконец перестанет двоиться в глазах и нам удастся увидеть не двух антиподов (этаких Джекила и Хайда), а одного, очень незаурядного человека, необычного до такой степени, что современники и потомки предпочли разделить его на "Кэрролла" и "Доджсона" и воспринимать "по частям". Загадки и парадоксы по-прежнему сопровождают его имя — даже теперь, спустя более столетия после его смерти. Прелесть в том, что у загадки не всегда есть ответ: чем, например, ворон похож на конторку?

Англичане знают цену *странности:* у Кэрролла на родине есть своя культурная ниша — "эксцентричный ученый-джентльмен", хотя, конечно, и это всего лишь одна из масок. Бесспорно, она подходит ему не в пример лучше, нежели маска чопорного педанта, у которого, как заметила в свое время Вирджиния Вулф, "не было жизни"; или совсем уж нелепая маска тайного искусителя девочек... Но если эти маски расплывутся, исчезнут, что же останется? Улыбка, разумеется.

Можно ли сказать, что Льюис Кэрролл был *свободным* человеком? Он, несомненно, был глубоко религиозен, но не мог принять идею о вечных муках; позволял себе присутствовать на службе в православной церкви и даже в синагоге, говорил, что если бы знал церковно-славянский язык, то принял бы участие в православном богослужении. Он уважал традиции и установления общества, но открыто возражал против тех из них, которые казались ему бессмысленными или несправедливыми. Он дарил необыкновенную дружбу, исполненную юмора и доброты, многим представительницам прекрасного пола — как мы теперь знаем, самого разного возраста. И при этом полагался на свое суждение значительно более, нежели на общепринятые правила. Это был человек совести, в своих помыслах и поступках он давал строгий отчет Господу. Но никогда — никогда! — не пугал он Господа с миссис Гранди, с духовными и светскими властями. Он держал ответ перед Богом, а не перед ними. И не перед нами.

Владимир Набоков

"Знаете, что такое быть знаменитым писателем?.."

Из интервью 1950–1970-х годов

Составление и предисловие Н. Г. Мельникова

Переводы с английского, французского и итальянского

Набоковский бум, который начался в нашей стране с журнальной публикацией "Защиты Лужина", судя по всему, и не думает утихать. Набоков — перефразируя афоризм Сальвадора Дали — это наркотик, без которого уже нельзя обходиться. Русско-американский писатель до сих пор является культовой фигурой, властно притягивающей хватких издателей, киношных и театральных перелагателей, алчных диссертантов, полубезумных комментаторов и толкователей, вульгарных компаративистов и, естественно, "рядовых читателей", простых смертных вроде нас с вами, еще не утративших вкус к полнокровной литературе.

Представители всех вышеперечисленных категорий, вероятно, уже приобрели недавно вышедший сборник "Набоков о Набокове и прочем"[1] (названный так по примеру одного из журнальных набоковских интервью), куда вошли переводы набоковских эс-

© Н. Мельников. Составление, предисловие, перевод, 2003
© М. Дадян. Перевод (*), 2003
© Е. Лозинская. Перевод (**), 2003

Составитель выражает искреннюю признательность Дитеру Циммеру, С. Я. Сендеровичу, Г. Б. Глушанок, С. А. Швабрину за помощь в разыскании набоковских текстов.

1. Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе. Сост., предисл., подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. М., Издательство Независимая Газета, 2002.

се, критических статей и интервью 1940—1970-х годов. Добрая половина из них никогда не переиздавалась ни на одном языке мира.

Никогда не переиздавалась и набоковская рецензия 1941 года на книгу Артура Брайанта — одна из тех критических статей, которыми писатель (в начале сороковых — еще никому не известный русский эмигрант) открыл свой американский период творчества. Этот любопытный материал был получен составителем уже после выхода сборника и теперь предлагается благосклонному вниманию читателей "Иностранной литературы".

Львиную долю "Набокова о Набокове" составляют интервью — образчики маргинального для Большой литературы жанра, кардинально переосмысленного и преобразованного Набоковым. Движимый соображениями высшей литературной стратегии, писатель превратил интервью в удобное средство для создания своей публичной персоны — отчасти мифологизированной фигуры, с одной стороны, призванной оградить от любопытных частную жизнь "великого В. Н.", с другой — предельно точно выразить те эстетические законы и правила, по которым читателям нужно было судить о его произведениях.

Даже в рамках журналистского жанра Набоков оставался взыскательным художником, заботящимся об изящной точности и выразительности каждой фразы. "Прежде всего я писатель, а мой стиль — это все, что у меня есть", — писал он одному интервьюеру, настаивая на значительных сокращениях в импровизированных фрагментах интервью. Вот почему Набоков придирчиво отбирал (иногда браковал, иногда редактировал, а то и вовсе переписывал) вопросы интервьюеров и отвечал на них в письменном виде. Ответы интервьюерам (больше напоминающие самодостаточные микроэссе или мини-памфлеты) Набоков заносил на те же самые справочные карточки, на которых писал свои романы.

Правда, подобная система создания интервью была выработана не сразу. На рубеже 50—60-х годов, когда с приходом всемирной славы Набоков сделался законной добычей журналистов, он раздавал интервью направо и налево, не так жестко, как это будет позже, контролируя своих собеседников. Очень скоро спонтанные интервью перестали удовлетворять Набокова. И неудивительно. Как правило, они лишены строгой вопросоответной формы и, по сути, представляют собой очерки с воспроизведением отдельных реплик и высказываний писателя, тонущих в рассуждениях словоохотливого интервьюера. Диалог в них подменялся стандартным рассказом журналиста об авторе "Лолиты" (о его внешности, о его жене, о распорядке дня и проч.), а набоковский текст сводился к минимуму. Помимо банальной журналистской болтовни, Набокова раздражали грубые ошибки, вольные пересказы и намеренные искажения его слов, в чем он публично обвинял некоторых интервьюеров. Именно поэтому в авторский сборник нехудожественной прозы "Твердые суждения" (1973) было взято только 22 интервью — примерно половина из опубликованных на то время в западной прессе.

С учетом авторитетного мнения Набокова, а также жанровых особенностей спонтанных интервью, многие из них не вошли в книгу "Набоков о Набокове и прочем". Печальная необходимость не могла радовать составителя, для которого даже отдельные реплики и замечания писателя — при всей их стилистической шероховатости — не менее интересны, чем вылизанные и отлакированные абзацы из "канонических" интервью.

Однако то, что не подходит для книги, хорошо вписывается в параметры журнальной публикации. А посему было решено перевести набоковские ответы и высказывания из отбракованных газетных и журнальных материалов (кстати, весьма редких и недоступных даже специалистам-набоковедам) и слепить из них сборное интервью, в сжатой форме представляющее эстети-

ческое кредо и житейские воззрения писателя. Композицию этой публикации подсказал сам Набоков, который иногда выкидывал вопросы интервьюеров и группировал свои ответы под тематическими заголовками.

Так что не гнушайтесь угощением: перед вами не обидные крохи с барского стола, а лакомые цукаты и изюминки, намеренно не использованные при приготовлении роскошного литературного пирога. Бог знает, доживем ли мы до полного академического собрания сочинений Набокова, и будут ли где-нибудь опубликованы эти "твердые суждения", добавляющие новые штрихи к портрету выдающегося писателя.

О *своем творчестве*

У художника нет обязательств перед читателем. В том случае, если между ними нет контакта, либо виноват читатель, либо творение писателя настолько бездарно, что он не имеет права называться художником.

Художник продолжает жить, преодолевая время и пространство. Во время университетских занятий я в первую очередь стараюсь выкорчевать идею, согласно которой художник — продукт культуры. На меня вот не повлияло ни мое окружение, ни время, ни общество. Как и на всякого настоящего писателя. <...>

Английский — богатейший язык мира. Он очень гармоничен по духу и одинаково великолепен для выражения абстрактных понятий и для обозначения предметов. Но, конечно, мой английский — всего лишь эхо моего русского.

Cornell Daily Sun. 1958. September, 25.

Наивысшее достоинство писателя, вообще любого художника, — способность возбуждать в других душевный трепет.

Стиль в литературе должен быть прежде всего ясным, даже когда говорится о чем-то непонятном; он должен стать неповторимым выражением того, что чувствует художник... Для писателя он должен быть предметом постоянного поиска.

Ivy Magazine. 1959. February, p. 28.

В отличие от Джозефа Конрада, прежде я писал на своем родном языке и был по-настоящему известным писателем эмиграции. Переселение из роскошного русского дворца в тесную квартирку моего английского напоминало переход от одного темного здания к другому — в беззвездную ночь во время забастовки факельщиков и изготовителей свечей. После периода паники и блужданий впотьмах мне удалось вполне комфортно устроиться, но теперь я знаю, что должна чувствовать гусеница во время мучительной метаморфозы, находясь в смирительной рубашке куколки.

Из неопубликованного интервью. Март 1959 г.

Критикам-моралистам, добродетельным, ранимым людям, преисполненным сочувствия к самим себе и жалостью к человечеству, вообще не стоит прикасаться к моим книгам. У тех, кого я приглашаю, желудки должны быть такими же крепкими, как кожа у винных бурдюков, и они не должны просить бокал божоле, когда им выставляют бочонок "Шато Латур д'Ивуар".

Il Giorno. 1959. Novembre 3.

Да, я играю с читателем, но не как кошка с мышкой. Допустим, в моих произведениях много ухищрений, но для меня они вполне естественны. Как только промелькнет одна сторона или грань, ее тотчас же сменяет другая. Но нет никакого поддразнивания. На самом деле я очень искренний.

National Observer. 1964. June 29, p. 17.

Мои романы и рассказы избавлены от элементов дидактики. Они не предназначены для развлечения читателя. Некоторые мои сюжеты и миры связаны воедино одним лишь волшебством.

Не думаю, что пародия — главный герой *всех* моих романов. Например, "Бледный огонь" — предельно ясная, реалистическая история.

Интервью 1971 г. // Russian Literature Triquatery. 1991. № 24, p. 70.

О *книге "Убедительное доказательство"*

Это книга воспоминаний. Но в ней, конечно, много отобрано. Что интересовало меня, так это тематические линии моей жизни, напоминающие художественный вымысел. Книга воспоминаний стала точкой схождения формы безличного искусства и очень личной истории жизни.

Имелись ли прецеденты среди мемуаров, которые бы в определенной мере перетасовывались, сочинялись и замышлялись как роман?

Я не знаю таких прецедентов. Это литературное приближение к моему прошлому. Прецеденты были в романах, скажем, у Пруста, но не в жанре мемуаров. Для меня это разновидность сочинительства. Я ведь составитель шахматных задач. Никто еще не решил шахматную задачу из "Убедительного доказательства".

О *романе "Камера обскура"*

Это что-то вроде триллера, но зато — единственная книга, которая время от времени давала мне хоть немного денег. Она не особенно хороша. Немного грубовата. Думаю, переписав книгу еще раз, я бы сделал из нее нечто необычное.

New York Times Book Review. 1951. July 16, p. 17.

О *романе "Лолита"*

Можно извлечь из "Лолиты" некую символику, только вот я ее туда не вкладывал. Если же люди все-таки проделывают это — что ж, значит им так удобнее.

Но если серьезно, "Лолиту" нужно воспринимать как бесстрастное упражнение интеллекта. Не надо лить над ней слезы. Наслаждайтесь ею с легкой дрожью в позвоночнике...

Cornell Daily Sun. 1958. September 25.

"Лолита" — патетическая книга, рассказывающая о печальной судьбе ребенка: вполне обыкновенной маленькой девочки, захваченной отвратительным и бессердечным человеком. Но из всех моих книг больше всего я люблю именно "Лолиту".

Niagara Fall Gazette. 1959. January 11, p. 10-B.

Если этот роман содержит какой-то нравственный урок, благослови Бог тех, кто сумеет его найти! <...>

Мое определение порнографии — это совокупление клише, где автор вводит читателя в привычную обстановку, а затем пытается прямо спровоцировать в нем самый низменный отклик. С Лолитой дело обстоит иначе. <...>

Мои знания о нимфетках не выходят за пределы научного интереса, уверяю вас. Я равнодушен к маленьким девочкам. У меня двадцатипятилетний сын, так что, наверное, мне бы больше пристало писать о маленьких мальчиках. <...>

Что вы думаете о секс-символах Америки – Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд? Олицетворяют ли они идею секса для автора "Лолиты"?

Мисс Монро — одна из величайших комедийных актрис нашего времени. Я никогда не видел мисс Мэнсфилд. Что же до общепринятого идеала цветущей женственности, то он не находит во мне своего приверженца. Для меня сексуальная привлекательность — нечто гораздо более тонкое.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении "Лолиты":

Лолита умерла. Я не собираюсь оживлять ее.

American Weekly. 1959. October 4, p. 13.*

Я думаю, как и наш друг Флобер, что человек — ничто, а его творение — все. Я ничто, а "Лолита" — все.

France-soir. 1959. October 21.*

Теперь мне не нужно зарабатывать на жизнь; у меня есть девочка, которую зовут Лолита, — она зарабатывает за меня. Я старый сводник, и у меня есть девочка, которая ходит на панель — нет, не пишите так! А, ну да ладно...

Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3, p. 4.*

Что огорчает меня больше всего, так это убеждение, будто "Лолита" — сатира на Америку. По-моему, это просто смешно. Не представляю, как люди могут находить это в книге. С другой стороны, мне не нравятся люди, которые рассматривают роман как нечто эротическое. Еще больше мне не по душе те, кто, не прочитав "Лолиту", считают ее непристойной.

Не думаю, что "Лолита" — религиозная книга, но я уверен, что она нравственна. И я убежден также, что в заключительной сцене Гумберт Гумберт — высокоморальный человек, поскольку понимает, что любит Лолиту так, как и нужно любить женщину. Но уже слишком поздно: он разрушил ее детство. Конечно, в книге содержится именно такого рода мораль.

National Observer. 1964. June 29, p. 17.

Работа над сценарием "Лолиты" немало меня позабавила, а пребывание в Голливуде навсегда останется прекрасным воспоминанием. С самого начала мне казалось, что фильм получится хорошим... Разумеется, я не вполне согласен с тем, что вышло, но, признаюсь, в какой-то мере я этого и ждал. И сознательно пошел на риск.

Journal de Genuve. 1965. No. 60, p. IV.*

Если бы у меня была дочь, то я сделал бы Гумберта педерастом. <...> Сначала я написал небольшой рассказ на эту же тему. Главного героя звали Артуром. Они путешествовали через всю Францию. Но я не опубликовал ту вещь. Девочка была неживой. Она едва говорила. Постепенно я смог придать ей подобие жизни. Однажды, взяв рукопись, я уже направился к мусоросжигалке, но Вера сказала: "Подожди немного". И я послушно вернулся к работе. <...> Но труднее всего было заставить себя... Вы же видите, я нормальный человек. Я заходил в школы под предлогом устроить туда свою дочь. У нас же нет дочери. Для Лолиты я брал у одной маленькой девочки, заходившей в гости к Дмитрию, руку, а у другой — коленную чашечку.

Vogue. 1966. Vol. 148, № 10 (December), p. 280.

Единственный автобиографический элемент в "Лолите" — череда мотелей, схожих с теми, где в сороковые и пятидесятые годы мы с женой останавливались во время нескольких летних отпусков, которые мы провели, проехав по Америке тридцать тысяч километров в поисках бабочек. Подобных совпадений нет в "Аде", может быть, за исключением разведения диковинных гусениц, чем я весьма прилежно и успешно занимался в детстве.

Panorama. 1969. № 8, p. 54.

О *романе* "Бледный огонь"

Думаю, "Бледный огонь" — совершенно простой роман. Ярче всего человек раскрывается в творческой работе, которая доставляет ему удовлетворение. Здесь же поэт раскрывается в своей поэме, а комментатор — в комментарии... Эта книга гораздо веселее других, в ней запрятано много изюминок, и я надеюсь, кто-нибудь их обнаружит. Например, малосимпатичный комментатор — вовсе не бывший король Земблы и не профессор Кинбот, а сумасшедший русский профессор Боткин (Botkine). В его комментарии много замечаний, касающихся энто-

мологии, орнитологии и ботаники. Рецензенты утверждают, будто я втиснул в роман мои любимые темы. Но они не заметили, что Боткин в них ничего не смыслит и все его замечания чудовищно ошибочны... Никто не заметил, что мой комментатор покончил с собой, прежде чем завершил указатель к книге: в последнем пункте нет постраничных ссылок. И даже Мэри Маккарти, которая обнаружила в книге больше, чем остальные рецензенты, столкнулась с трудностями, определяя источник заглавия, и ошибочно нашла его в шекспировской "Буре". А он в "Тимоне Афинском": "The moon's an arrant thief she snatches her pale fire from the sun"[1]. Надеюсь, указания на подобные вещи помогут читателям получить еще большее удовольствие от романа.

New York Herald Tribune (American edition). 1962. June 17, p. 5.

Отвечая на вопрос о своих любимых рассказах

Лидирующая тройка представлена рассказами "Облако, озеро, башня", "Сестры Вейн" и "Весна в Фиальте". Они точно выражают все, что я хотел, и делают это с тем величайшим призматическим очарованием, на которое способно мое искусство.

Интервью 1971 г. Russian Literature Triquatery. 1991. № 24, p. 68.

О *писателях*

О Чосере. На самом деле Чосер мне не нравится. Конечно, он был очень хорошим писателем для того времени, в котором жил, но ведь тогда было трудно, должно было быть трудно, вообще написать хоть что-нибудь.

1. Набоков немного неточно цитирует строки из "Тимона Афинского": "...the moon's an arrant thief / And her pale fire she snatches from the sun!" В переводе П. Мелковой: "Луна – нахалка и воровка тоже: / Свой бледный свет крадет она у солнца..." (В оригинале роман называется "Pale Fire".) (*Здесь и далее – прим. составителя.*)

Los Angeles Times. 1977. August 7. Section IV, p. 1–2.

О Томасе Манне. Крошечный писатель, писавший гигантские романы.

Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3, p. 4.*

О Роберте Фросте. Не все, что он написал, было хорошо. Довольно много хлама. Но я считаю, что даже довольно бесхитростное его стихотворение про лес ("Остановка снежным вечером у леса") – одно из величайших, написанных когда-либо.

Об Эрнесте Хемингуэе. Хемингуэй создал несколько замечательных вещей. Но его длинные романы – "По ком звонит колокол" и другие, -- мне кажется, они ужасны. Прежде всего, он был мастер короткого рассказа.

Об Уильяме Фолкнере. Я абсолютно равнодушен к Фолкнеру. Не понимаю, что в нем находят. Его просто выдумали. В действительности его и не было.

National Observer. 1964. June 29, p. 17.

О французских писателях. Подобно тому, как Пушкин питался вашими авторами XVIII столетия (питался почти до плагиата – добровольного или невольного), так и мне приходилось читать много французов. Мне очень нравится Андре Шенье, которого Пушкин знал наизусть. Дидро меня восхищает, Сад – навевает тоску, Мариво для меня лишь журналист, как, впрочем, и Стендаль, и Бальзак.

Les Nouvelles Litteraires. 1959. Octobre 29, № 1678, p. 2.*

Мой лучший друг – Гюстав Флобер. Разумеется, я храню верность и Марселю Прусту, которого страстно любил в молодости. Должен вам сказать, что недавно с удовольствием прочитал "Отдых воина" Кристиана Рошфора.

Journal de Genuve. 1965. № 60, p. IV.*

О Габриеле Д'Аннунцио. Д'Аннунцио был персонажем, как и Байрон, а когда персонажи гибнут, умирают и писатели. <...> Я его читал в молодости. Мне нравился "Дождь в сосновом лесу". Мне неизвестен никто другой, чья голова так восхитительно напоминало бы яйцо, как у Д'Аннунцио.

*Messagero. 1969. Novembre 2, p. 3**.*

Об Алексее Толстом. "Петр Первый", "Хождение по мукам" виртуозно написаны, но ряд глав там искусственно приспособлен к "генеральной линии". Все же Толстой, конечно, большой талант.

Новое русское слово. 1961. 5 февраля, с. 8.

О Борисе Пастернаке. Пастернак — поэт, а не прозаик. Как роман "Доктор Живаго" — ничто, он полностью соответствует консервативному стилю советской литературы. Он плутает, подобно "Унесенным ветром", и к тому же переполнен мелодраматическими ситуациями и всевозможными ляпами. По сравнению с Пастернаком мистер Стейнбек — гений.

Ivy Magazine. 1959. February, p. 28.

Меня интересует только художественная сторона романа. И с этой точки зрения "Доктор Живаго" — произведение удручающее, тяжеловесное и мелодраматичное, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями. Кое-где встречаются отзвуки талантливого поэта Пастернака, но этого мало, чтобы спасти роман от провинциальной пошлости, столь типичной для советской литературы. Воссозданный в нем исторический фон замутнен и совершенно не соответствует фактам.

Niagara Fall Gazette. 1959. January 11, p. 10-B.

Как переводчик Шекспира он очень плох. Его считают великим только те, кто не знает русского языка. <...> Сам же Пастернак сильно выигрывает при переводе. Когда вы переводите клише — ну, например, "нет худа без добра", — на другом языке они звучат не хуже, чем у Мильтона.

Vogue. 1966. Vol. 148, № 10 (December), p. 280.

О Евгении Евтушенко. Я познакомился с его творчеством. Оно вполне второразрядно. Он правоверный коммунист.

О советской литературе. Хороших романов нет. Все они либо политизированы, либо мелодраматичны, весьма банальны и консервативны по стилю, полны обобщений и набивших оскомину персонажей, возвращающих нас к Диккенсу. Даже романы, тайком вывезенные из России и якобы представляющие оппозиционные режиму тенденции, часто вывозятся с молчаливого согласия начальства. Сегодня русские власти считают, что им нужно нечто вроде лояльной оппозиции. У нас же стараются найти в произведениях молодых советских писателей то, что укажет на подтаивание ледяной политической глыбы. Но в действительности оттепель весьма незначительна и неизменно регулируется Государством.

Каким образом может появиться в России хорошая и оригинальная литература, коль скоро писатели понятия не имеют о том, что такое Запад, о том, что такое настоящая свобода? Даже те немногие авторы, которые посещают Англию и Америку, видят только то, что обычно доступно туристу: Британский музей, Центральный парк, твист; ничто не меняет представления, которое они сформировали о нас, прежде чем приехать. Для некоторых первое дуновение свободы — когда они видят небрежно развалившихся в креслах американцев: ноги вытянуты, руки в карманах. Но, к сожалению, они не способны почувствовать в этом одно из проявлений демократии. Они думают, это некультурно. Они говорят: "Американцы... ну что с них взять".

New York Herald Tribune (American edition). 1962. June 17, p. 5.

О *преподавании*

Нашим студентам нужно быть более собранными, почаще оставаться в одиночестве и побольше спать. Слишком уж много клубов и коллективных мероприятий. Университетские городки должны быть более тихими; многим студентам не повредили бы уютные кельи со стенами, обитыми войлоком.

Cornell Daily Sun. 1958. September 25.

У меня шесть часов занятий в неделю. Когда десять лет назад я впервые появился в Корнелле, число моих студентов достигало трехсот человек. Предполагаю, они думали, что со мной им будет легко. Ну, я-то их оставил в дураках. Теперь на моих лекциях максимум сто пятьдесят учащихся.

Мы анализируем самую сущность романа. Я хочу научить их понимать, как писатель творит свое произведение, добавляя деталь, другую деталь, еще одну деталь.

Niagara Fall Gazette. 1959. January 11, p. 10-B.

Идеальный способ обучения — прослушать курс лекций, тщательно подготовленных преподавателем в тишине кабинета и записанных на пленку. При существующей системе лектор разрушает эффект воздействия хмыканьем и покашливанием, в то время как студенты, возможно, расшифровывают названия, даты, закорючки. <...>

Ivy Magazine. 1959. February, p. 28.

Девушки созревают намного раньше юношей. Их развитые формы и привычка носить облегающие свитера сильно отвлекают внимание. Это уничтожает весь процесс обучения.

The American Weekly. 1959. October 4, p. 13.

О *ловле бабочек*

Не могу вообразить, что может быть интересного в том, чтобы лицезреть меня на грязной дороге, охотящимся после дождя на бабочек. Нет существа более угрюмого, замкнутого и раздражительного, чем энтомолог, преследующий свою добычу...

В семь тридцать я завтракаю. Без пятнадцати восемь, взяв сачок, я неторопливо выхожу из отеля и выбираю одну из четырех или пяти возможных тропинок. В зависимости от погоды моя прогулка может длиться три или пять часов. В среднем за день я прохожу пятнадцать километров. В конце сезона я довольно часто пользуюсь фуникулером. Кстати, кресло-подъемник — чудесное изобретение. Ты просто скользишь вперед. Однажды в Италии я поднимался на кресле-подъемнике под музыку — причем не просто под музыку, а под Пуччини и "Травиату".

Бывает ли так, что живущий в вас эстет мешает Набокову-ученому убить бабочку, если она особенно красива?

Не потому, что она красива. Бабочки, как и люди, красивы и в то же время безобразны. Я позволяю улететь старым и потрепанным особям или тем бабочкам, которые не нужны для моей коллекции. Я терпеть не могу убивать не нужных мне бабочек. Вообще это неприятное чувство: вы механически умерщвляете их, а после чувствуете себя виноватым.

Die Welt. 1974. Sept. 26, p. 3.

Приятное времяпрепровождение, когда-то столь же банальное, как уроки музыки и акварельной живописи, со времен моего нежного детства превратилось в страсть, наконец в профессию и научные занятия, которые продолжались в лабораториях Гарварда и во время моих путешествий. Это чистая наука безо всякой эстетики.

L'Express. 1975. June 30 – Juillet 6.

Об Америке

В то время как американские писатели предпочитают жить во Франции, сами вы выбрали Америку...

В этой восхитительной стране я свил уютное гнездышко, где забываешь о ее размерах. Во время недавней поездки в Америку Грэм Грин...

... который первым в Англии сказал о Лолите, что это лучшая вещь из того, что он прочел за последние десять лет...

... позвонил мне из Нью-Йорка, и уже через час был у меня дома — я живу в одноименном штате, Нью-Йорк, так вот, он не мог поверить, что нас разделяет пятьсот километров. Там все так хорошо организовано, от универмагов до культуры!

Les Nouvelles Litteraires. 1959. Octobre 29. № 1678, p. 1.

Моя Америка довольно маленькая: университетская Америка и дикие горы, куда я хожу охотиться за бабочками. И моя Россия тоже очень маленькая. Дорожка там, пару деревьев здесь, небо. Это сундучок с сокровищами, к которому возвращаешься снова и снова.

Observer. 1959. November 1, p. 21.

Теперь Америка — мой дом. Это моя страна. Ее интеллектуальная жизнь подходит мне гораздо больше, чем в других странах. Здесь у меня больше друзей и родственных душ, чем где бы то ни было. Заметьте, я вовсе не в восторге от американской кухни. Мороженое и молоко хороши в меру. А американский бифштекс — это какое-то недоразумение (вот вам каламбур)[1]. Но все это из области материального, и по большому счету не важно. Нет, есть еще что-то в американской жизни и в американцах, что делает меня по-настоящему абсолютно счастливым.

National Observer. 1964. June 29, p. 17.

О суде над бандой Чарльза Мэнсона

Знаете, если бы я был журналистом, я написал бы репортаж о Мэнсоне. Меня сильно притягивает его судебный процесс. Так много можно было бы из этого сделать! <...>

Мэнсон и его девки — они кретины! Они не способны думать. (*Имитируя ответы обвиняемых.*) "Мы воткнули ей вилку в живот, чтобы ее ребенок никогда не участвовал в войнах". Что за война? <...> Вы думаете, эти девицы и Мэнсон знают что-нибудь о войне во Вьетнаме? Да, для них она существует, у них есть о ней некое представление, но не более. Они говорят о ней, но сами не понимают, о чем говорят. <...>

У меня пристрастие к подобного рода судебным историям, и мне бы очень хотелось увидеть искру раскаяния у этого слабоумного монстра и у этих скудоумных бестий, его девиц. И еще я хотел бы узнать побольше о тех идиотах, которые восхищаются подобными тварями.

New York Times Magazine. 1971. October 31, p. 32, 36, 38.

О Париже

Город стал декорацией за стеклом автомобиля с Эйфелевой башней или базиликой Сакре-Кёр вместо задника. Не то чтоб я ворчал, я люблю такси, но почему они уже не желтые, как перед войной? Жаль. И куда пропал запах опавшей листвы? Полагаю, деревья обрабатывают инсектицидами, и это убивает запах осени, или Бог знает что еще. Есть только три вещи, которые я узнаю: комиссариаты полиции (какой восхитительный фарс там разыгрывался!), площадь Согласия, вечер, огни и теплый воздух метро. Восхитительно.

Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3, p. 4.*

1. В оригинале — каламбурное созвучие: steak (бифштекс) и mistake (ошибка, недоразумение).

О *жизни в* Швейцарии

Это самая приятная и поэтичная страна Европы. Здесь бывали Гоголь, Толстой, Байрон, Достоевский. Гоголь писал здесь "Мертвые души". Достоевский очутился здесь без гроша, а Толстой подхватил венерическую болезнь. Как я уже сказал, поэтичная страна...

National Observer. 1964. June 29, p. 17.

Я выбрал Швейцарию, потому что это очаровательная и чрезвычайно уютная страна. Здесь в горах восхитительные бабочки. Ловить бабочек возле Симплона или Гризона — восхитительное наслаждение, и некоторые из знаменитых районов — Понтрезина, Церматт, Лакинталь, долина Роны — классические места охоты, все еще чреватые неожиданными находками, несмотря на поколения английских и немецких собирателей, бродивших здесь прежде.

Die Zeit. 1966. Nov 1, p. 19.

Конечно, я предпочел бы собственный дом — с садом, высокими деревьями, красивой мебелью, старой прислугой. Но где его найти? И потом, он никогда бы не достиг того совершенства, которое было присуще Выре — имению под Санкт-Петербургом, где я провел детство.

*La Stampa. 1969. Ottobre 30, p. 3**.*

Любой англичанин, независимо от имени и удостоверения личности, оказывается определенного сорта журналистом, но мне все равно приятно разговаривать с ними. Американцы, которые мне встречались, стремятся получить от собеседника гораздо больше, чем сами дают, так что я стараюсь быть осторожным. Не так давно некто, судя по имени — американец, по всему Монтрё наоставлял для меня кучу невразумительных сообщений. Я тоже стал писать письма, из которых следовало, что я занят. Затем я получил еще одно послание — клочок бумаги, на котором было написано: "F... you". Ну, это уже было настолько конкретнее всего остального, что я спросил у портье, какого вида персона оставила сие послание. И портье ответил: "Это была не персона, сэр, это были две американские девушки диковатого вида". Я был заинтригован еще больше и взглянул на клочок бумаги еще раз. И тут я обнаружил в конце послания кое-что, незамеченное мною при первом чтении: вопросительный знак!

New York Times Magazine. 1971. October 31, p. 30.

Почему Швейцария? А почему бы и нет? Ее горы, разнообразие флоры, ее гладкие дороги и очаровательные гостиницы напоминают мне мою любимую сельскую местность на американском Западе. Единственное, что по-настоящему меня раздражает в Швейцарии — то, что слишком часто и поспешно выкашиваются луга среднего альпийского пояса. А мне ведь нужны полевые цветы — мои французские переводчики норовят перевести это выражение как "fleurs sauvages", — они нужны мне для энтомологических экскурсий, величайшего наслаждения моей жизни. Разумеется, чтобы разыскивать бабочек, я всегда могу, сидя в волшебном кресле, подняться на высоту в две тысячи метров, при этом стараясь избегать тех высокогорных склонов, где эдельвейсы сменились коровьими лепехами.

Вот вам диалог на альпийской тропинке с так называемым "защитником природы". Он: "А вы знаете, что ловля бабочек запрещена?" Я: "Что вы называете бабочкой?" (Показываю ему одну довольно маленькую особь.) "Нет, это что-то вроде мухи, а я имел в виду тех, из которых делают ювелирные украшения, больших голубянок". Бедняга полагал, что он в Бразилии.

L'Express. 1975. June 30 – Juillet 6.

Вовсе я не знаменитый писатель. Лолита была знаменитой маленькой девочкой. Знаете, что такое быть знаменитым писателем в Монтрё? На

улице к вам подходит американка и восклицает: "Господин Маламуд! Я вас везде узнаю!"

People. 1975. March 17, p. 63.

Сто лет английской истории в труде столь же ученом, сколь и своевременном

Примечательная особенность "Живых картин Англии (1840—1940)" Артура Брайанта ("Harper", $ 3,50) состоит не столько в мыслях автора, сколько в его умении усваивать, отбирать и преподносить познавательные сведения. Читатель пропускает очевидные обобщения, любуется яркими подробностями, а затем обдумывает прочитанное.

И вовсе не обязательно, чтобы своевременная книга была написана наспех: прекрасно документированную работу г-на Брайанта не обвинишь в отсутствии научной глубины или угодничестве перед современной политикой. Правда, его литературный стиль тяготеет к "стальным коням" и "железной руке", а такие изящные обороты, как "ведущий юмористический журнал Англии" — после того как автор неоднократно ссылался на "Панч", — это распространенные грешки против оригинальности; однако длинноты и шаблонные фразы кажутся лишь незначительными дефектами, когда рассматриваешь красочную картинку, которую под надзором талантливого автора образуют мозаичные фрагменты цитат и аллюзий.

Безусловно, самую сочную часть этого тома составляют главы, посвященные 1840—1850-м годам. Г-н Брайант наконец выявил двойственную природу Англии XIX столетия, контраст между кошмарной грязью старого фабричного городка и философией высокообразованных джентльменов, чья приверженность принципам свободы и нравственного самоусовершенствования благоприятствовала социальной несправедливости. "Неимущие, — как пишет автор, — были предоставлены приходским советам и Провидению". Сказочный народец — скорее уроды и вредоносные твари, чем люди, — надрывался под землей, в то время как независимые ученые, грея ноги на каминной решетке, читали Платона в тиши кабинетов, а "лондонские камердинеры, удобно устроившись в огромных креслах, пили пиво из высоких дымящихся кружек — живое свидетельство того, что господа пребывают за границей".

Хотя "двойственная природа" присуща и другим цивилизациям, ее британская разновидность была отмечена неповторимым национальным темпераментом. Автор не прибегает к историческим параллелям, и поистине сравнительный анализ вряд ли оказался бы удачным без составления сопутствующих томов, посвященных истории других стран в рассматриваемый период; тем не менее автор мог бы воздержаться от категоричных суждений вроде того, что во время Крымской войны в России, дескать, "не существовало общественного мнения". Между прочим, неполным представляется и описание осады Севастополя: если уж оккупанты были все как один герои, наверное, следовало упомянуть и осажденных — почти безоружных мужиков, удерживавших город в течение целого года.

Эра реформ

Эра реформ и процветания, выставка 1851 года (с деревьями, увенчанными гроздьями бойких уличных мальчишек, которых не мог согнать ни один полисмен), развитие железных дорог, Дизраэли, колониальная экспансия и наконец Первая мировая война щедро проиллюстрированы в книге свидетельствами современников — в графике, прозе и поэзии, — хотя по мере приближения к нашему времени краски немного тускнеют, а портреты великих людей Британии приобретают все более

символичные черты; что ж, это обычный оптический обман в стране чудес Клио, как мог бы выразиться г-н Брайант. В целом автор, не закрывая глаза на многочисленные ошибки английских правительственных кабинетов, подчеркивает замечательную способность британцев наверстывать упущенное в последнее мгновение перед кажущейся неминуемой катастрофой. Врожденное чувство свободы всегда отличало эту привлекательную нацию, и, задумываясь о путях и судьбах некоторых других европейских держав, невольно прощаешь Киплингу его спесь, а Колоссу Родосскому — глиняные ноги.

На дорогах к Монсу, на Марне и на Сомме, в огне Пашендейла, в Дюнкерке и в ревущем звездном небе над Ла-Маншем национальный характер британцев оказался важнее лучших законов, написанных лучшими из людей. И (возвращаясь в наши дни) невозможно не применить к современной политической ситуации те стишки, что цитирует г-н Брайант, — приветствие, которое журнал "Панч" адресовал Соединенным Штатам в середине прошлого века (когда даже Франция стала добровольной жертвой деспотии):

Oh Jonathan! Dear Jonathan!
A wretched world we see.
There's a scarce freeman in it now
excepting you and me[1].

New York Sun. 1941. Vol. CVII (No. 171). March 24, p. 32.*

Перевод с английского
Николая Мельникова
Перевод с французского
Марка Дадяна
Перевод с итальянского
Евгении Лозинской

1. О Джонатан! Дорогой Джонатан!
Какой тоскливый мир.
Свободны в нем остались
Лишь ты да я.

Джонатан. (*ист.*) — шутливое прозвище американцев, особенно уроженцев Новой Англии, янки.

Геннадий Киселев

Ландольфи

Слово

Одна тонко мыслящая особа заметила, что самым подходящим местом для памятных бесед о Томмазо Ландольфи был бы игорный зал казино. Частый гость Сан-Ремо, славного прежде всего не пошловатым фестивалем популярной песни, а знаменитым казино, Ландольфи был неизменным посетителем этого заведения и уж нашел бы где скоротать вечерок в сегодняшней Москве. На удивление однородное — отличие раннего Ландольфи от позднего можно выявить разве что под особым лингвистическим микроскопом — творчество писателя как-то естественно замыкается в круге воображаемого рулеточного барабана. Поэтому я приглашаю сыграть в эту русско-итальянскую рулетку всех желающих, тем более что в качестве почетного крупье в игре участвует доверенное лицо Маэстро, его дочь и литературная наследница — Идолина Ландольфи. Так что, делайте ваши ставки, господа.

Для начала я поставлю на зеро и попытаюсь задаться вот каким вопросом: чем объяснить едва ли не безоговорочный культ Ландольфи в итальянской литературе второй половины XX века? Сегодня роль этого писателя в литературном мире бесспорна даже для той части читательского "электората", которая традиционно располагалась в поясе массового, доступного чтения. Читатели друга и недруга Ландольфи — Моравиа, чья писательская энергия, по мысли итальянского критика Карло Бо, без остатка ушла на поиски *возможного*, сегодня отдают свои голоса Ландольфи, целиком посвятившего себя поискам *невозможного*. Ответов на поставленный вопрос, в равной степени обращенный ко всем предполагаемым участникам разговора о Ландольфи, может быть несколько. Вот лишь один из них.

Первейшей причиной литературного культа Ландольфи был и остается его неправдоподобный, оглушительный талант. Вместе с биографией писателя талант составляет *реальную* основу легенды о Ландольфи. Легенды о писателе-затворнике, реализовавшем самим фактом своего сумеречного, укромного существования даннунцианскую формулу "подчинения биографии искусству". (Как тут не вспомнить, что двумя прославленными воспитанниками лицея Чиконьини в Прато были именно Д'Аннунцио и Ландольфи.)

Творчество Ландольфи, вобравшее в себя примерно равными по значению долями нарративную прозу (сравнительно известную в России), романы-дневники (почти неизвестные) и поэзию (неизвестную вовсе), собственно и представляет собой "непрерывную автобиографию" писателя. Однако в отличие от Д'Аннунцио — Д'Аннунцио-воина, Д'Аннунцио-три-

© Г. Киселев, 2003

"Слово о Ландольфи" предназначалось для литературного вечера, посвященного творчеству Томмазо Ландольфи (1908–1979), одной из ключевых фигур итальянской литературы XX века. Увы, "по независящим от публики причинам" вечер так и не состоялся. Но текст "Слова" был написан и лег в основу доклада, прочитанного мной в декабре 2001-го во Флоренции, на международном симпозиуме "Иные берега Томмазо Ландольфи". Доклад назывался "Ландольфи в России: приключения и превращения". В нем прослеживались судьбы русских переводов Ландольфи, отношение к ним критики и общий подход к самому феномену художественного перевода. Предлагаемое эссе, конечно, нельзя считать собственно переводом того доклада. И все же, не передавая букву, оно передает его дух, что, как известно, и составляет суть Перевода.

умфатора, Д'Аннунцио-победителя жизни и даже Д'Аннунцио-изгоя, – биография Ландольфи, выстроенная вполне в романтическом духе, складывалась совсем под другим знаком – знаком ухода от жизни, неучастия в жизни, "жизни по ту сторону жизни", как сказал бы Альберто Савинио, и под знаком преодоления жизни, как выясняется теперь.

В лице Ландольфи итальянская литература опробовала, перефразируя современного классика, возможность эстетизма как формы сопротивления диктату жизни. Уже в дипломной работе 1932 (!) года, посвященной Анне Ахматовой, Ландольфи размышляет о соотношении искусства и реальности. Довольно быстро приходит он к выводу о том, что на вопрос: что же будет? – готов дать некий поприщинский ответ: вот то и будет, что ничего не будет.

Ощущение мнимости всего сущего не может не вызывать у Ландольфи, вслед за Гоголем, того "бледного отчаяния" (pallida disperazione), о котором Ландольфи напишет в поразительном по глубине ассоциаций предисловии к своему переводу "Петербургских повестей". Перед лицом мнимости бытия или "невосполнимой пустоты" (incolmabile vuoto), так и не "загустевшей", несмотря на отчаянные старания Гоголя, Ландольфи самому хочется раствориться, исчезнуть, подобно ковалевскому Носу. Что, между прочим, он и делает. Отвечая на яростную критику видного рецензента "Повестей" Витальяно Бранкати (Ландольфи досталось за то, что он трактует Гоголя как Эдгара По), Ландольфи публично отрицает всякую связь с Переводчиком, но при этом отстаивает высказанную точку зрения и даже обвиняет рецензента в ханжестве.

Примерно в то же время Набоков, наскучив брюзжанием в свой адрес "традиционной" эмигрантской критики, разыграл в соседней Франции Георгия Адамовича стихами поэта-фантома Шишкова. Возможным эпиграфом к большей части написанного ранним Ландольфи послужила бы именно набоковская формула: "Глупо искать закона, еще глупее его найти". Если Сирину крепко доставалось от литературной критики русского зарубежья и за "холодное и холостое воображение", восходящее к "безумному холостому началу гоголевского творчества", и за "молочно-белую пустоту", окружающую "будто бы судьбы и будто бы страсти" сиринской прозы, и за "сомнамбулизм" и "обезжизненную жизнь", и за "сожженные мосты к действительности" (когда-то так отзывались о прозе Ф. Сологуба), то Ландольфи за все перечисленное, наоборот, всячески превозносили, выделяя из среды сугубо витальных – "жизнеутверждающих", уточнили бы в прежних социалистических широтах, – и безнадежно невыразительных авторов того времени.

Однако поэтика Ландольфи – это не поэтика безысходности и пустоты. Скорее, это попытка восполнить пустоту, "просветить сумерки", по определению итальянского литературоведа Эрнестины Пеллегрини, и оставаться правдивым "с помощью нелепой фантазии". Плоды невероятной фантазии Ландольфи, все эти посланцы его личных сумерек, составляют галерею так называемых образов Ландольфи, куда входят и отец Кафки, и жена Гоголя, и пресловутый ландольфианский бестиарий, и дома-пространства-души, и женщина-тотем, и обильная биологическая атрибутика в виде плоти, крови и прочих выделений от Homo sapiens. Ландольфи просвещает сумерки, но просвещает их, по меткому сравнению критика, как человек, опускающий горящую лампочку в темный колодец. (На ум приходят строки из набоковского "Дара", где сказано, что Достоевский напоминает комнату, в которой днем горит лампа.)

Тема особого исследования, которую можно лишь обозначить, – это отношения Ландольфи и его индивидуального подполья, а главное – *смирительная роль языка* в этих отношениях. Язык в данном случае выполняет уже не эстетическую функцию, о ней речь впереди, а практическую, если угодно, прикладную. Иначе говоря, язык становится инструментом для обнаружения и подавления темной и опасной стороны человеческой природы, ее психологического подполья. Там, где усмирить

темные инстинкты человека с помощью языка пока невозможно, язык осуществляет сдерживающую функцию, облекая подполье в некую вербальную оболочку, как противоязвенное средство, консервируя это подполье до поры до времени.

Ландольфи понимает, что единственным субъектом, заслуживающим на этом фоне полного доверия, оказывается авторское "я". И тогда альтернатива абсолютного стиля позволяет Ландольфи заслонить им действительность, исчерпать ее, превратить из низости в предмет искусства, а значит, избежать очередного повода к отчаянию, вырваться из плена жизни пусть в другой набор условностей, но условностей, осознанных добровольно. Собственно для Италии Ландольфи — посторонний писатель, классик *отстранившейся* литературы. Литературы, истинным содержанием которой становится сама литература.

В литературных кругах Флоренции (а это и Монтале, и Луци, и Бо, и Макри́, и Поджоли), и не только Флоренции, талант Ландольфи сразу стал своего рода общим местом. Он точно витал в воздухе, время от времени отливаясь в литературные формы, столь же необъяснимые, сколь и притягательные. Вот и члены редколлегии знаменитой некогда серии "Мастера современной прозы", собравшись в конце 80-х для утверждения издательского плана, не могли не ощутить этого притяжения Ландольфи, но и загадки тоже, ибо только и сумели, что воздеть глаза к потолку, да проговорить:

— *Ну, Ландольфи...* — и утвердили его однотомник.

После внушительного дебюта Ландольфи в конце 30-х годов — сборника рассказов "Диалог о главнейших системах" и романа "Лунный камень" — от него постоянно ждали шедевра, соизмеримого с возможностями писателя, этаких итальянских "Мертвых душ" или "Мастера и Маргариты". Тот же Моравиа однажды обмолвился, что Ландольфи мог бы стать итальянским Булгаковым, если бы упрямо не демонстрировал, что не верит в то, о чем говорит, в тот самый момент, когда это говорит. Не знаю, что натолкнуло Моравиа на параллель Ландольфи — Булгаков, надеюсь, общий учитель этой двоицы — Гоголь. Надеюсь. Я-то думаю, что Моравиа абсолютно верно нащупал суть вопроса и... дал на него абсолютно неверный ответ. Именно в силу указанной причины Ландольфи, как никто из итальянских писателей своего времени, приблизился к Булгакову, оставаясь при этом Ландольфи. Разуверенность Ландольфи в обстоятельствах *внешней* жизни укрепляла его веру в твердыню *внутренней* жизни, которую писатель мерил литературным, а не общественным аршином (и уж тем более не плотским, подобно зоркому обывателю Альберто Моравиа). По сути, оба писателя — и Булгаков, и Ландольфи — писали "в стол": только один в буквальном смысле, а другой, за отсутствием тоталитарного императива, — в переносном. Ну а поскольку рукописи и вправду не горят, то параллель Ландольфи — Булгаков вполне допустима, ибо все творчество Ландольфи есть некоторым образом *кровавый подбой* итальянской литературы XX века.

Ландольфи принято считать вечно преждевременным писателем, будущим писателем. Никто бы, пожалуй, не удивился, раскопай Идолина Ландольфи в бумагах отца затерянную рукопись долгожданного шедевра: в Италии появился бы новый "Gattopardo"[1], для всеобщего признания которого уже не понадобилась бы экранная версия нового Висконти.

Многие сходятся во мнении, что шедевра Ландольфи мы все же не дождались. Но и это, по-моему, не так. Ландольфи оставил после себя главный свой шедевр, сознательно и щедро рассеянный по всем его произведениям, — это невиданный, головокружительный язык, неповторимое стилистическое кружево, сравнимое разве что с литературным узором русских учителей Ландольфи, в число которых входят и Лесков, и Достоевский (как известно, перу Ландольфи принадлежат переводы "Очарованного странника" и "Записок из подпо-

1. Знаменитый роман (в русском переводе "Леопард") итальянского писателя Дж. Томази ди Лампедуза, опубликованный только после смерти автора.

лья"). Язык Ландольфи, словно судорожные и очарованные мысли человека из подполья, запрятан в глубь привычного языка. Время от времени он выглядывает на поверхность текста, как достославный *таракан от детства* капитана Лебядкина, скрыто процитированного Ландольфи в рассказе "Тараканье море", и, не выдержав мучительного блеска отполированных фраз, тут же ныряет назад — в отнорки расходящегося смысла. Язык Ландольфи — один из единичных примеров итальянского литературного языка, в котором нет и намека на расхожее итальянское сладкоречие, столь соблазнительное для носителей этого вечнозеленого и часто пустоцветущего языка. Говорят, Толстой нарочно ломал фразу, ежели она казалась ему слишком красивой. Осмелюсь предположить, что Гоголю, Лескову или Ландольфи ломать фразы было незачем: все и так выходило само собой. Крайнее положение Ландольфи в этом ряду имеет свои преимущества: оно позволило писателю сделать себе прививку не только от литературной вульгарности и ангажированности, но и от такого типично русского вируса высокой литературы, как учительство. Придя в литературу с исконным ощущением языка как бездны, Ландольфи никак не мог просто на нем щебетать, разнося окрест более или менее пригодные рецепты. Рецептура Ландольфи как писателя высокой пробы (метрики вещь упрямая: дворянский род Томмазо Ландольфи восходит к Томмазо д'Аквино — Фоме Аквинскому) весьма характерна для своего века: никакой рецептуры. Ландольфи никуда не зовет, никого не наставляет, ничего не утверждает. Высшее самоутверждение Ландольфи в его самоотрицании, в стремлении к предельной сдержанности, к чистому, дистиллированному Стилю.

В ближний круг литературных родственников Ландольфи я бы включил и другого русского писателя, родство с которым напрашивается само собой, — Андрея Платонова. Жаль, что при жизни эти авторы и современники никак не пересеклись. Жаль, что Ландольфи не приметил в зрелом Платонове своего литературного двойника. Жаль, что не нашлось в Италии доброго советчика, указавшего бы Ландольфи на его диковинное перевоплощение в дебрях советского гетто изящной словесности. Остается только гадать, что бы это был за Платонов, итальянский Платонов, пропусти его Ландольфи через свою переводческую реторту. (Автор знаменитого рассказа-провокации "Прогулка" — "La passeggiata", — написанного на языке, настолько необычном, настолько "периферийном", что поначалу воспринимается как сплошной набор итальянских "глоких куздр", Ландольфи мог направить свои лексико-грамматические стопы, пожалуй, только в город Чевенгур, где в мире и языке правит оголтелая платоновская инверсия.) Ведь оба писателя, каждый в силу известных обстоятельств времени и места, пользовались, выражаясь словами Иосифа Бродского, фиктивным языком, который в свою очередь породил фиктивный мир и сам же впал от него в грамматическую зависимость.

В предисловии к роману Платонова "Котлован" Бродский пишет, что "наличие абсурда в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о человеческой расе в целом". У Ландольфи мы имеем дело с индивидуальной писательской интуицией, чутко уловившей условность целого миропорядка, а не только социальной Утопии (Платонов скорее отшатнулся от *социальной* условности, в которую было поверил; отшатнулся, заглянув в пропасть ее свихнувшегося языка и навеки это языковое полоумие запечатлев). Если за эпизод с медведем-молотобойцем из "Котлована" Платонова действительно следует считать подлинным сюрреалистом, то и Ландольфи за сцену уестествления Лукреции голубым червячком из "Тараканьего моря" можно смело посвятить в рыцари сюрреалистического ордена. Но опять же: сюрреализм Ландольфи — этот сюрреализм *без* сюрреализма, как говаривал теоретик литературы Дж. Контини, — составляет, если так можно выразиться, личную драму писателя. Литературный подвиг Платонова, дерзнувшего усмирить коллективное бешенство "одной шестой", схоронив его на дне бумажного

котлована и залив типографским ювенильным морем выхолощенного бытия, граничит с актом *гражданского* неповиновения. Ставка Ландольфи выше. В своей партии с жизнью он сразу пошел ва-банк, решив скомпрометировать не просто общественное устройство, каким бы оно ни было — гуманным ли, бесчеловечным или утопическим, — но объявить об Утопии и времени, и пространства, и жизни, и смерти.

На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

Не приемля *такой* мир, поэт — русский поэт — выносит его за скобки творчества. Обнуление безжалостного мира железным обручем цифры и буквы "о" — вынужденный прием самообороны художника.

Ландольфи чувствовал, что литературный Опыт, который у всех приблизительно одинаковый, ничего, собственно, не решает (начавшись с буквы "о" или с нуля, он, этот опыт, если это серьезный опыт, в итоге к нулю же и тяготеет). Решает материал.

Материал писателя — Слово: другого нет. Именно о силе и бессилии Слова, о крепости и недостаточности Слова, бывшего для Ландольфи и щитом и шпагой, сказано в стихотворении "Тщетно слово, оно не поможет" ("La liquida vertigine") из сборника 1972 года "Фиалка смерти":

E vana la parola e non ci assiste
Quando, a colmare il cuor nostro,
    vorremmo
La liquida vertigine dei tasti,
Le matasse degli archi,
Le cacce degli ottoni.
Oh misera parola, grave
Di definite significazioni,
Negata a libertà, d'inferno schiava.

Тщетно слово, оно не поможет,
Когда сердца наполнить захотим
Текучим головокруженьем клавиш,
Смычков нагроможденьем,
Охотничьим призывом духовых.
О слово жалкое, ты обременено
Извечной точностью значений,
Свободе чуждое, у ада ты в неволе.

И далее:

Nulla significare, nulla dire:
Tale forse il supremo atto d'amore.

Не значить ничего, не говорить —
Не в этом ли венец любви.

Говорится в нем и о недосказанности как кульминации высказывания и наконец о *молчании* как наивысшей форме переживания. Изначальные вопросы Ландольфи (они же и "последние" его вопросы): что же будет? и зачем все? в конце пути вдруг разрешаются молчанием Автора. Не потому, что Автору нечего сказать, а потому, что все сказано. Трагизм жизни, переданный не сюжетом, а словом, "языковая неизбежность" сменяются неизбывностью тишины. Автор замирает на пике своего опыта. И удерживает паузу.

Впрочем, не только литературный, но и жизненный опыт у всех, в сущности, один: рождение, жизнь и смерть. Поэтому Ландольфи особенно никаким опытом не щеголял. Понимая, наверное, что никакого особенного опыта у него быть не может. Он лишь сторонился жизни, ускользал от нее. Чтобы лукавая, чего доброго, не попутала.

Марио Луци, крупнейший из ныне живущих итальянских поэтов, которого связывала с Ландольфи и дружба, и совместная работа, рассказывает, как однажды Ландольфи зачем-то купил себе вполне зверский по мощи мотоцикл. Оседлал он того железного коня, облачившись в совершенно неподобающее для езды плотное зимнее пальто, и отправился в этой полной выкладке ни много ни мало из Флоренции к себе в Пико. Это примерно как от Манежа до Костромы. А то и подальше. Скажем, тропой впечатлительного Орландо, на Луну, куда Томмазо Ландольфи в тот раз, вероятнее всего, и наведался (что это, как не насмешка над неукоснительностью автострад?). Опыта нет, зато есть материал: он-то все и решает. Представляю, чего только Ландольфи не насочинял за время своей *неистовой* гонки...

Какой итальянец не любит быстрой езды?

Томмазо Ландольфи

Бекас

Новелла

КОРОЧЕ, с ней надо кончать, твердил себе Стефано. Джованна была из тех женщин, которые в упрямстве проявляют бездну слабости, а в уступке — скрытое упрямство. Иначе говоря, она была настоящей женщиной. Что ж, тем хуже: значит, женщины теперь вообще не для него. А главное, стоило ли и дальше изводить себя днем и ночью, понапрасну пытаясь разгадать ее, да и свои собственные мысли и чувства? Он явно нуждался в отдыхе, в простых и надежных вещах, в участии, а не в любви и уж, во всяком случае, не в страсти. Он пробежал ее последнее письмо: "Почему ты не пишешь? Ты злишься на меня? Что я тебе сделала? Почему ты не со мной?" Действительно, почему он ей не писал? Потому что не хотел. Потому что в этом не было необходимости. Это простое объяснение и было единственно верным? Стефано вынужден был признаться, что нет. Пожалуй, он не писал лишь потому, что решил не писать, и теперь это безумие целиком охватило его жизнь; именно жизнь, а не волю, которая выглядела смиренной и подавленной. Возможно, безумие было неосознанной тягой к страданию, за себя и за нее, к самоуничтожению. Возможно, стремлением подтолкнуть ее и себя к последнему пределу, вытеснить факты и события из их привычного убежища, направить на достижение наивысшего, пусть даже чудовищного, результата. Над этим пунктом следовало поразмыслить. Но опять же: зачем? Что за скучные рассуждения? По какому праву ему навязывают их? "Любимый, любимый, любимый, не заставляй меня говорить (и делать) глупости. Ты *нужен* мне, понимаешь? Приезжай, ты же знаешь, я не могу приехать. Приезжай прямо сейчас, немедленно". Значит, это был порыв чувств, а не насилие, не доказательство своей власти, не угроза и не шантаж? А он, хотел ли он бежать к ней или не хотел? Конечно, насилием было если не само письмо и надуманные укоры, то ее не-

© Г. Киселев. Перевод, 2003

внятные чувства, а если и внятные, все равно... и потом эти ее навязчивые идеи: если она и вправду любила его, почему же он не стремился в ее объятия? Как тут не усомниться в искренности ее чувств, как не злиться на нее за отсутствие встречного чувства? Он вспомнил ее широко расставленные глаза, казалось, ничего перед собой не замечающие, слегка навыкате, ласковые и влажные... Неужели в нем действительно сидело неосознанное желание причинить ей боль, чтобы довершить это дело, увидеть муку в ее сверкающих глазах?

В гневе он швырнул письмо на стол, схватил ружье и вышел. Былой страсти к охоте Стефано уже не питал, особенно после того случая: излишне близким выстрелом зайцу оторвало всю лапу вместе с бедром и разворотило брюхо. Когда охотник был рядом, зверь заглянул ему в глаза и отчаянно попытался бежать. Тем хуже: чем еще, как не охотой, можно заняться в здешней глуши? Впрочем, в этот поздний час рассчитывать на дичь не приходилось.

За деревней поднимался холм. На его теневой стороне разлеглась рощица, почему-то прозванная "Январией". Солнце появлялось здесь на краткое время заката. Стефано двинулся вдоль опушки, потом свернул на просеку. Собаки у него давно не было, и он шел наугад. Стоял морозный январский день, было довольно ветрено. Сырые заросли кустарника подернулись инеем. Солнце сплошь заливало небо по ту сторону холма, но сюда еще не дотянулось. В этих местах водились бекасы. Стефано почти миновал просеку, не заприметив ни одного. Так он и думал: какая охота без настоящей облавы?

Вдруг поодаль взметнулся бекас и полетел через холм. Было слишком далеко, и все же он дал выстрел. Стефано не разглядел, упала птица или нет. Он бросился вперед.

Бекаса зацепило за самый край крыла. Птица лежала на земле, глядя на него широко расставленными глазами, ласковыми и слегка навыкате. Сейчас в них застыло скорее удивление, чем испуг или негодование. Она была не так огорчена или возмущена, как поражена случившимся. Птица неловко подпрыгивала, из последних сил пытаясь спастись бегством. Неловко, потому что ходьба не была ее обычаем. Но жизнь не останавливалась в ней ни на миг. Догнать птицу было нетрудно.

С ней надо, надо было кончать. Оставлять ее в живых бессмысленно: если бекас не может летать, он обречен на смерть. Стефано несколько раз ударил его о землю. Расхожий охотничий способ прикончить пернатую добычу. Другой способ, придушить жертву, сжав ей глотку большим и указательным пальцами; либо, если оперение густо, надавить на глотку ногой, переложив на ногу весь свой вес. Но одного удара было мало. Сверкающие глаза птицы, в которых едва заметно отражалось мучение, не угасали, а наоборот, смотрели на него все пристальнее. В них еще дрожало изумление и не было упрека. Они излучали жалость и прощение, словно говоря, что вся эта неимоверная жестокость исходила не от него, а от слепой судьбы, той самой, что подвергла ее смертельной опасности. Как будто он страдал больше, чем она. "Что за нелепые мысли, нервы совсем ни к черту", – подумалось Стефано.

Пора прекратить эту агонию, эту пытку. Стефано с удвоенной силой бил несчастное тельце о землю, не узнавая самого себя в этом оскорбительном, смертоносном жесте. Им овладел отчаянный, пьянящий восторг. Он чувствовал безграничную, зловещую силу и в то же время растерянность. Губительная жалость к себе и другим переворачивала все его существо, и воля его, казалось, была сломлена. Жертва слепого могу-

щества, он ликовал и мучился: эти глаза должны были закрыться навек. При каждом ударе о землю бекас даже не стонал, а тихо попискивал, со свистом выдыхая воздух, подобно дровосеку или всякому, кто занимается тяжелым, однообразным трудом. Эти звуки получались от беспощадного сдавливания внутренних полостей бекаса. В конце концов, их мог бы издавать его мучитель, иначе выходило, что бекас надрывался в одиночку. И ни разу не закрыл глаз.

Но вот случилось нечто странное. В нежных глазах бекаса сверкнула (или это померещилось Стефано?) вспышка гнева, бешенства и ярости. И он направил свой неуклюжий клюв, который еще ни один бекас не употреблял для нападения или защиты, против руки Стефано. Хотя и это, наверное, было его фантазией. Возможно, клюв просто судорожно согнулся и припал к его руке. Взгляд птицы снова приобрел удивленно-ласковое, чуть-чуть обиженное выражение.

Напоследок длинный клюв широко раскрылся, обнажив мягкий язык, дважды сомкнулся ножницами и безвольно замер, полуоткрывшись, как челюсти покойника. Бекас умолк. Остановились и медленно потускнели его глаза. Птица сделалась не более, чем комком перьев, ветошью. Голова дрябло откинулась на сторону. Запихивая бекаса в охотничью сумку, Стефано нащупал сквозь мягкие перья его шею, тонкую и твердую.

Придя домой, он положил одеревеневшего бекаса на стол, рядом с письмом Джованны.

И тут внутри Стефано засиял свет. Настал конец его сомнениям и тревогам. Это была уверенность. Это было счастье. Он взял лист бумаги:

— Джованна, да, я еду прямо сейчас, немедля. Жди, я больше не уйду.

Перевод с итальянского Г. Киселева

Полный словарь английской поэзии

Наташа Спендер: "Стивен был потрясающе независтливым человеком"

От редакции

Леди Наташа Спендер — вдова знаменитого английского поэта и королевского рыцаря Стивена Спендера. Она — очевидец событий, которые стали легендарными в истории поэзии второй половины XX века. Пианистка, специалист по

Наташа Спендер. Фото Г. Шульпякова

психологии музыки, после кончины супруга леди Наташа возглавляет Фонд имени Стивена Спендера, который занимается не только литературным наследием поэта, но также переводами современной европейской поэзии на английский язык. Беседа, которую мы предлагаем вашему вниманию, состоялась осенью 2002 года в доме поэта на Лоудаун-роу в Лондоне. Собеседник Наташи Спендер и переводчик интервью — Глеб Шульпяков.

Глеб Шульпяков. Я знаю, что Стивен бывал в Москве.

Наташа Спендер. Да, он приехал в Москву в 1962 году. Это был частный визит, но в Москве ему все-таки организовали неформальную встречу с представителями искусства. Ее организовал известный коллекционер, он был греком и звали его, кажется, Костакис, поэтому встреча состоялась в греческом посольстве. Среди пришедших в посольство был художник Зверев, например. Эта встреча длилась около часа, когда же Стивен пригласил всех встретиться снова, ему сказали, что повторная встреча опасна.

Г. Ш. Каким он нашел город? людей? что рассказывал?

Н. С. Ну, в Москве у него было много знакомых литераторов. Когда он приехал, сразу же стал звонить в Союз писателей, чтобы узнать их адреса и встретиться. Но секретарша твердила, что встреча невозможна. "Почему?" — спрашивал Стивен. Оказалось, что этот писатель сейчас на даче, этот пишет книгу и никого не принимает, этот — "какая жалость!" — попал в больницу. Как у Кафки. В общем, они делали все, чтобы он их не увидел. Но Стивен не унимался: он пригласил всех к себе. Но через некоторое время ему перезвонили из Союза и доложили, что никто не хочет его видеть. Представляете? Это происшествие имело продолжение: когда Стивен уже уехал, обо всем этом безобразии узнал Твардовский. Он был жутко зол и, будучи в Лондоне, стал искать встречи со Стивеном, чтобы как-то загладить "московский прием". Они встретились и провели вместе несколько часов. Все было прекрасно, только мне показалось, что Твардовский был немного шокирован тем, что на ланч был приглашен Хью Гейтскил, лидер оппозиции в парламенте. Он считал, что писатель не должен иметь никакого отношения к политике. Он не понимал, что в Лондоне это в порядке вещей.

Г. Ш. Был ли Стивен, что называется, "в политике"?

Н. С. По большому счету конечно же нет. Просто он много помогал людям, которые существовали в репрессивных обществах.

Г. Ш. У вас русское имя. Откуда?

Н. С. Моя мать была русской. Ее увезли в 1900 году, и она не помнила языка. Родители эмигрировали из Таллина в Шотландию. Она была совсем маленькой тогда. А вот мой отец — он англичанин.

Г. Ш. Как складывалась ваша судьба в Англии?

Н. С. Меня воспитывали в провинции, потом я перебралась в Лондон, где стала студенткой музыкального колледжа. Там я и встретила Стивена. Мы поженились в 1941-м. Он был на десять лет меня старше, уже успел побывать в Германии, Испании и вообще был известным поэтом.

Г. Ш. Он рассказывал вам о своих годах в Оксфорде?

Н. С. Да. Но не очень много. Как я поняла, его не слишком интересовало то, что он там изучал. Он хотел изучать литературу, но вместо этого пришлось заниматься философией, политикой и экономикой. Зато знакомства! В Оксфорде он встретил своих друзей — тех, кто был с ним потом всю жизнь. Исайя Берлин, Оден, Макнис.

Г. Ш. Я знаю, что Стивен первым напечатал стихи Одена.

Н. С. Да, было дело. Как-то Оден гостил у Стивена в Хэмпстеде, и Стивен сделал вручную несколько оттисков его первой книжечки.

Г. Ш. Недавно в России вышел роман Кристофера Ишервуда "Прощай, Берлин". Насколько он автобиографичен — если учесть, что Ишервуд, Оден и Спендер вместе проводили время в Германии?

Н. С. Многое из того, что написал Кристофер, правда. И Стивен выведен там, и Оден. Там есть персонаж, Наталья Ландауэр. Помните? Дочь богатых еврейских предпринимателей. Ее настоящая фамилия "в жизни" — Соловейчик, и Стивен был влюблен в нее еще до того, как поехал в Берлин. После войны мы узнали, что она вышла замуж за племянника Андре Жида. Еврейка, она жила в Париже, но немцы не тронули ее, потому что у нее в родственниках был Андре Жид. Это ее и спасло. Ее родители, кстати, владели огромным магазином в Москве. В двадцатых они вынуждены были переехать в Берлин и открыть свой магазин там. Оттуда их выгнали нацисты, и магазин открылся те-

перь уже в Париже. И из Парижа где-то в сороковых ее родители попали в концентрационный лагерь в Польше. Потом Польшу захватили русские и ее родители оказались в лагере в Сибири. Страшная судьба! Только под конец жизни им удалось вернуться и прожить остаток — пять-шесть лет — с дочерью.

Г. Ш. Почему Берлин? Почему не Италия или Франция?

Н. С. Тогда все ездили в Париж, во Францию. А эти хотели быть другими — даже на уровне географии. Никакой франкофилии, решили они. Тем более что стихи Стивена из "Критериона" были переведены на немецкий, так что... И потом, тогда в Англии царили довольно чопорные нравы — существовала негласная цензура, и многие вещи просто нельзя было здесь напечатать.

Г. Ш. Макнис говорил, что Спендер выглядит как ангел, который не знает о том, что он падший. Откуда такой афоризм?

Н. С. Ну, Макнис был горазд на такие вот штучки. Здесь больше его остроумия, чем реальности. Но такие фразочки, как правило, остаются в истории.

Г. Ш. Кто из этой компании был вам наиболее симпатичен? Оден? Макнис?

Н. С. Мне нравился Оден — в некоторых своих проявлениях. Но видите ли в чем проблема: как только у Одена появлялся выбор между подлинным чувством и формальностями стихосложения, он всегда выбирал форму. Оден был поэтом, который создавал вербальные артефакты. Что касается Луиса Макниса, то он был мне просто близким другом. Я вообще считаю, что это недооцененный поэт, что он часто был наравне с Оденом. Просто он умер рано. И в мире не успели создать то, что можно назвать "индустрией Макниса", как это случилось с Оденом, чья "индустрия" была еще как налажена.

Г. Ш. Какую роль играл в этом треугольнике Спендер? Как вообще распределялись роли? Кто с кем соревновался?

Н. С. Стивен был потрясающе завистливым человеком. Да, он был амбициозен в том плане, что если он пишет стихотворение, это должно быть его лучшее стихотворение. Но чтобы при этом соревноваться с кем-то — нет, такого не было. Он всегда был сам по себе. Другое дело Сесил Дэй-Льюис, еще один участник "банды". Тот действительно чувствовал некую конкуренцию с Оденом — в большей степени, чем все остальные. Но ведь сначала они были друзьями, а потом — поэтами, так что...

Г. Ш. Есть миф о некой "поэтической банде", которая сформировалась еще до войны. Оден, Макнис, Дэй-Льюис, Спендер...

Слева направо: Оден, Спендер и Ишервуд. Германия, 30-е годы

Н. С. ...тем более смешной, что они вместе толком ни разу так и не встретились. По отдельности — да, но чтобы "бандой" в по́лном составе — такого до войны, по крайней мере, не было. Смешно, правда? Какая уж тут банда. Это была в том числе и идея Стивена — выдумать некую "группу поэтов". Но эта идея имела смысл, поскольку все они хотели как-то отгородиться от прошлого, противопоставить себя предыдущему поколению английских поэтов начала века, таким георгианцам, как Уолтер де ла Мар, Фрэнсис Корнфорд. Отсюда и пошел этот миф — как антитеза.

Г. Ш. Насколько мне известно, Оден часто гостил в этом доме.

Н. С. Да, раз в год примерно. Сидел как раз там, где вы сейчас сидите. Только подкладывал под себя словари — они на полке, за вами.

Г. Ш. Откуда история со словарем?

Н. С. Однажды, вскоре после нашей свадьбы, Стивен встречался с Робертом Грейвзом. Грейвз спросил, есть ли у Стивена Большой оксфордский словарь английского языка. Стивен сказал, что нет. "И после этого вы называете себя писателем?" — усмехнулся Грейвз. После чего Стивен пошел и купил все эти тома. Так вот, Оден подкладывал под себя эти книги. Чтобы сидеть повыше.

Г. Ш. Да, об этом есть в эссе Бродского об Одене.

Н. С. Бродский тоже гостил в этом доме. Первую ночь в Лондоне, когда он прилетел из Вены, он провел под этой крышей.

Слева направо: Оден, Дэй-Льюис и Спендер. Венеция, 1949 год

Г. Ш. Каким он вам показался?

Н. С. Меня поразила его образованность. В один из первых наших вечеров мы отправились на ужин, где должен был быть популярный поэт Джон Бетжмен. С нами был Оден, он что-то процитировал из Бетжмена, и вдруг Бродский совершенно спокойно ответил ему другой цитатой. Оказалось, что он знал Бетжмена не хуже Одена! Так они и сидели за столом, перебрасываясь цитатами.

Г. Ш. Вы слышали о Бродском раньше?

Н. С. Я помню, что когда в Лондоне была Ахматова — она получала почетную степень в Оксфорде, — она рассказывала нам об Иосифе, и мы, кажется, даже передавали для него книги в Россию. Сборник Джона Донна, в частности.

Г. Ш. Этот сборник довольно часто фигурирует в его воспоминаниях, так что ваш подарок стал вполне легендарным. Каким был разговорный английский Бродского?

Н. С. Вполне свободным, да, свободным. Правда, он все время жаловался на него, но совершенно зря. Он вообще очень хорошо держался, великолепно для человека, который еще пару недель назад... хотя я видела, насколько это ему трудно дается, насколько ему тоскливо. Я видела, что он все еще на грани шока — после всего, что с ним произошло: и там, и тут. Однажды я отвела его на чай к Исайе Берлину, потом зашла за ним и вот тут-то наконец заметила, как он повеселел. И знаете почему? Два часа он говорил по-русски. И еще один забавный момент. Нам предстояло идти на чтения, которые устраивал Международный поэтический конгресс, но мы не успевали заскочить к нам домой, так что я предложила отправиться на чтения, не заходя сюда. Иосиф страшно побледнел и признался, что у него нет с собой паспорта. "Но вам совершенно не нужно носить с собой паспорт в Лондоне", — ответила я. "Вы уверены?" — спросил он. Еще один эпизод — он наверняка писал о нем. Однажды вечером мы ехали по мосту и был виден Вестминстер и что там горят окна, а значит парламент все еще заседает. Я предложила Иосифу зайти посмотреть — здесь это возможно, — и он был потрясен, как если бы вот так, с улицы можно было бы заглянуть в Кремль. Полисмен на входе молча впустил нас, и это тоже потрясло Иосифа. Внутри шли дебаты о финансах, мы сели наверху, на галерее, и через несколько минут я заметила, что Иосиф тихо смеется. "Как же это скучно!" — выдавил он сквозь смех.

Г. Ш. Я знаю, что Спендер как-то участвовал в лондонских чтениях Евгения Евтушенко. Так ли это?

Н. С. Чтения организовывал Британский совет. Они пригласили Стивена в качестве почетного председателя в "Роял корт", где он читал. На выступление Евтушенко приехал в обычном костюме, но перед выступлением, к удивлению Стивена, переоделся в рабочую спецовку. Стивену этот маскарад не слишком понравился. Потом, когда задавали вопросы, кто-то спросил его о гонениях на Пастернака. "Почему бы вам не написать об этом стихи?" — спросили Евтушенко, и он ответил в том плане, что, мол, не пишет о тех, кто зарабатывает на литературе твердую валюту. Видимо, он имел в виду Ольгу Ивинскую, которая получала гонорары за переводы "Доктора Живаго".

Г. Ш. Каким постояльцем был Оден? Зачем он приезжал?

Н. С. Он приезжал раз в год на Международный поэтический конгресс, ну и так, повидаться с друзьями, издателями, встретиться с Элиотом. Хотя по большому счету мне казалось, что как раз друзей ему и не хотелось видеть.

Слева направо: Спендер, Оден, Хьюз, Элиот, Макнис. Лондон, 1961 год

Г. Ш. Почему?

Н. С. Потому что друзья стареют. Однажды вечером он составил список своих лучших друзей. Похвастаюсь: мы были в самом начале, но не первыми, поскольку первым был художник Уильям Колдстрим. Дни их рождения, Уильяма и Стивена, кстати, совпадали, и я предложила Одену пригласить его к нам на праздничный ужин. "Нет", — мрачно ответил он. И я поняла, что ему больше нравится думать о том, каким он был когда-то, нежели видеть таким, каким он стал сейчас. Он под конец жизни вообще был очень одиноким и грустным. Вряд ли он хотел возвращаться в Оксфорд. Да и пил по-прежнему много.

Г. Ш. Зачем он переехал в Оксфорд во второй раз?

Н. С. Зимой Честер не хотел жить с ним в Австрии, и чтобы не оставаться там совсем одному, он выбрал свой колледж, Крайст-Черч. Когда он вернулся в Оксфорд первый раз и читал там курсы, он был жутко популярен среди студентов. Все знали, в каком кафе он сидит, и заходили поглазеть на него. Он был знаменитым! Когда же он переехал в Оксфорд во второй раз, он был уже стар, да и мало кто им все еще интересовался. Он всем надоел с одними и теми же историями. От него держались подальше. Печальное, в общем, зрелище.

Г. Ш. А в вашем доме?

Н. С. Мы любили Уистена, надеюсь, он это чувствовал. Он жил в кабинете Стивена, полностью им завладевал. Требовал, чтобы еду подавали строго в одно и то же время... Как-то вечером у меня была лекция в Лондонском университете. То есть домой я могла бы попасть только в полвосьмого. Зная привычку Уистена, я позвонила ему и сказала: "Уистен! Ужин будет как обычно полвосьмого, если ты выполнишь одну мою маленькую просьбу. Ровно в семь часов тебе нужно поставить цыпленка в духовку. Хорошо?" Он невозмутимо согласился. И что вы думаете? Вернувшись, я обнаружила в абсолютно холодной духовке абсолютно сырого цыпленка.

Г. Ш. Любил ли он Лондон?

Н. С. Да, но всегда говорил, что Нью-Йорк лучше. Первый раз он заявил об этом, когда приехал в Лондон после войны. Представляете? Мы только что выкарабкались из войны, кругом разруха, а тут Оден со своим Нью-Йорком. Но приезжать в Лондон всегда любил. Называл наш дом "гнездом".

Г. Ш. Вы бывали у него в Австрии?

Н. С. Да, однажды. Ничего, симпатичный дом, он обожал его, для него он был раем, хотя за окном шумела автострада, но... там он был счастлив.

Г. Ш. В России, в издательстве "Независимая Газета", только что вышла на русском книга бесед Одена с Аланом Ансеном "Table-Talk". Есть ли еще книги, где бы Оден был "совсем как в жизни"?

Н. С. Лучшая книга об Одене "в жизни" — это даже не "Table-Talk", а "Уистен и Честер", автор Текла Кларк. Там Оден — аутентичный. А лучшую биографию написал Ричард Давенпорт Хайнц.

Г. Ш. А что с современными биографиями Спендера?

Н. С. Завтра я лечу в Нью-Йорк, нужно помочь биографу встретиться с людьми, которые знали Стивена в Америке. Он ведь был первым и последним иностранцем, занявшим пост поэта-лауреата при Библиотеке Конгресса. Это было в 1965 году. До этого он много преподавал в университетах США.

Г. Ш. Английские поэты довольно часто едут в США. Что так?

Н. С. Здесь они не могут заработать себе на жизнь, вот и все. Если, конечно, они не профессора колледжей. Ему нравилась Америка, он любил преподавание. Но все это было в ущерб семейной жизни, конечно. При этом он был соредактором журнала "Энкаунтер".

Г. Ш. Вот об этом поподробнее, пожалуйста.

Н. С. После войны стал выходить англо-американский журнал, в котором Стивен был редактором с английской стороны и заведовал литературной частью. Это был ежемесячный журнал литературы и идей, так скажем. Потом, правда, все больше места стали занимать политика и социология (за нее ратовал американский редактор), и Стивену все труднее было выбивать в журнале место под литературу. Но поначалу журнал был очень живым, он, например,

печатал полемику вокруг Пастернака. Пастернак, кстати, хорошо знал стихи Стивена. В одном письме к Стивену, я его вам потом покажу, он просил поблагодарить Эдмунда Уилсона за статью о нем и цитировал стихотворение Стивена — "В 1929 году", — где отождествлял себя с одним из героев. В этом стихотворении 29-го года Стивен говорит, что через десять лет будет война. В то время мало кто мог это предположить. А что, Пастернак все еще классик в России?

Г. Ш. Сто процентов. И еще об одном журнале, если можно. Я имею в виду "Индекс на цензуру".

Н. С. Однажды за завтраком Стивен прочитал в "Таймс", что на знаменитом процессе Гинзбурга и Галанскова в защиту обвиняемых выступили Павел Литвинов и Лариса Даниэль. Они призывали мировую общественность протестовать против несправедливости советского суда. Надо было действовать, но была суббота, а до понедельника здесь никто действовать не будет, таким образом до понедельника ребята попадут в тюрьму.

Поэтому мы обзвонили наших друзей, которые согласились подписать телеграмму в защиту этих ребят. Телеграмму подписали Стравинский, Оден — сорок имен, в общем, там стояло. И мы послали ее. Уж не помню, на какой адрес, но то, что она ушла еще и в агентство "Рейтер", — точно. Потом все затихло. Мы переживали, что навредили, что им теперь будет только хуже. Но летом 1968 года к нам с оказией пришло письмо от Литвинова и Даниэль, которые благодарили нас за телеграмму: она им помогла. Потом то же самое подтвердил и сам Литвинов, когда сидел уже за этим столом. Вот тогда-то мы и решили издавать журнал, в котором бы фиксировались и описывались все случаи подавления свободы творчества и печати. По всему миру. От Албании до Заира. По алфавиту. Отсюда и название. Тогда же, кстати, Би-би-си делала опрос известных людей по этой теме, и они приехали в больницу к Стравинскому, который сказал замечательную, ироничную вещь. Он сказал что-то вроде того: "Царская охранка сделала жизнь моего учителя Римского-Корсакова невыносимой. Я не хочу, чтобы великий Советский Союз повторял ее ошибки".

И это высказывание мы тоже напечатали.

Память культуры

Оскар Уайльд в России. Библиографический указатель. 1892–2000. Литературные приложения: Переводы из Оскара Уайльда. Сост. и вступ. Ю. А. Рознатовской. М.: Рудомино, 2000.

Марсель Пруст в русской литературе. Сост. О. А. Васильева, М. В. Линдстрем. М.: Рудомино, 2000.

Морис Метерлинк в России Серебряного века. Сост. М. В. Линдстрем. Вступ. ст. Н. В. Марусяк. М.: Рудомино, 2001.

Максима Макиавелли. *Уроки для России XXI века.* Статьи. Суждения. Библиография. Под общ. ред. Петра Баренбойма. М.: Рудомино, 2001.

Шарлотта Бронте and Another Lady. Эмма. Сестры Бронте в Англии. Сестры Бронте в России. Сост. И. Н. Васильева, Ю. Г. Фридштейн. М.: АСТ, 2001.

Камоэнс в русской литературе. Век восемнадцатый – век двадцатый. Сост. и вступ. статья Т. В. Балашовой. М.: Рудомино, 2002.

Джейн Остен. *Леди Сьюзен. Уотсоны. Сэдинтон.* Перев. с англ. Изд. подгот. И. Н. Васильевой, Ю. Г. Фридштейн. М.: Текст, 2002.

Есть книги, которые заведомо не претендуют на роль бестселлеров, но без которых невозможно нормальное развитие культуры. Есть наука, от века считавшаяся скромной и вспомогательной, но всегда и везде выступавшая опорой для самых дерзких и новаторских разысканий. Эта наука — библиография, а книги — библиографические указатели.

Уже много лет ни один уважающий себя литературовед-зарубежник не обходится в работе без указателей, составленных специалистами Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. В советскую эпоху с ее суровой информационной диетой их "первичное" значение было поистине неоценимо. Сейчас, когда книги уже не отгорожены от читателей стенами спецхранов (зато нередко гибнут из-за недостатка средств и равнодушия), а информацию можно без особого труда добывать в Интернете, эта функция указателей отчасти отошла на второй план — однако тем четче обозначилась еще одна, прежде заслонявшаяся сугубо прикладными потребностями.

Профессионально составленная библиография о зарубежном писателе всегда служит зеркалом — и часто нелицеприятным — состояния отечественной культуры, ее идей и предрассудков, движений мысли и идеологических штампов. Заслуга сотрудников научно-библиографического отдела ВГБИЛ, силами которого составлены рецензируемые указатели, в том, что они не только осознали эту важнейшую составляющую своей работы, но и придали ей характер стратегии. Новые книги, выпущенные отделом, — это уже не просто перечни литературы о том или ином авторе, но, по сути, исследования, раскрывающие его роль в русской культуре, либо в целом, либо какого-то конкретного исторического периода. При этом они, как правило, выполняют еще одну задачу (особенно ценную в свете нынешнего состояния нашего библиотечного хозяйства): не только подсказывают заинтересованному читателю, что́ именно искать в каталоге, но и предоставляют ему подборку текстов, своеобразную антологию, наглядно рисующую "русскую судьбу" данного писателя.

У сборников, составленных отделом, нет какой-то единообразной структуры: соотношение их библиографической и "литературной" частей довольно сильно варьируется. Некоторые из них приближаются к классическим научным указателям, дополненным небольшой текстовой подборкой. К числу впечатляющих удач в этом кропотливом жанре принадлежит блестящий "Оскар Уайльд в России" — книга, образцовая по филологической строгости подачи материала: с четкой и логичной рубрикацией, пятью (!) вспомогательными указателями и обстоятельной и тонкой вступительной статьей составителя Ю. А. Рознатовской, которая украсила бы научное издание любого ранга. В ней читатель найдет исчерпывающие сведения о рецепции творчества Уайльда в России — от шумного вторжения "Оскара Вильде" в русскую культуру на знаменах символизма до "уайльдовского бума" последнего десятилетия, с точными, зачастую убийственно ироническими оценками новых изданий и откликов на них. Нужно отметить и взвешенный подход исследовательницы к тому периоду "уайльдианы", когда "Уайльд с его эстетством, более чем сомнительными для наших кураторов культуры взглядами на искусство и прочими грехами был явно нежелателен" и его "терпели" в лучшем случае как разоблачителя "пагубного влияния капитализма на искусство" (Ф. П. Шиллер). Именно эта взвешенность позволяет выявить роль Уайльда как знаковой фигуры: сдвиги в его оценках позволяли судить о мере тяжести идеологического пресса, а пересмотр отношения к его эстетике в работах А. А. Аникста стал ни больше ни меньше как "покушением на методологические основы нашего искусствоведения". Тем самым Уайльд с его принципиальным нонконформизмом и эпатирующим эстетством, признаваемый советской идеологией лишь в качестве "обличителя" капиталистического строя, сыграл свою "подрывную" роль в распаде этой идеологии. Отдельный и весьма насыщенный раздел статьи Ю. А. Рознатовской посвящен сценической истории его пьес.

Книга впечатляет широтой охваченного материала (в подавляющем большинстве случаев он просмотрен de visu; редкие исключения специально помечены) — от переводов произведений писателя и критических работ о нем до "беллетризированных биографий Уайльда, произведений, где Уайльд является действующим лицом или объектом рассуждений и упоминаний, а также эпиграфов из Уайльда, пародий, стилизаций, произведений, написанных по мотивам Уайльда". В этом последнем разделе собственно библиографические описания дополнены либо краткой характеристикой данного произведения или фрагмента, либо соответствующей цитатой.

С тем же научным изяществом подобрано и литературное приложение к указателю: в него вошли прежде не публиковавшиеся переводы двух уайльдовских сонетов, выполненные М. Н. Ковалевой, а также пять переводов знаменитой "Баллады Редингской тюрьмы", относящихся к разным эпохам (от К. Бальмонта до В. Топорова). Читатель получает возможность судить о различных принципах и школах русского перевода, сопоставив эти переводческие работы с приведенным здесь же оригиналом.

На другом полюсе в книжной продукции отдела стоят "чистые" антологии, такие как, например, "Камоэнс в русской литературе. Век восемнадцатый — век двадцатый". Гениальный португальский поэт эпохи Возрождения, казалось бы, не самая актуальная для русского культурного сознания фигура, однако при внимательном рассмотрении его "бытие" в отечественной словесности оказывается достаточно длительным

и плодотворным. На страницах антологии соседствуют писатели самых разных направлений, произведения самых разных жанров — от Ломоносова, впервые упомянувшего имя Камоэнса в своем "Кратком руководстве к красноречию" (1748), и до А. М. Городницкого, чье стихотворение "Гробница Камоэнса" (1990) завершает сборник. Тексты Сумарокова и Жуковского, Пушкина и Брюсова, В. Соловьева и Л. Зорина, перекликаясь, создают впечатление постоянного, как бы "фонового" присутствия певца "Лузиад" в русской культурной памяти. Само по себе это открытие "русской судьбы" Камоэнса заслуживает самого пристального внимания: оно, в частности, позволяет по-новому оценить значение западноевропейского Ренессанса для нашей национальной традиции. Вместе с тем сама структура этого полезного издания обнажает опасность, заключенную в принципе "сплошного" подбора цитат, не подкрепленного ни иными методологическими установками, ни даже полноценным указателем (в книге содержится лишь алфавитный перечень использованных источников). Следуя хронологии авторов — приведенные материалы разбиты лишь "по векам", — составитель как бы не замечает жанровой разнородности приводимых свидетельств: отрывок из романа К. К. Вагинова "Козлиная песнь" стоит бок о бок с фрагментом из работы М. М. Бахтина "Формы времени и хронотопа в романе", статьи Батюшкова и Мерзлякова — со стихами Тютчева и Дельвига и цитатой из "Словаря древней и новой поэзии" Н. Ф. Остолопова. Представляется, что было бы полезно по крайней мере отделить собственно критические работы от переводов, а также чисто литературных фрагментов, где Камоэнс выступает темой разговора либо персонажем, — вроде вынесенного на последнюю страницу обложки отрывка из "Петроградского студента" В. Каверина. Зато, к примеру, два вышедших синхронно (в 1839 году) переложения драматической поэмы австрийского писателя Ф. Гальма "Камоэнс", принадлежащих В. А. Жуковскому и Платону Ободовскому, которые разделяют в книге семьдесят с лишним страниц — лишь потому, что первая цитата из Жуковского, касающаяся португальского поэта, помечена 1805—1807 годами, — лучше смотрелись бы рядом. Наглядное сопоставление двух этих весьма различных текстов позволило бы более рельефно высветить, в частности, позицию Жуковского, вложившего в поэму Гальма собственные представления о сущности поэзии и уделе поэта-романтика, — тем более что помещенный вслед за его "Камоэнсом" фрагмент из книги К. К. Зейдлица дает обильную пищу для подобного рода размышлений.

Конечно, обстоятельная характеристика русской рецепции творчества Камоэнса и самóй трагической фигуры этого "рыцаря Возрождения" содержится во вступительной статье; однако и там читатель не найдет каких-либо научных критериев подачи богатого и интересного материала — зато столкнется с "поэтическим" эссеизмом, иногда на грани комического. Так, статья озаглавлена "Три столетия: радуга Камоэнса на *небосводе* русской словесности", но уже во второй фразе говорится об изменчивой "траектории его движения *в океане* русской культуры" (курсив наш. — *И. С.*). В которую из стихий перенесся Камоэнс в России, так и остается непонятным...

Более продуманной и уравновешенной структурой отличается книга "Марсель Пруст в русской литературе", включающая как собственно библиографический указатель, так и подборку высказываний русских писателей о французском мастере. Использование указателя, доведенного составителями до 2000 года, облегчено дробной рубрикацией, а также не-

обходимыми аннотациями в разделе критики и вспомогательными указателями (к сожалению, последние почему-то не отражены в оглавлении книги). Удачной получилась и первая, антологическая часть, где так или иначе выявлено отношение каждого из представленных авторов к Прусту: этой цели служат как высказывания самих писателей (иногда даже избыточные, как, например, в случае с Горьким, где они во многом дублируют друг друга), так и воспоминания о нем других людей, дневниковые записи и т. п. Возникает живой диалог, в котором "играют" даже самые коротенькие тексты: например, самооценка Андрея Белого (из статьи "О себе как о писателе") подкрепляется анекдотом из статьи П. Зайцева "Московские встречи": "Привез я как-то Борису Николаевичу <Бугаеву> роман Марселя Пруста "Под сенью девушек в цвету". В следующий мой приезд он отдал мне книгу со словами: "Это бормашина какая-то". Внутренняя связь фрагментов, подробно эксплицированная во вступительной статье А. Д. Михайлова, не позволяет сборнику распасться на отдельные цитаты.

Сама статья крупнейшего отечественного знатока Пруста заслуживает особого упоминания. Она изобилует новым и интересным материалом: в частности, подробно описана история восприятия Пруста в среде русской эмиграции, сообщаются неизвестные обстоятельства, связанные с переводом прустовской эпопеи Н. М. Любимовым. Наконец, в книге есть настоящие открытия: впервые за почти восемь десятилетий перепечатана статья о Прусте эмигранта-"антисоветчика" Владимира Вейдле (1924), которая "всеми своими наблюдениями и выводами противополагалась закладывавшейся Луначарским традиции в изучении Пруста"; впервые опубликовано стихотворение А. Кушнера "Биограф гения в халате" (1965). Читатель не только получает подробные ориентиры, позволяющие не заблудиться в русской "прустиане", но и видит наглядную, в лучшем смысле слова увлекательную картину, рисующую роль французского писателя в русской литературе — роль своеобразного оселка, пробного камня, которым поверялись эстетические принципы многих мастеров, от Пастернака и Ахматовой до Бродского и Евгения Рейна.

Иначе составлен сборник, посвященный Морису Метерлинку. Здесь во главу утла поставлено восприятие "бельгийского Шекспира" в одну конкретную (и привлекающую ныне особое внимание читателей и ученых) эпоху — эпоху Серебряного века. Действительно, для этого периода русской культуры Метерлинк стал чрезвычайно значимой, быть может, центральной фигурой; как писал А. Блок, "самое это имя — уже догмат, один из тех догматов, которых держатся одни, которые разрушают другие" (статья "О драме"). Подборка текстов раскрывает удивительное многообразие оказанного им влияния. Оно не всегда дает о себе знать прямо — как, скажем, у В. Брюсова, чья критическая рецензия на переводы метерлинковских стихов Г. Чулковым ("Фиалки в тигеле") позволяет отчетливо увидеть истоки некоторых его собственных образов и версификационных приемов. Но и выражаясь в едва уловимых перекличках, а то и в прямом отталкивании, влияние это оказывается значительным и плодотворным. В высшей степени показательна в этом смысле небольшая заметка Д. Мережковского "Душа сахара" — редкий пример восприятия знаменитой "Синей птицы" не как высокой, пусть и наивной сказки, по-новому продолжающей мистику ранних пьес, но как мещанской "сладкой гадости", неожиданного (и сниженного) варианта "золотого сна" из "На дне" Горького. С редкой отчетливостью прочерчивается в антологии и одна из принципиальных для культу-

ры Серебряного века оппозиций, Метерлинк — Ибсен, особенно резко сформулированная у того же Блока.

Отдельный и чрезвычайно интересный сюжет — история постановки метерлинковских пьес на отечественной сцене. Чехов, подталкивающий Станиславского к постановке ранних, мистических драм бельгийского писателя; неудачи великого режиссера и оригинальные спектакли Мейерхольда; неожиданная, едва ли не комическая ипостась Комиссаржевской — все это примечательно не только с исторической точки зрения, но и как противовес хрестоматийным схемам, в которые зачастую укладываются наши представления о классиках театра. Восторженная благодарность, с которой Метерлинк обращается к Станиславскому после постановки "Синей птицы" ("Я знал, что обязан Вам многим, но не знал, что обязан всем. И мне остается одно — склониться до земли перед самым чистым и самым великим художником театра нашего времени..." Из письма от 12 (25) ноября 1910 года), по-новому звучит в контексте высказываний самого Станиславского ("Я <...> ломаю голову, чтоб обойти те трудности и банальности, которых так много в новой пьесе Метерлинка. <...> Работа трудная и малоинтересная, так как она чисто внешняя, постановочная". Из письма С. А. Андриевскому от 9 марта 1908 года. Сам блистательный успех постановки Станиславского становился свидетельством недостатков "Синей птицы" в глазах почитателей ранних, мистических пьес Метерлинка, ключ к которым режиссеру подобрать не удалось.

Пожалуй, единственный изъян этой интересной книги состоит в том, что в ней не везде даны сведения о первых публикациях текстов. Правда, во вступительных замечаниях к ней Ю. Г. Фридштейна есть обнадеживающее предположение: "Если когда-нибудь будет составлена полная библиография" русских переводов Метерлинка... Хочется верить, что ее условное наклонение со временем превратится в изъявительное.

Среди публикаций отдела несколько особняком стоит красиво изданная книга под загадочно-претенциозным названием "Максима Макиавелли. Уроки для России XXI века" — расширенный вариант аналогичного сборника, выпущенного ВГБИЛ в 1996 году. Появление этой книги столь же "уместно" (и, к сожалению, столь же закономерно), как украшение книгохранилища библиотеки огромной вывеской "НОМОС-БАНК", которая ныне сбивает с толку несведущего читателя. По замыслу составителей сборник призван продемонстрировать значение идей великого флорентийца как "отца современной политологии". Однако несмотря на обещание, данное во вступительном слове директором ВГБИЛ Е. Ю. Гениевой: "...на страницах этой книги Никколо Макиавелли станет для вас мудрым собеседником, общение с которым принесет вам радость и эстетическое удовольствие", — удовольствие сборник доставляет довольно специфическое. Хотя бы потому, что "собеседником" читателя автор "Государя" и "Истории Флоренции" так и не становится: трехстраничная подборка дежурных цитат, почерпнутых из его сочинений, и суждений о нем русских и зарубежных писателей и мыслителей (от Пушкина до о. Александра Меня и от Франческо Гвиччардини до Энгельса и Грамши) выполняет главным образом представительские и формальные функции, отделяя статьи от библиографических указателей "Сочинения Никколо Макиавелли на итальянском языке. Литература о Макиавелли на иностранных языках" и "Никколо Макиавелли в русских переводах и критике". Эта часть выполнена с присущей библиографам ВГБИЛ тщатель-

ностью. Правда, первую половину первого раздела трудно назвать собственно указателем: перед нами роспись одиннадцатитомного Полного собрания сочинений писателя под редакцией С. Бертелли, выпущенного в Вероне в 1968–1982 годах, то есть, по сути, развернутая библиографическая карточка. Зато второй доведен до 2000 года и содержит немало полезных сведений. Библиография русских переводов Макиавелли и критических работ о нем отличается не только полнотой: в аннотациях к некоторым ее позициям можно обнаружить целые исторические сюжеты, связанные с тем или иным упоминанием имени флорентийца (вроде истории письма Ленина Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б) от 19 марта 1922 года или выдержек из речей Вышинского в связи с делом троцкистско-зиновьевского блока).

Напротив, раздел первый (статьи), как раз и призванный раскрыть значение идей Макиавелли для политической жизни России, способен доставить разве что удовольствие, так сказать, постмодернистского свойства. Право, приятно узнать из статьи кандидата юридических наук П. Д. Баренбойма (который является к тому же редактором всего тома), что "мы и сейчас, в начале XXI века и третьего тысячелетия, находимся в рамках того же исторического периода, в котором находилась и Флоренция эпохи Возрождения", и что "для развития российского конституционализма крайне важен именно возврат к конституционным ценностям флорентийцев эпохи Ренессанса". Чем не аналогия: государство, семьдесят лет управлявшееся *коммунистами* и ведущее затяжную войну в Чечне, – и город-*коммуна*, которому в конце XV века оказалось не под силу совладать с маленькой Пизой, объявившей себя независимой. Похоже, настало время всерьез подумать о том, чтобы сменять правительство каждые два месяца, назначая его по жребию, – или же призвать на правление новую династию Медичи, целиком поддерживаемую Церковью... Ведь политическая ситуация в ренессансной Флоренции менялась столь часто и так была похожа на кризис, что в ней можно найти соответствия каким угодно явлениям нынешней жизни. Остается разве что подыскать в недавней русской истории аналог борьбы белых и черных гвельфов в эпоху Данте – борьбы, которую П. Баренбойм с присущим ему юмором трактует как столкновение сторонников блондинок и брюнеток...

Если поистине необыкновенная легкость мысли П. Баренбойма – бесспорно продукт современной политологии, то соседствующая с его обширным сочинением статья В. Д. Зорькина, председателя Конституционного суда России, явно отдает тем самым периодом российской истории, который вызвал в уме предыдущего автора ассоциацию с городом-коммуной. Работа написана как минимум двадцать лет назад (самая поздняя сноска в ней датирована 1982 годом), и ее "дискурс" в сочетании с цитатами из классиков марксизма вызывает почти ностальгические чувства. Более содержательна и исторична статья еще одного члена Конституционного суда, В. Г. Ярославцева, о "несостоявшемся диалоге" двух крупнейших политиков ренессансной Италии – Савонаролы и Макиавелли; правда, ее основная мысль вполне исчерпывается приведенной в заключении цитатой из сочинения итальянского историка XIX века П. Виллари.

Среди подобного созвездия имен несколько неприкаянной выглядит статья Н. Н. Зубкова "Отражения Макиавелли (по материалам фонда ВГБИЛ)". Жаль, если его работа останется незамеченной. Анализируя восприятие сочинений Макиавелли в XVI–XVIII веках, автор не только воссоздает историю ряда (к сожалению, не слишком длинного) ред-

ких изданий из фондов библиотеки, но и показывает, какие удивительные трансформации претерпевала фигура секретаря Флорентийской республики под пером различных авторов — от Вольтера до Фридриха II. Именно здесь сформулирован вопрос, который, будь он поставлен в рамках всей книги, возможно, придал бы ей реальное научное и историческое измерение: "Почему именно этот человек, выразившийся в своих сочинениях, так особенно провоцировал переделывать себя по чужому подобию?" В поисках ответа на него автор уделяет внимание прежде всего тому, кем в восприятии потомков был Макиавелли: скорее ученым-теоретиком или же практическим политиком? Наверное, существуют и иные подходы к решению проблемы, но дело не в этом. Главный "урок" статьи состоит как раз в том, что извлечь "уроки" из сочинений Макиавелли (собственно, как и любого другого деятеля или писателя) можно лишь посредством грамотного и бережного *исторического* анализа, отнюдь не отождествляя флорентийского секретаря, жившего в XVI веке, с памятным бюстом работы Джанпьетро Кудина, установленным во дворике библиотеки в 1996 году.

С недавнего времени библиографы ВГБИЛ опробовали еще одну форму контакта с читателем — внешне традиционную, а по сути, позволяющую по-новому взглянуть на одну из центральных проблем современной литературной эволюции: как, какими путями *классика* становится явлением массовой культуры (в широком и, так сказать, научном смысле). Среди подобного рода книг — интереснейший сборник, посвященный сестрам Бронте, а также изящная книжечка, в которую вошли три небольших произведения Джейн Остен. Первый, помимо романа Шарлотты Бронте "Эмма", указанного на обложке, содержит подборку материалов о трех знаменитых английских писательницах и указатель "Сестры Бронте в русских переводах и критике". Открывает сборник обзорная статья И. Васильевой о русской судьбе сестер Бронте, а завершает — большой фрагмент из книги О. Петерсона (1895), повествующий об ирландских корнях этой семьи. Читателю предлагается как бы несколько смысловых пластов, на каждом из которых его ждут подлинные открытия. Первый, наиболее традиционный пласт — это ранее не переводившиеся произведения литературной классики: не только сам роман Ш. Бронте, но и работы о ней и ее сестрах замечательных английских авторов, от Э. Гаскелл и У. М. Теккерея до У. С. Моэма и М. Спарк. Второй, еще более интересный уровень связан именно с "инобытием" произведений Бронте в культуре XX века. Роман "Эмма", не завершенный автором, был дописан в наши дни английской писательницей Констанс Сейвери, укрывшейся за псевдонимом Another Lady. В развитие этого исторического сюжета составители приводят также рассказ крупного знатока творчества сестер Бронте, философа Роберта Барнарда, написавшего в 1990 году "концовку" романа "Джейн Эйр". Таким образом, книга ставит проблему "сотворчества" не только двух разных литераторов, но и двух разных эпох, причем как в серьезном (тонкая стилизация Сейвери), так и в ироническом ключе: в "финале" Барнарда Джейн, собираясь придушить двоеженца Рочестера, убивает невинного Мэзона и оказывается узницей своего демонического супруга. Безусловно, писательская слава сестер Бронте проистекает из "устойчивого, непреходящего интереса к высокой литературе с ее неизменной сосредоточенностью на вечных чувствах человека" (И. Васильева). Однако приведенные в книге произведения позволяют взглянуть на нее и под другим углом. Герои Бронте перестают зависеть от во-

ли автора и, подобно персонажам А. Дюма, Л. Толстого, М. Митчелл (каким бы парадоксальным ни казалось подобное соседство), обживают пространство современной культуры не на правах исторических памятников, а в одном ряду с "культовыми" фигурами сегодняшнего *fiction*, от хоббитов Толкиена до Гарри Поттера. Видимо, исконное свойство литературы — заставлять читателя сопереживать героям, отождествлять себя с ними — в наше время востребовано в несколько ином виде: романы не только влияют на вкусы и поведение людей, но и позволяют уйти от реальной жизни в иллюзорный мир, будь то "виртуальное измерение" компьютерных игр или мифологизированное викторианское прошлое.

Безусловно, важнейшим инструментом в создании такого мира, искусством, позволяющим буквально "увидеть" любимых героев, служат в наши дни кино- и телеэкранизации. Неслучайно в книге, посвященной Джейн Остен, именно этот аспект рецепции выходит на передний план. Помимо не переводившихся ранее произведений Остен — двух незавершенных текстов, "Уотсоны" и "Сэдинтон", — в нее вошло эссе Мартина Эмиса "Мир Джейн", где сегодняшее восприятие английской писательницы рассматривается прежде всего сквозь призму кинофильмов, созданных по ее произведениям.

Безусловно, в разные эпохи русская культура по-разному адаптировала для себя зарубежную классику. Исследования в этом направлении сулят еще немало замечательных находок и открытий. Больше того, культурное пространство, осваиваемое отделом, ширится и уже выходит за рамки собственно литературы. Так, один из самых последних сборников, выпущенных библиографами ВГБИЛ, — "Флоренция и флорентийцы в русской культуре. Из века XIX в век XXI" — посвящен восприятию этого великого итальянского города, "культурная мифологема" которого в России складывается из произведений В. Розанова и М. Цветаевой, Д. Самойлова и С. Рахманинова, И. Бродского и А. Сахарова. В ближайших планах ВГБИЛ — подготовка издания, обещающего стать столь же интересным, сколь и уникальным, — книги о русской "гофманиане", которая готовится при участии такого знатока и ценителя Гофмана, как художник М. Шемякин. И это позволяет сделать еще один вывод: изучение памяти культуры есть одновременно и работа по ее формированию.

Ирина Стаф

Один путь к свободе

Бернард Маламуд. *Мастер*. Перев. Е. Суриц. М.: Лехаим, 2002

Что значит для еврея быть евреем? Как может человек остаться человеком в нечеловеческих условиях? За что страдают люди и куда в это время смотрит Бог? Имеем ли мы право говорить о каком бы то ни было прогрессе, когда люди продолжают жить по волчьим законам? Кто виноват в людских грехах: сами люди или ситуация, в которой любые грехи начинают цвести пышным цветом? Все эти вопросы задает себе герой романа американского писателя Бернарда Маламуда "Мастер".

Маламуд, сын евреев-эмигрантов из царской России, став знаменитым писателем, лауреатом престижных литературных премий (за "Мастера" он в 1966 году удостоился Пулитцеровской и Национальной премий), всегда ощущал себя причастным к судьбе своего народа. "Мастер", в основу сюжета которого положена исто-

рия Менделя Бейлиса, обвиненного в 1913 году в ритуальном убийстве, на самом деле роман о человеке, которому удалось сохранить свое человеческое достоинство перед лицом побеждающего скотства.

О деле Бейлиса написано очень много. Одни авторы рассматривают этот случай как уникальный судебный процесс над евреем, обвиненным в ритуальном жертвоприношении. Другие — как закономерный итог деятельности российских националистов. Для третьих самое существенное в том, что двухмесячному процессу предшествовало следствие, которое два с половиной года держало в напряжении страну, расколов ее надвое.

По всем этим причинам дело Бейлиса часто сравнивают с не менее печально известным делом Дрейфуса во Франции в 1894 году. Но Маламуд, лишь иногда упоминая о поднявшейся шумихе вокруг имени героя этой печальной истории — в книге его зовут Яков Бок, — концентрирует свое внимание на мыслях и чувствах человека, попавшего в ужасающе безвыходное положение.

Повествование в книге ведется от третьего лица, и рассказчик на всем протяжении романа сохраняет несколько отстраненный тон. Он лишь наблюдатель; он не дает ответов и не ставит вопросов. Фиксация событий и внутренних состояний героя — ничего больше. Это уже задача читателя — заглянуть за описание, проникнуть в глубь повествования. Для чтения "Мастера" необходимо немалое интеллектуальное напряжение: читатель все время должен стараться смотреть чуть дальше, слышать чуть больше и чувствовать чуть тоньше, чем смотрит, слышит и чувствует повествователь.

Яков Бок из захолустного еврейского местечка — нищий, оборванный парень, весьма далекий от религиозных проблем. Жена ушла от него, так и не родив ему ребенка, о котором он мечтал; с ним остался только тесть Шмуэл, надоедающий ему своими разговорами о Торе, об антисемитах, о том, что еврей без бороды — уже не еврей. У Якова есть только привычные к работе руки и инструменты, которыми он все может починить — кроме собственного сердца. И себя он жалеет именно за неспособность стать счастливым. И лишь в конце книги, испив чашу страданий почти до дна, осознает, что жалеть себя — грешно. Подлинный сюжет романа — переход от чувства обреченности к чувству моральной правоты.

Невзирая на предостережения Шмуэла об антисемитах, скрывающихся за каждым углом, Яков едет пытать счастья в Киев. На свою беду он помогает добраться до дома пьяному черносотенцу, скрыв от него свое национальное происхождение (очередной грех — на этот раз перед своим народом), соглашается за хорошую плату отремонтировать ему квартиру, а потом и присматривать за служащими кирпичного завода, которым он не давал воровать, за что они его и невзлюбили. И вот рядом с кирпичным заводом обнаружили труп мальчика Жени Голова. Тут-то все и началось. Дело сфабриковали очень быстро, недостатка в фантастических обвинениях не было, в обвинителях — тоже, и Яков оказался в одиночной камере, предоставленный самому себе и тупо-жестоким надзирателям. На протяжении всего романа Яков остается в заключении и выйдет из него — уже на суд — другим человеком. Судьба Якова решается за пределами тюремных стен, и до него изредка доносятся отголоски этих событий. Он же погружен в совершенно иные заботы: чем занять себя в камере, как разговаривать с обвинителями, как выдержать весь этот ужас.

Любимый философ Якова — Спиноза: идея, что свободным человеком нельзя быть, а можно

только стать, переворачивает сознание мастера. В камере он осознает, что отныне с ним самим можно сделать все что угодно — избить, замучить, отравить, заморить голодом, но его сознание и его душа принадлежат лишь ему. Якова мучает не столько неизвестность и боязнь остаться в камере навсегда, сколько дикий страх сумасшествия: "Он стал до того нервный, раздражительный, так угнетен тюрьмой, что боялся за свой рассудок. Сойду с ума — и чего я им тогда на себя наболтаю? Ежедневная тяжелая скука больше всего пугала его. От этой скуки, тоски, он думал: того гляди я рехнусь".

Герой оказался, выражаясь языком Камю, в пограничной ситуации — абсолютно одиноким в своем отчаянии. Единственный, кто мог помочь Якову, — его следователь Бибиков, человек честный, не верящий кровавым наветам, готовый защищать мастера несмотря на оказываемое на него давление; и этот следователь, обвиненный в каком-то мнимом преступлении, становится соседом Якова по камере, и в конце концов Яков видит его тело болтающимся на длинном ремне. И только Шмуэл, бедный Шмуэл, понимающий, что, добиваясь свидания с Яковом, он и себя подвергает опасности, тем не менее приходит к зятю, отдав за это свидание последние деньги, и снова говорит ему о Боге: "...Не зря мы евреи. Без завета мы давно бы были вычеркнуты из истории. Пусть это будет тебе уроком. Он все, что у нас есть, и кому надо больше?" Но Яков по-прежнему спорит с ним: "Я хулю его (Бога. — *М. Т.*) за то, что его нет. А если есть, так он на Луне или среди звезд, только не здесь. Лучше не верить, не то ожидание делается сплошной мукой. Я не могу услышать его голос и никогда не мог. Не нужен он мне, раз он не является".

Яков не обращается к Богу, но он понимает другое: он — часть народа, заключившего с Богом завет, нарушившего его и теперь страдающего за свою вину. "Израиль завет заключает, чтобы расторгнуть. Странная цель: испытаний ему захотелось. И они поклоняются ложным богам; и Г-сподь поднимается со своего золотого трона с пылающим мечом в каждой руке. Он говорит громко, и — закипела история. Ассирия, Вавилон, Греция, Рим — теперь трость гнева его, и этой тростью он колотит Избранный Народ по головам. Вы нарушили завет с Б-гом, так и получайте: войну, разруху, смерть, изгнание — это все вам по заслугам". Народ изживает свои грехи перед Богом, Бог заключает с ними новый завет, и он опять нарушен — и так бесконечно; вот в чем Яков видит суть истории народа, частица которого — он сам. "А трость гнева Б-жьего против мастера — Николай Второй, русский царь. Карает несчастного подданного за безбожие". С Богом и царем Якова связывают уже личные отношения: он ведет с ними вымышленные диалоги, в видениях царь говорит ему, что это не Яков жертва, а он сам — страдалец за всех евреев. Осознание грехов народа приходит к Якову через осознание собственных грехов; он наконец понимает, что, жалея себя, человек противопоставляет себя другим людям и как бы возвышается над ними, что страдания, с одной стороны, сплотили еврейский народ, а с другой — воздвигли между евреями и неевреями невидимую преграду, которую преодолеть никак не удается.

От жалости к себе (мучившей его и когда он был на свободе) Яков приходит к осознанию того, что нельзя быть в стороне от страданий своего народа. Раньше ему казалось, что он — никто, нищий, никому не известный и не нужный Яков Бок, а потому он может позволить себе жить сам по себе. И *это* было его роковой ошибкой, а не согласие работать на черносотенца и смена еврейского имени на русское. Якову по-

требовалось несколько лет заключения, чтобы понять свое заблуждение. Опасаясь за Шмуэла, пообещавшего всем рассказывать о невиновности мастера, Яков вздыхает: "Живите, Шмуэл, живите. Лучше я за вас умру". Однако немедленно в голову ему приходит другая мысль: "...но разве я умру за него, если наложу на себя руки? Умирать — так для того, чтобы насрать на них и прекратить мои собственные страдания. А Шмуэлу какая от этого польза? Он даже сам может погибнуть из-за моей смерти, если они на радостях устроят погром. И чего я добьюсь? Да, я покончу со своими муками, а дальше что? Чего я достигну своей смертью, если из-за нее умрет хотя бы один еврей?"

Осознание личной ответственности за судьбу своего народа — вот что дает Якову силу противостоять мучителям. Для Шмуэла таким нравственным стержнем является вера, и его попытки обратить Якова связаны со страстным желанием дать тому стимул для борьбы. Но Яков находит свой собственный путь и с этого пути не сворачивает. С самого начала он отказывался покориться, но делал это бессознательно, и только расставшись с надеждой, понял, что его страдания — его миссия, и он должен выполнить ее достойно.

Не случайно Яков так живо воспринимает Новый Завет — в страданиях Христа он узнает и собственные страдания: Христос, страдая, боролся за свободу, и он, Яков, еврей из захолустного местечка, по своему еврейскому счастью попавший в беду, тоже призван бороться — не только за свою личную свободу, а защищая высшие человеческие ценности. И ни в коем случае нельзя жаловаться и жалеть себя, надо быть готовым ко всему, но главное — во всех ситуациях надо оставаться человеком.

Мария Табак

Спасительная близость

Hanif Kureishi. *Intimacy and other stories*. London, Faber & Faber, 2001

Ханиф Курейши. *Близость и другие рассказы*. Лондон, Фабер и Фабер. 2001

В книгу Ханифа Курейши "Близость и другие рассказы" вошли одноименный роман 1998 года и рассказы "Ночник", "В унылые времена" и "Встречи незнакомцев" из сборников разных лет. Выбраны они были не случайно: в предисловии к книге автор поясняет, что именно эти произведения легли в основу нашумевшего фильма французского режиссера Патриса Широ "Интим"[1]. Эта экранизация — далеко не первая адаптация произведений писателя: на его счету четыре киносценария и работа над телесериалом по мотивам дебютного романа для телеканала Би-би-си. Он также известен английскому зрителю по многочисленным постановкам в крупнейших театрах Лондона. Российскому читателю этот прозаик, драматург, сценарист и режиссер знаком лишь по нескольким рассказам и роману "Будда из пригорода", изданному недавно отдельной книжкой в серии "За иллюминатором" в переводе Д. Крупской.

Стремление к разнообразию и открытость творческому эксперименту являются основополагающими принципами творчества Курейши. "Мне нравится работать над фильмами, потому что меня увлекает работа с режиссерами, — говорил писатель в интервью еженедельнику 'Обсервер'. — Я люблю писать романы, потому что

1. Подробнее об этом фильме см. вступление С. Силаковой к публикации рассказов Х. Курейши: "ИЛ", 2002, № 3. (*Здесь и далее – прим. автора.*)

они дают свободу выражения, возможность сказать что-то очень личное. Мне также нравятся рассказы, потому что рассказ можно написать всего за неделю"[1]. Помимо литературы Курейши интересуют вопросы функционирования художественного текста в культурной среде и его превращения в произведения других видов искусств в процессе творческого взаимодействия авторов. "Сотрудничество — это попытка расширить или умножить свое 'я', раздвинуть границы собственных возможностей, — пишет автор в предисловии к книге. — Работая вместе с другим человеком, можно создать нечто такое, что не под силу сделать одному. Не знаю, сам ли конечный продукт (фильм) или близость партнерства, удовольствие от встречи и возможности поговорить о том, что волнует вас обоих, являются целью такого сотворчества. Вероятно, и то и другое. Возможно, любая художественная деятельность — своего рода коллаж, соединение разнородных кусочков, собранных тут и там, интегрирование их в некое единое целое. Как происходит отбор этих элементов, я не знаю. Это всегда эксперимент"[2].

Роман "Близость", как и последовавшая за ним кинокартина, несомненно стали одним из таких смелых экспериментов, вызвавшим самые противоречивые отклики зрителей и читателей. И дело не столько в новаторстве или стремлении к эпатажу, сколько в теме, которая оказалась чрезвычайно актуальной для многих современников писателя. Курейши удалось, не впадая в морализаторство или огульное отрицание традиционных ценностей, выразить тот внутренний разлад и страдание, которые переживает человек в момент распада семьи. Эта книга, пронизанная меланхолией и полная горьких истин о природе человеческих взаимоотношений, — чтение не из легких, но, как оказалось, именно на такой эффект и рассчитывал автор. "Большинство книг написано о том, как люди влюбляются. Мне же хотелось написать книгу о расставании[1], — признавался автор в интервью газете 'Гардиан'. — Я хотел написать книгу, действие которой разворачивалось бы в самый сложный момент — со всей болью, яростью, жестокостью и трудностью разрыва, с чувством вины и ощущением предательства... Я сделал ее настолько грубой, насколько мог, выразил всю боль, которую человек испытывает, проходя через такое... Я не хотел ничего смягчать или создавать впечатление, будто события излагаются в ретроспективе"[2]. И действительно, умело выбранная тональность предельной откровенности в сочетании с формой внутреннего монолога главного героя создают ощущение правдивого, жесткого, временами даже шокирующего повествования.

В центре романа — история интеллектуала, состоявшегося писателя и успешного сценариста, оставившего жену и двух маленьких детей ради молодой любовницы. Подобная интрига далеко не нова, и вряд ли бы книга вызвала повышенный интерес публики, если бы не удивительная способность писателя превращать самую обыкновенную историю в точное и глубоко прочувствованное описание кризиса, переживаемого современным поколением англичан и европейцев в последние десятилетия. "Если наше время кажется деидеологизированным по сравнению с серединой шестидесятых—восьмидесятых годов, если Англия выглядит гедонистически-благодушной и политически вялой страной, то, вероятно, потому, что политика переместилась

1. "I got out of suburbs, but did they get out of me?" The Observer. 25 Feb 2001.
2. Introduction: Filming Intimacy. H. Kureishi. Intimacy and other stories. 2001, p. xi.

1. В оригинале "a falling out of love book".
2. Faith, love and fundamentalism. The Guardian. 5 Nov. 2001.

внутрь человека, в область человеческого тела, — говорит автор во вступлении к сборнику. — Политика личных отношений, частных нужд, взаимоотношения полов, вопросы брака, сексуальности, детей заменили проблемы социальные, не поддающиеся контролю"[1]. Чувствуя свое бессилие перед окружающим миром и невозможность изменить традиционный уклад английского общества, герои книги пытаются взять под контроль своих близких, устанавливают в семье диктатуру эгоистических желаний и чувств.

"Когда я уйду — заявляет герой 'Близости', — я хочу, чтоб она *(жена. — Д. Б.)* тоже исчезла. Любовь, может, и ушла, но ревность осталась. Я хочу жить своей жизнью, но не хочу, чтобы она жила своей". Типичный представитель поколения, выросшего в период "между лишениями послевоенных кризисных лет и жестокими восьмидесятыми" и уверовавшего в "необходимость удовлетворения своих потребностей", он считает, что "в наше время в любви царит свободный рынок: приценивайся и выбирай, ищи и покупай, бери напрокат или отказывайся сколько угодно. Нет никакой сексуальной и социальной защищенности; каждый должен заботится о себе сам... Самовыражение, "креативность" и достижение целей — единственные добродетели". А значит, когда на пути к исполнению желаний встают серьезные препятствия: семья, обязанности, моральный долг, — они должны быть принесены в жертву погоне за удовольствием.

Впрочем, характер и переживания главного героя слишком сложны и противоречивы, чтобы уложиться в схему "любил — разлюбил". Он погружается в поистине гамлетовские глубины рефлексии — над своей жизнью, своими чувствами и поступками, потаенными мечтами и желаниями. Что честнее: уйти, следуя за своим влечением, и в одно мгновение разрушить все, что имел, предать любовь своих детей, или пересилить себя и остаться, скрывая всю оставшуюся жизнь презрение к себе и безразличие к жене? Пытаясь разобраться в хаосе мыслей и эмоций, герой сравнивает свою ситуацию с опытом других мужчин — отца, брата, друзей, знакомых. С одной стороны, есть пример отца — человека другого поколения, иных моральных принципов и жизненных устоев. Для него никогда не существовало вопроса, что значит "быть отцом", он просто был им и без тени сомнения исполнял свой долг перед женой и детьми, а если когда-нибудь и думал об уходе, то остался, поскольку верил в "идеалы рыцарства" и считал обязанностью мужчины поддерживать и защищать семью. С другой стороны — пример друга Виктора, "новообращенного гедониста", который несколько лет назад пережил развод и уже не надеется когда-нибудь вернуть любовь своего сына. Теперь он живет как типичный лондонский холостяк — пабы, рестораны, интересные знакомства, случайные романы, абсолютная свобода и одиночество — и весьма доволен своей новой жизнью. Полная противоположность Виктору — университетский друг героя, Азиф, счастливый семьянин, человек верующий, цельный, с твердыми жизненными принципами. Он убежден, что для мужчины важнее всего чувство ответственности, что брак — это вечная борьба и "мудрость состоит в том, чтобы ценить то, что мы имеем".

Однако все множество проекций и параллелей, выстраиваемых героем, не отменяет его собственных чувств и убеждений и, следовательно, не может поколебать его веру в "индивидуализм, чувственность и творческое бездействие... в возможности человеческой близости, в любовь". Мысленно оглядываясь на прожитые годы, он задается вопросом: "Почему в моей жизни было так мало

1. Introduction: Filming Intimacy. H. Kureishi. Intimacy and other stories. 2001, p. xiii.

счастья?.. Неужели это все, что нам дано? Или есть что-то еще?" Естественно, человеку свойственно всегда стремиться к чему-то большему, не довольствуясь достигнутым, и желание героя стать счастливым несмотря ни на что понятно любому из нас, как логична и мысль о том, что "движение вперед — это уже измена по отношению к другим, к прошлому, к былому восприятию себя". "Возможно, — рассуждает он, — каждый день должна совершаться хотя бы одна измена, одно необходимое предательство. Это было бы полным надежды, оптимистическим актом, гарантией веры в будущее, заявлением о том, что все может быть не только по-другому, но и лучше".

И все же герой "Близости" страдает не от того, что не может обрести любовь и желаемое счастье (в конце романа автор дает понять, что между героем и его возлюбленной еще не все кончено), и не от того, что не в силах разрубить гордиев узел противоречивых чувств и оставить семью (в конце концов он перебирается в холостяцкую квартиру Виктора). Дело в том, что, по собственному признанию героя, он — дитя своей эпохи, плоть от плоти поколения "невинных потребителей и наследников свобод, добытых бунтарями-предшественниками в конце шестидесятых", для которого не существует моральных и религиозных ограничений, а "музыка, танцы и бесстыдное совокупление" сделались идолом. Этому поколению "самых свободных", по злой иронии истории, суждено было стать частью безжалостной системы, девальвировавшей человеческие чувства и подменившей истинные ценности пустыми вещами-символами и бесконечной погоней за удовольствиями. Став заложниками своих желаний, они утратили способность быть счастливыми и не в силах сделать счастливыми своих близких.

Судьба героя "Ночника" очень напоминает судьбу писателя из "Близости", однако рассказ и роман сближают не только сюжетные параллели, но и тема физической близости и телесного общения как универсального, доступного каждому человеку языка. "Ночник" — история о мужчине, "ушедшем от жены, на которой неизвестно зачем женился, к другой, которая вскоре оставила его безо всяких объяснений", покинул детей, потерял дом и, оказавшись оторванным от привычного мира, замкнулся в своем страхе и одиночестве. Болезненно переживая свои неудачи, он ведет уединенный образ жизни, сторонится людей, боится любви и вообще избегает всяческого контакта с внешним миром. Для героя "Близости" человеческие чувства — "смертоносные оружия, а слова — это пули", а для героя рассказа любой акт коммуникации превращается в экзистенциальную проблему. "Разве ясность не разрушает наше взаимопонимание, разве не существует альтернативного словаря ласк? — вопрошает он. — Слова выходят искаженными, но что может исказить поцелуй?"

Единственное, что наполняет его одиночество и поддерживает в нем интерес к жизни — это женщина, таинственная незнакомка, которая приходит к нему в одно и то же время по средам, чтобы заняться с ним любовью. Она не называет своего имени, ничего не говорит и не просит ничего взамен. Анонимность и бессловесность их встреч и радует, и пугает мужчину. С одной стороны, именно такой простой, не требующей объяснений близости он всегда искал — ведь слова бессильны перед языком тел, а значит, невозможно ничего испортить, исказить, переврать. Но в то же время каждый ее визит все настойчивее напоминает ему о мире, существующем вне его темного подвала, освещенного в короткие мгновения встреч тусклым светом ночника. Женщина пробуждает в нем надежду, что когда-нибудь он сможет преодолеть одиночество и

боль разочарования и без страха прикоснуться к внешнему миру.

Персонажи двух других рассказов, "Встречи незнакомцев" и "В унылые времена", мужчины и женщины под сорок, имеющие семьи, тоже переживают сложный период переоценки ценностей и ищут выход из кризисной ситуации. Одни выбирают путь измен, другие забываются в алкоголе и наркотиках, третьи пытаются найти себя в творчестве. Еще одна особенность, отличающая героев этих рассказов, состоит в том, что они бегут не от неудачных браков или распадающихся отношений, а, наоборот, от слишком спокойной и комфортной жизни. Флоренс из "Встреч незнакомцев" пытается освободиться от давления мира "взрослых людей", олицетворяемого ее мужем, солидным деловым человеком, и реализовать себя на театральной сцене. Рой из рассказа "В унылые времена" бежит прочь от счастливой семейной жизни и благоустроенного быта и оказывается в мире давнего друга по колледжу Джимми, хронического неудачника, бездельника и алкоголика, наслаждаясь непредсказуемостью и хаотичностью жизни лондонской богемы.

Недоверие к внешнему благополучию, бегство от однозначной предопределенности жизни и ирония над собственным стремлением к "буржуазному счастью" роднят героев книги с флоберовскими и чеховскими персонажами (а именно Чехова и Флобера, наряду с Гоголем, Толстым, Достоевским, Бальзаком и Стендалем Курейши чаще всего упоминает в своих интервью как писателей, оказавших на него сильное влияние). Но, сами являясь частью той системы, которую они обвиняют в обесценивании человеческих чувств и выхолащивании смысла существования и от которой пытаются бежать, герои произведений Курейши не могут преодолеть внутреннюю пустоту, созданную кризисом потребления, разъедающую их жизнь и толкающую на поиск все новых и новых удовольствий.

С такой точки зрения становится ясно, почему именно физическая близость, этот простой, неопосредованный словами и доступный каждому человеку контакт с другим, оказывается единственным возможным способом общения одиноких существ с внешним миром и осознания своего существования в нем. "Возможно, правда человеческого бытия и состоит в том, что все мы предельно изолированы и умрем в одиночестве, — заключает герой романа 'Близость'. — Но этой ночью, стоя здесь, я так хочу прорваться сквозь эту стену, что мог бы разбить окно".

Сейчас писатель работает над новой книгой, в которой собирается продолжить тему "телесности" как одного из определяющих факторов человеческой природы и поразмышлять о том, как она меняется с развитием цивилизации. Он полагает, что наше представление о человеке как о существе, ограниченном рамками физического тела, и о жизни как некой конечной протяженности, может в корне перевернуться, если, допустим, через несколько десятков лет наука предложит человечеству возможность полностью заменять старые тела новыми. "Конечно, это больше похоже на идею из области научной фантастики, — соглашался Курейши в радиобеседе на канале Би-би-си 3, — но она заставляет задуматься о достаточно важных вещах". Пока же писатель работает над новой темой и выбирает подходящую для нее форму, читателям остается только ждать появления на свет очередного произведения этого неутомимого экспериментатора и исследователя человеческой природы.

Дарья Бондарчук

Бельгия

Жоржу Сименону — сто лет

Литературно-художественная выставка в бельгийском городе Льеже, посвященная столетию со дня рождения "отца инспектора Мегрэ", стала первым крупным юбилейным событием, открывшим в Бельгии год Сименона. Экспозиция разместилась в самом центре города в специально построенном павильоне. Она состоит из нескольких тематических разделов, рассказывающих о различных аспектах жизни и творчества писателя. Помимо фотографий, писем, дневников, рукописей, экземпляров "Газет де Льеж", в которой Сименон вел полицейскую хронику, на выставке представлен макет старого льежского вокзала, с которого Сименон в 20-е годы отправился в Париж, и воссоздан знаменитый кабинет инспектора Мегрэ в доме 36 на набережной Орфевр. Посетителям также дается возможность узнать, каким образом у Сименона протекал творческий процесс. Это был целый ритуал. Писатель садился за стол, долго точил карандаши, затем на желтом конверте записывал сюжет нового романа и составлял подробные словесные портреты персонажей, зачеркивал день на настенном календаре и погружался в подобие транса. Сочинял Сименон феноменально быстро: на написание романа у него уходило от одной до двух недель. Всего за полувековую писательскую карьеру он создал более четырехсот произведений, восемьдесят из них об инспекторе Мегрэ.

Для многочисленных поклонников Сименона льежские власти организовали пешую экскурсию по городу, которая начинается от площади Сан-Лоберт, где располагалась редакция газеты, для которой Жорж Сим писал свои первые репортажи. Экскурсантов проведут к мосту, на котором писатель однажды поклялся, что в сорок лет станет министром или академиком, к дому, в котором он родился (нынешний владелец сделал его открытым для посещений), к церкви, где отец Сименона пел в хоре, к подвальчику, где собирались юные любители искусства и богемной жизни.

По случаю юбилея состоялась также премьера мюзикла о любви Сименона и танцовщицы-мулатки Жозефины Бэкер (они познакомились в Париже в 1925 году).

Не остались в стороне от юбилейных торжеств и книжные издательства. "Галлимар" в серии "Плеяда" подготовило двухтомник избранных сочинений 1931—1967 годов и лазерный диск с записью бесед писателя с Бернаром Пиво. "Ливр де пош" переиздало ряд романов Сименона 30-х годов, в частности: "Дом на канале", "Желтый пес" и "Питер Латыш" — роман, положивший начало серии об инспекторе Мегрэ.

Великобритания

Фотограф викторианской эпохи

В Национальной портретной галерее Лондона впервые за много лет состоялась выставка фотографий Джулии Маргарет Кэмерон (1815—1879). Работы Кэмерон долгое время были почти забыты, но сейчас они вновь становятся популярны.

Джулия Кэмерон увлеклась фотографией в 48 лет. Фотокамеру ей подарила дочь на Рождество в 1863 году — она собиралась в Индию, где работал ее муж, и надеялась, что занятия фотографией скрасят матери часы одиночества. По воспоминаниям самой Джулии Кэмерон, камера полностью переменила ее жизнь, явилась истинным даром судьбы, словно упавшим с неба.

В XIX веке отношение к фотографии было совершенно иным, чем в наше время. Такого понятия, как фотоискусство, еще не существовало. Первые фотоснимки воспринимались как чудо, позднее, в 60-е годы, когда новинка стала более привычной, производство фотографий превратилось в чистую коммерцию. В викторианскую эпоху ремесло фотографа было делом далеко не женским: приходилось не только таскать громоздкую камеру со штативом, но и иметь дело с ядовитыми химикатами, которые тогда использовались для проявления снимков.

Джулия Кэмерон была любительницей и ус-

тупала по мастерству профессиональным фотографам, однако она стала одной из первых, кто подошел к фотографии как художник. Она наряжала модели в экзотические костюмы, много экспериментировала со светом, стремясь уподобить свои работы живописным полотнам, написанным на исторические, мифологические или религиозные сюжеты. Ее фотографии можно подразделить на два основных вида: аллегорические изображения матери и ребенка и принесшие ей известность портреты знаменитостей (все они были завсегдатаями ее дома): А. Теннисона, Г. У. Лонгфелло, Р. Браунинга, астронома Дж. Гершеля, писателя и философа Т. Карлейля, художника Дж. Ф. Уоттса. Джулия Кэмерон отказалась от типичного для викторианской эпохи приема изображать поэта со стопкой книг, астронома — с телескопом, а художника с палитрой. Она старалась прежде всего передать внутренний мир своих моделей, запечатлеть их индивидуальный характер.

Свойственную фотографиям Кэмерон размытость и нечеткость контуров одни искусствоведы приписывают техническим несовершенствам камеры, другие интерпретируют как авторский стиль, новый подход к искусству фотографии.

Дж. Кэмерон. Грусть

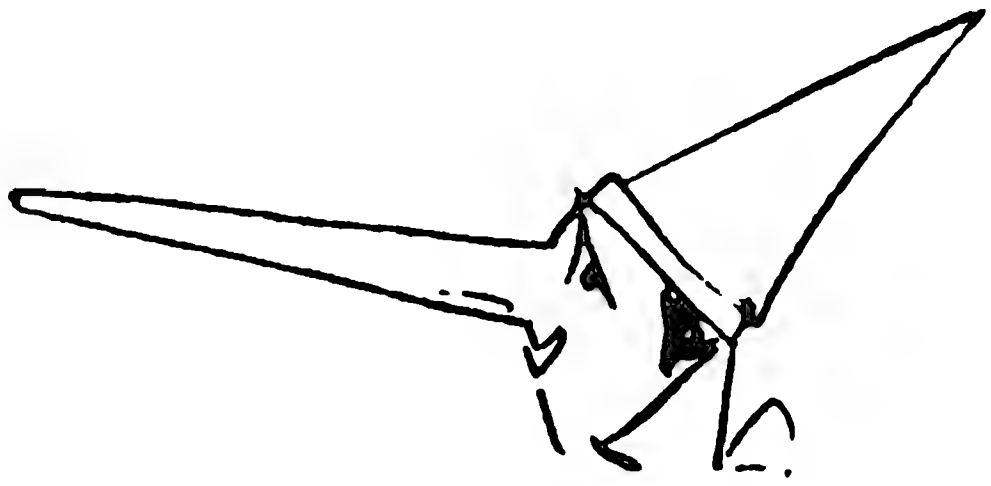
Италия

Папа Карло Лоренцини

В 1826 году в маленьком городке Коллоди в семье Лоренцини родился первенец, которого назвали Карло. Когда мальчик подрос, родители — слуги в доме богатых флорентийцев — отправили его учиться в семинарию. Однако духовная карьера Карло не привлекла, и он поступил на работу в издательство, затем занимался журналистикой, выпускал собственный сатирический журнал, сочинял рассказы, очерки, комические сценки. Первый свой роман молодой автор опубликовал в 1850 году.

Помимо литературы Карло Лоренцини активно занимался политикой. Патриот и республиканец, он был участником Рисорджименто — движения за объединение раздробленной на мелкие части Италии в единое национальное государство.

Умер он во Флоренции в 1890 году, за семь лет до смерти опубликовав свою знаменитую повесть "Приключения Пиноккио, история марионетки", которая принесла автору мировую славу и была переведена на 260 языков. Вряд ли найдется взрослый или ребенок, который бы ничего не слышал о похождениях деревянного человечка, именем которого, в частности, назван парк в Коллоди (не так давно в нем прошла выставка автора иллюстраций к "Пиноккио" Паоло Тези). Но к жизни его "папы" Карло Лоренцини, взявшего себе псевдоним Коллоди, до недавнего времени литературоведы проявляли мало интереса, считая ее серой и ничем не примечательной. Развеять этот миф взялась исследовательница Россана Дедоли в своей книге "Пиноккио и Коллоди" (издательство "Мондадори"), которая стала первой подробной биографией автора сказки о деревянном мальчике с длинным носом.



Пиноккио в изображении Паоло Тези

США

Книжные репрессии

Каждый год Ассоциация американских библиотек проводит Неделю книг, пострадавших от цензуры. В минувшем году по ее подсчетам тем или иным формам запрета подверглись

почти 440 книг, в числе которых "Гарри Поттер", "Гроздья гнева" и даже "Красная шапочка" — упоминание о бутылке вина, которую девочка несет бабушке, сочли крамольным чиновники одного из местных отделов образования и запретили сказку в подведомственных школах.

На протяжении более двадцати лет члены Ассоциации тщательно собирают информацию обо всех случаях нарушения свободы слова — одной из фундаментальных американских ценностей — и организуют публичные чтения отрывков из запрещенных произведений в библиотеках и книжных магазинах.

Инициаторами судебных исков против книг, как правило, являются родители; наиболее распространенные претензии: чересчур откровенные сексуальные сцены, описания актов насилия, грубый язык, а также оккультная и гомосексуальная тематики.

За минувшие десять лет в список Ассоциации попало более семи тысяч книг. Наиболее курьезный случай произошел с "Двенадцатой ночью" Шекспира, которая в одной из школ была исключена из программы за "пропаганду альтернативного образа жизни" — имелось в виду то, что девушка переодевалась юношей. В минувшем году чаще всего из библиотек изгонялся "Гарри Поттер". Особенно досталось ему в консервативных южных штатах, где определенной части родителей пришлись не по нраву "сатанинские" приключения юного волшебника. Среди репрессированных произведений фигурировали также "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена (за расизм, в частности, употребление слова "ниггер"), "О мышах и людях" Джона Стейнбека (за неподобающие выражения), "Обыкновенное убийство" Трумена Капоте, "Американская трагедия" Теодора Драйзера, "Над пропастью во ржи" Дж. Д. Сэлинджера (за грубый язык), "Черный" Ричарда Райта, Библия и даже Вебстеровский словарь.

Франция

История одной ночи девяносто пять лет спустя

В литературном мире Франции очередная сенсация: издательство "Галлимар" выпустило в свет никогда ранее не публиковавшееся произведение Андре Жида. Это рассказ "Дикий голубь", в котором 38-летний писатель описывает свое романтическое приключение с юным сыном батрака Фердинандом — их единственная встреча произошла в 1907 году в окрестностях Тулузы (три года спустя мальчик скончался от туберкулеза).

Помимо рассказа, который занимает всего одиннадцать страниц, в книгу включены неизданные письма Андре Жида, в том числе отрывок из его послания Роже Мартену дю Гару. Открывают издание вступление, написанное дочерью писателя Катрин Жид, и предисловие Жан-Клода Перрье.

О существовании рукописи было известно родственникам и друзьям писателя (один экземпляр был послан режиссеру, актеру и театроведу Жаку Копо, который в самых лестных выражениях отозвался о литературных качествах миниатюры). Решение опубликовать "Дикого голубя" приняла дочь Андре Жида. По ее словам, "рассказ исполнен жизнелюбия, и в нем нет ничего неприличного". Остается только гадать, почему Андре Жид, который никогда не писал "в стол", не решился обнародовать это произведение при жизни. По предположению Жан-Клода Перрье, рассказ стал исключением из правил, поскольку был чересчур личным. А возможно, Жид послушался совета кого-нибудь из друзей, например, весьма осторожного Роже Мартена дю Гара.

По материалам газет "Телеграф" [Великобритания], "Стампо-туттолибри" [Италия], "Либерасьон" и "Монд" [Франция].

Авторы номера

Патрик Модиано
Patrick Modiano
[р. 1945]. Французский писатель, лауреат многих литературных премий, в т. ч. Гран-при по литературе им. Поля Морана [2000].

Автор романов *Площадь Звезды* [*La place de l'Étoile*, 1968, премия Роже Нимье], *Улица Темных Лавок* [*Rue des Boutiques Obscures*, Гонкуровская премия 1978 г.; рус. перев., 1987], *Утраченный мир* [*Quartier perdu*, 1984; рус. перев. 1989], *Свадебное путешествие* [*Voyage de noces*, 1990; рус. перев. 1998], *Дора Брудер* [*Dora Bruder*, 1997, рус. перев. 1999]. В *ИЛ* публиковались его повести *Смягчение приговора* [1998, № 12] и *Незнакомки* [2001, № 7].
Роман печатается по изданию *La petite bijou* [Paris, Éditions Gallimard, 2001].

Эндрю Моушен
Andrew Motion
[р. 1952]. Английский поэт и прозаик, лауреат многих национальных литературных премий, с 1999 г. — обладатель титула поэт-лауреат.

Автор книг *Поэзия Эдварда Томаса* [*The Poetry of Edward Thomas*, 1970], *Филип Ларкин: жизнь писателя* [*Philip Larkin: A Writer's Life*, 1993]. Основные поэтические сборники: *Потаенные повествования* [*Secret Narratives*, 1983], *Соленая вода* [*Salt Water*, 1997], *Избранные стихотворения* [*Selected Poems*, 1998].
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Salt Water* [London, Faber and Faber, 1997] и *Dangerous Play* [Edinburgh, The Salamander Press, 1984].

Симона Винчи
Simona Vinci
Итальянская писательница, лауреат нескольких литературных премий.

Автор романов *О детях ничего не известно* [*Dei bambini non si sa niente*, 1997, премия *Роман года* и премия Эльзы Моранте], *Матильдасити* [*Matildacity*, 1998], *Беги, Матильда* (*Corri, Matilda*, 1998].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Любовь во всех чувствах* [*In tutti i sensi come l'amore*. Torino, Einaudi, 1999].

Юха Сеппяля
Juha Seppälä
[р. 1956]. Финский писатель, прозаик, эссеист, литературный критик, автор теле- и радиопьес. Лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Мост* [*Silta*, 1988], *Скакалка* [*Hyppynaru*, 1990], *Глушь* [*Syrjänmaa*, 1994], *Бог был мужчиной* [*Jumala oli mies*, 1996], *Финская история* [*Suomen historia*, 1998], *Восход и заход луны* [*Kuun nousu ja lasku*, 1999] и др. и нескольких сборников рассказов.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Большие рассказы* [*Suuret kertomukset*. Helsinki, WSOY, 2000].

Лиза Майер
Lisa Mayer
Австрийский поэт, прозаик. Лауреат поэтической премии Зальцбурга [1998].

Первая книга стихов *По крышам опять барабанит* [*Auf den Dächern wird wieder getrommelt*] вышла в 1999 г.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Auf den Dächern wird wieder getrommelt* [Innsbruck, Haymon–Verlag, 1999].

Дюла Ийеш
Illyés Gyula
[1902–1983]. Венгерский поэт, прозаик, драматург, эссеист, лауреат многих венгерских и международных премий.

Один из лидеров движения "народных писателей", автор "социографии" *Народ хутоpов* [*Puszták népe*, 1936; в рус. перев. вышла под названием *Люди пушты*, 1975], сборников стихотворений *Тяжелая земля* [*Nehéz föld*, 1928], *Рукопожатия* [*Kézfogások*, 1956], *Склоненный парус* [*Dölt vitorla*, 1965], романов *Ранняя весна* [*Kora tavasz*, 1941], *Пажи Беатриче* [*Beatrice apródjai*, 1979] и др. Автор многочисленных пьес, сборников эссе, статей о литературе. В *ИЛ* публиковались его повесть *Обед в замке* [1971, № 9], роман *В ладье Харона, или Симптомы старости* [1977, № 5–6], стихи [1982, № 11; 1992, № 5–6] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Hunok Párizsban* [Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970].

Джон Апдайк
John Updike
[р. 1932]. Американский

Автор романов *Кентавр* [*The Centaur*, 1963; Национальная книжная премия; рус. перев. *ИЛ*, 1965, № 1, 2], *Кролик, беги* [*Rabbit, Run*, 1960; рус. перев. 1979], *Кролик ис-*

писатель, член американской Академии искусства и науки.

целившийся [*Rabbit Redux*, 1971], *Кролик разбогател* [*Rabbit Is Rich*, 1981; рус. перев. 1986], *Кролик на отдыхе* [*Rabbit at Rest*, 1990]. В *ИЛ* напечатаны также его романы *Ферма* [1967, № 4], *Давай поженимся* [1979, № 7, 8], рассказы из книг разных лет [1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10; 1999, № 9].
Публикуемые эссе взяты из книг *Hugging the Shore: Essays and Criticism* [New York, Echo Press, 1994] и *Picked-Up Pieces* [New York, Alfred A. Knopf, 1975].

Нина Михайловна Демурова
Переводчик и литературовед.

Автор ряда работ по английской и индийской литературам. Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, произведения Л. Кэрролла [*Алиса в стране чудес и Зазеркалье*], Э. По, Г. К. Честертона, Э. Олби, М. Эджворт, Ш. Делани, Дж. М. Барри, Р. Даля, Б. Поттер и др.

Александра Леонидовна Борисенко
Кандидат филологических наук, переводчица с английского.

Автор ряда статей, рецензий и переводов, напечатанных в *ИЛ*. Часть из них была выполнена в соавторстве с В. Сонькиным.

Владимир Владимирович Набоков
[1899–1977].
Русско-американский писатель; родился в Петербурге. С 1919 года в эмиграции: жил в Англии, Германии, Франции, где печатался под псевдонимом В. Сирин. После переезда в США [1940] начал писать по-английски и публиковаться под собственной фамилией. В 60-е годы поселился в Швейцарии, где прошли последние годы его жизни.

В *ИЛ* напечатаны роман *Пнин* [1989, № 2], рассказы *Второй режиссер* [1993, № 12], *Сестры Вейн* [1997, № 5], а также переводы Набокова из Мюссе и Рембо [1987, № 5] и глава из книги *Убедительное доказательство* [1999, № 12]; роман *Лолита* опубликован в Библиотеке *ИЛ* [1989].

Геннадий Петрович Киселев
[р. 1955]. Переводчик с итальянского, лауреат премии им. Цецилии Кин [1997], премии жюри независимых критиков *зоИЛ* [2001], кавалер ордена "За заслуги перед республикой" [Италия].

Переводчик произведений Т. Ландольфи, А. Савинио, М. Бонтемпелли, И. Кальвино, М. Луци, Л. Малербы, У. Эко, А. Моравиа, А. Пикколомини, А. Барикко, Д. Буццати, Дж. Томази ди Лампедузы, А. Нове и др. Составитель антологий итальянской прозы XX века, сборника прозы Т. Ландольфи *Жена Гоголя и другие истории* [1999]. Автор учебных пособий. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Томмазо Ландольфи
Tommaso Landolfi
[1908–1979]. Итальянский прозаик, поэт, переводчик.

Автор сборников рассказов *Диалог о главнейших системах* [*Dialogo dei massimi sistemi*, 1937], *Лунный камень* [*La pietra lunare*, 1939], *Тараканье море [Il Mar delle blatte*, 1939], *Меч [La spada*, 1942], *Тени* [*Ombre*, 1954]. На русском языке публиковалась книга *Жена Гоголя и другие истории* [1999]. В Библиотеке *ИЛ* [1987] напечатан сборник его рассказов *Солнечный удар*. В *ИЛ* [1994, № 4] опубликован рассказ *Слепая всевидящая богиня*. Перевел на итальянский язык произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тютчева.
Рассказ *Бекас* [*La Beccaccia*] взят из сборника *Тени* [*Ombre*. Firenze, Vallecci, 1954].

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолиттл* [1997], премии им. Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, произведения А. де Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], стихи и эссе Уэльбека [2001, № 5], роман Р. Гари *Повинная голова* [2001, № 12], и др.

Максим Валерьевич Калинин
[р. 1972]. Поэт, переводчик с английского. Лауреат премии журнала *Москва* за стихотворные публикации [2002].

В его переводах изданы стихотворения Дилана Томаса [2001]. В *ИЛ* публиковались переводы Д. Китса, У. Блейка, В. Набокова.

Наталия Артуровна Белкина
Переводчица с итальянского языка. Студентка Литературного института, семинар Е. М. Солоновича

Впервые публикуется в *ИЛ*.

Ольга Александровна Андрианова
Переводчица с финского, шведского и английского языков, преподаватель МГУ.

Впервые публикуется в *ИЛ*.

Дмитрий Николаевич Беляков
[р. 1964]. Прозаик и поэт.

Как переводчик выступает впервые.

Дмитрий Владимирович Кузьмин
[р. 1968]. Поэт, критик, филолог. Лауреат премии Андрея Белого [2002].

Публиковал переводы с английского — Э. Каммингса, У. Стивенса, Ч. Резникоффа, Ч. Симика и др.; с французского — А. Сент-Экзюпери, К. Прижана и др., а также с украинского и белорусского.

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук.

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Ласло Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], *Дневники* Ш. Мараи [1993, № 12], роман Сильвестера Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], стихи Д. Петри [1998, № 10], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2].

Николай Георгиевич Мельников
[р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук.

Автор ряда статей по английской и американской литературе, составитель книг *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Набокова* [2000], *Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе* [2002].

Марк Артурович Дадян
[р. 1972]. Лингвист, переводчик с английского и французского языков.

В его переводах публиковались произведения В. Набокова, У. Х. Одена, Дж. Бакли и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана нобелевская речь В. С. Найпола [2002, № 5].

Евгения Валентиновна Лозинская
Филолог.

Автор статей по итальянской литературе. В *ИЛ* публикуется впервые.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент картины
итальянского художника Питера
Серджио Чеккотти [р. 1935]
Большая сцена в метро [1987].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
в Санкт-Петербурге — в магазине
издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15,
тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

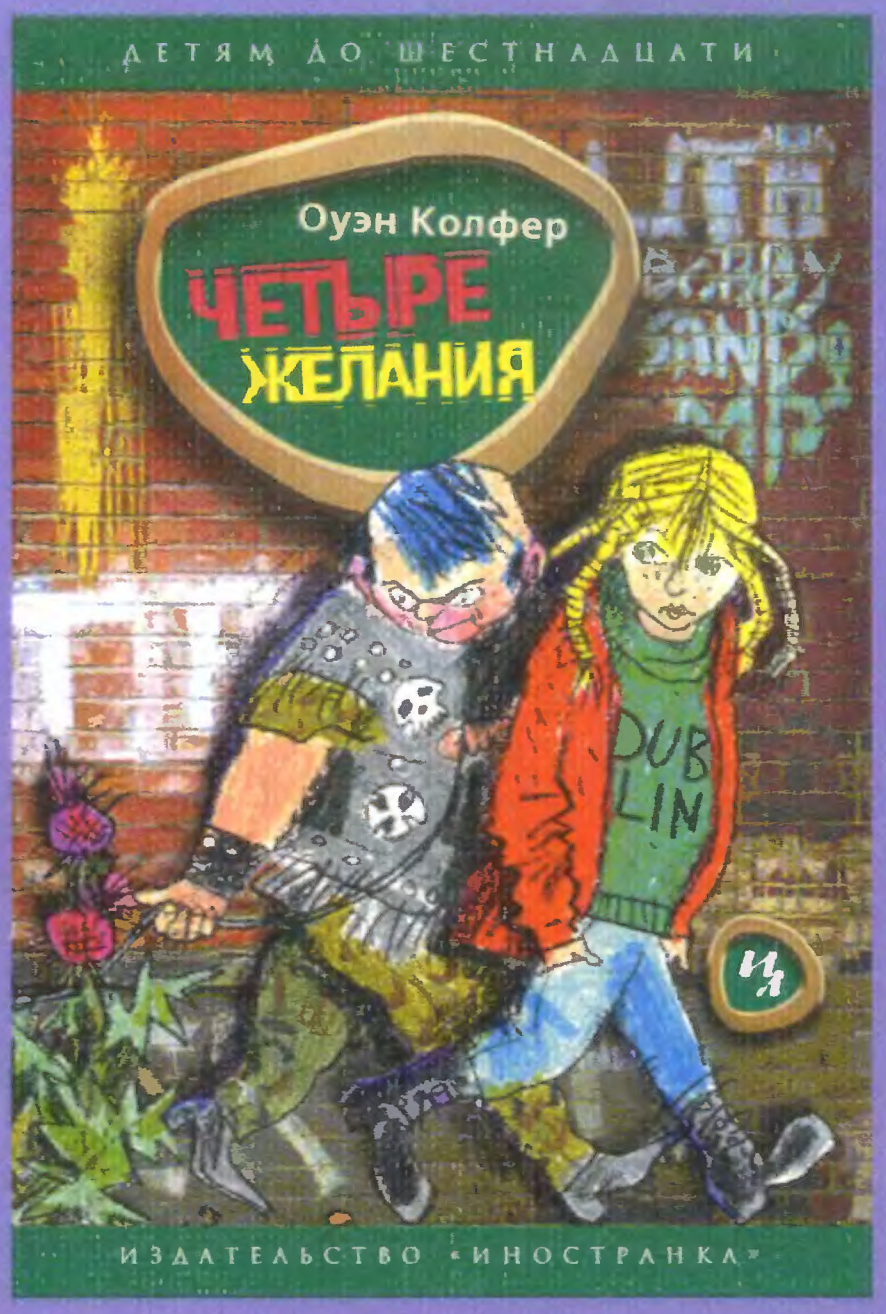
Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.6.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4534.
Тираж 8200 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

[8] 2003

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА МИЛАНА КУНДЕРЫ “КНИГА СМЕХА И ЗАБВЕНИЯ” / РАССКАЗ ДЖОНА АПДАЙКА “МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА” / ПОВЕСТЬ ЯНУША ГЛОВАЦКОГО “ПОСЛЕДНИЙ СТОРОЖ” / СТИХИ ИСПАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ МАРИИ ВИКТОРИИ АТЕНСИА / РОМАН ЛУИДЖИ МАЛЕРБЫ “ГРАНАДА-КЛУБ” / ЭССЕ СЬЮЗЕН СОНТАГ И РОБЕРТО КАЛАССО

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»



ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №7, 1-288